

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Московский журнал международного права является профессиональной трибуной, открытой для различных точек зрения по вопросам толкования и применения норм современного международного права. Журнал нацелен на консолидацию творческих усилий юристов, представляющих российскую и зарубежную науку международного права в ее прогрессивном развитии и позитивном воздействии на международно-правовую практику. В журнале публикуются также результаты исследований национального права, в том числе иностранного, в общем контексте действия международного права.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Александр Николаевич ВЫЛЕГЖАНИН

заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного права, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России (Москва, Российская Федерация)

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дмитрий Владимирович ИВАНОВ

(первый заместитель) кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры международного права, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России (Москва, Российская Федерация)

Владимир Алексеевич КАРТАШКИН

заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник сектора прав человека, Институт государства и права, Российская академия наук (Москва, Российская Федерация)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Аслан Хусейнович АБАШИДЗЕ

заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного права, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (Москва, Российская Федерация)

Уильям БАТЛЕР

доктор права, заслуженный профессор Школы права и международных отношений им. Джона Эдварда Фуллера, Университет штата Пенсильвания (Юниверсити-Парк, США)

Сергей Владимирович БАХИН

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры международного права, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Российская Федерация)

Пол БЕРКМАН

доктор юридических наук, профессор, ассоциированный член ЮНИТАР, руководитель Арктического проекта Фулбрайт, Арктический университет Норвегии (Университет Тромсё) (Тромсё, Норвегия)

Лариса Владиславовна ВЕРЕИНА

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры международного права, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России (Москва, Российская Федерация)

Александр Геррейро

доктор права, ассоциированный член Института политико-правовых наук юридического факультета Лиссабонского университета (Лиссабон, Португалия)

Душко ДИМИТРИЕВИЧ

доктор юридических наук, ведущий научный сотрудник, Институт международной политики и экономики (Белград, Сербия)

Лотар ДЕТЕРМАН

доктор права, лектор факультета права Калифорнийского университета в Беркли (Беркли, США)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

Анатолий Васильевич ТОРКУНОВ

Академик Российской Академии наук, член Президиума Российской Академии наук, ректор МГИМО МИД России, доктор политических наук, профессор, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России (Москва, Российская Федерация)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Михаил Михайлович БИРЮКОВ

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры интеграционного права и прав человека, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России (Москва, Российская Федерация)

Алексей Николаевич БОРИСОВ

кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры ЮНЕСКО, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России (Москва, Российская Федерация)

Виталий Семенович ИВАНЕНКО

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры международного права, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Российская Федерация)

Светлана Юрьевна КОЛОСОВА

магистр права, подполковник юстиции в отставке, Государственно-общественное объединение «Московский Дом ветеранов войн и Вооруженных сил» (Москва, Российская Федерация)

Александр Игоревич МУРАНОВ

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры международного частного и гражданского права им. С.Н. Лебедева, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России (Москва, Российская Федерация)

Людмила Васильевна ПАВЛОВА

кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры международного права факультета международных отношений, Белорусский государственный университет (Минск, Белоруссия)

Марат Алдангорович САРСЕМБАЕВ

доктор юридических наук, профессор, Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан (Астана, Казахстан)

Геннадий Петрович ТОЛСТОПЯТЕНКО

заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, первый проректор, профессор кафедры административного и финансового права, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России (Москва, Российская Федерация)

Андрей Адамович ТРЕБКОВ

заслуженный юрист РСФСР, кандидат юридических наук, председатель, Международный союз юристов (Москва, Российская Федерация)

Владимир Васильевич УСТИНОВ

заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе (Ростов-на Дону, Российская Федерация)

Сергей Алексеевич ЕГОРОВ

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры международного права, Дипломатическая академия МИД России (Москва, Российская Федерация)

Анна Ивановна ИВАНЧАК

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры международного частного и гражданского права им. С.Н. Лебедева, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России (Москва, Российская Федерация)

Джон Энтони КАРТИ

доктор права, профессор международного права Пекинского технологического института, главный редактор Оксфордской онлайн-библиографии международного права (Оксфорд, Великобритания)

Рустам Альбертович КАСЬЯНОВ

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры интеграционного права и прав человека МГИМО МИД России (Москва, Российская Федерация)

Алексей Александрович КОСТИН

заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук, Председатель МКАС и МАК при ТПП РФ, профессор, профессор кафедры международного частного и гражданского права им. С.Н. Лебедева, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России (Москва, Российская Федерация)

Цзэнцзюн КУАН

профессор международного права, Китайский институт приграничных и морских исследований, Уханьский университет (Ухань, КНР)

Геннадий Иринархович КУРДЮКОВ

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры международного и европейского права, Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань, Российская Федерация)

Дмитрий Константинович ЛАБИН

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры международного права, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России (Москва, Российская Федерация)

Лев Александрович ЛАЗУТИН

заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного и европейского права, Уральский государственный юридический университет (Екатеринбург, Российская Федерация)

Евгений Григорьевич ЛЯХОВ

заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры конституционного и международного права, Российская таможенная академия (Москва, Российская Федерация)

Александр Борисович МЕЗЯЕВ

доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой конституционного и международного права, Университет управления "ТИСБИ" (Казань, Российская Федерация)

Алексей Александрович МОИСЕЕВ

доктор юридических наук, вице-президент, Российская ассоциация международного права (Москва, Российская Федерация)

Юрий Эдуардович МОНАСТЫРСКИЙ

доктор юридических наук, партнер, юридическая фирма «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» (Москва, Российская Федерация)

Рейн МЮЛЛЕРСОН

доктор юридических наук, профессор, президент Академии права, Таллинский университет (Таллин, Эстония)

Борис Иванович НЕФЁДОВ

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры международного права, Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя (Москва, Российская Федерация)

Тим ПОТЪЕ

доктор права, профессор и старший научный сотрудник Школы права и дипломатии им. Флетчера, Университет Тафтса (Массачусетс, США)

Низами Абдулла оглу САФАРОВ

доктор юридических наук, депутат Милли Меджлиса (Парламент) Азербайджанской республики, Председатель комиссии по социальным вопросам и правам человека Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Россия (Баку, Азербайджан)

Владислав Леонидович ТОЛСТЫХ

доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой международного права, Новосибирский государственный университет (Новосибирск, Российская Федерация)

Владимир Михайлович ШУМИЛОВ

заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного права, Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития России (Москва, Российская Федерация)

Марк Львович ЭНТИН

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеграционного права и прав человека, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России (Москва, Российская Федерация)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ**Анна Ивановна ЕФИМОВА**

Ph.D. (политические науки), доцент департамента политической науки, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Российская Федерация)

Плата за публикацию

Публикация в журнале для авторов бесплатна.

Редакция не взимает плату с авторов за подготовку, размещение и печать материалов.

Московский журнал международного права зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 09.12.2000, свидетельство о регистрации: № 77-5895

ISSN (print): 0869-0049

ISSN (online): 2619-0893

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

Журнал включен в РИНЦ

Подписной индекс в каталоге «Роспечать» 70893

Периодичность: 4 раза в год

Учредители: Международный союз общественных объединений юристов «Международный союз юристов»; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»

Сайт: <http://mjil.ru>

Адрес: 119454, Российская Федерация, пр. Вернадского, д. 76, ком. 107

E-mail: mjil@mgimo.ru

Тел.: +7 (495) 229-38-23

Подписано в печать 10.12.2024 г.

Тираж: 1000 экземпляров

Заказ № 1968

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии

и множительной техники МГИМО МИД РФ

119454, Москва, пр. Вернадского, д. 76

Выпускающий редактор номера – Н.Ю. Молчаков

Корректор – К.Е. Полтевская

Верстка – Д.Е. Волков

© «Московский журнал международного права», 2024

ABOUT THE JOURNAL

The Moscow Journal of International Law is a professional tribune open for various points of view on the interpretation and application of the norms of modern international law. The Journal is aimed at consolidation of creative efforts by lawyers who represent the Russian and foreign science of international law in its progressive development and positive impact on international legal practice. The journal also publishes the results of studies of national law, including foreign law, in the general context of application of international law.

EDITORIAL BOARD

EDITOR-IN-CHIEF

Alexander N. Vylegzhanin

Honoured Lawyer of the Russian Federation,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Head of the International Law Department,
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry
of Foreign Affairs of Russia (*Moscow, Russian Federation*)

DEPUTY EDITORS-IN-CHIEF

Dmitry V. Ivanov

Cand. Sci. (Law), Associate Professor, Associate Professor of the International
Law Department, Moscow State Institute of International Relations
(University) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia
(*Moscow, Russian Federation*)

Vladimir A. Kartashkin

Honoured Lawyer of the Russian Federation, Doctor of Juridical Sciences,
Professor, Chief Researcher at the Human Rights Sector, Institute of State and
Law, Russian Academy of Sciences (*Moscow, Russian Federation*)

EDITORIAL BOARD MEMBERS

Aslan Kh. Abashidze

Honoured Lawyer of the Russian Federation,
Doctor of Juridical Sciences, Professor, Head of the International Law
Department, Peoples' Friendship University of Russia
named after Patrice Lumumba (*Moscow, Russian Federation*)

William Butler

Doctor of Laws, the John Edward Fowler Distinguished Professor of Law,
Pennsylvania State University (*University-Park, USA*)

Sergei V. Bakhin

Doctor of Juridical Sciences, Professor, Professor at the International Law
Department, Saint-Petersburg State University
(*Saint-Petersburg, Russian Federation*)

Paul Berkman

Doctor of Laws, Professor,
UNITAR Associated Fellow, Fulbright Arctic Chair in Tromsø with
the Arctic University of Norway (*Tromsø, Norway*)

Duško Dimitrijević

Dr. Sci. (Law), Principal Research Fellow,
Institute of International Politics and Economics (*Belgrade, Serbia*)

Lothar Determann

Dr., Lecturer at the UC Berkeley School of Law,
The University of California, Berkeley (*Berkeley, USA*)

Sergey A. Egorov

Doctor of Juridical Sciences, Professor, Professor at the International Law
Department, Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Russia
(*Moscow, Russian Federation*)

Mark L. Entin

Doctor of Juridical Sciences, Professor, Head of the Department of
Integration and Human Rights Law, Moscow State Institute of International
Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia
(*Moscow, Russian Federation*)

EDITORIAL COUNCIL

PRESIDENT

Anatoly V. Torkunov

Doctor of Political Sciences, Professor, Rector of the Moscow State Institute of
International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia,
Academician of the Russian Academy of Sciences, Member of the Presidium
of the Russian Academy of Sciences (*Moscow, Russian Federation*)

MEMBERS OF THE EDITORIAL COUNCIL

Mikhail M. Biryukov

Doctor of Juridical Sciences, Professor, Professor at the Department of
Integration and Human Rights Law, Moscow State Institute of International
Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia
(*Moscow, Russian Federation*)

Alexey N. Borisov

Candidate of Political Sciences, Head of the UNESCO Department, Moscow
State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign
Affairs of Russia (*Moscow, Russian Federation*)

Vitaly S. Ivanenko

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at
the International Law Department, Saint-Petersburg State University
(*Saint-Petersburg, Russian Federation*)

Svetlana Yu. Kolosova

Master of Laws, Retired Lieutenant Colonel of Justice, Public and Private
Partnership Moscow House of Veterans of War and Armed Forces
(*Moscow, Russian Federation*)

Alexander I. Muranov

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at
the Private International and Civil Law Department, Moscow State Institute of
International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia
(*Moscow, Russian Federation*)

Ludmila V. Pavlova

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Professor at the
International Law Department of the Faculty of International Relations,
Belarusian State University (*Minsk, Belarus*)

Marat A. Sarsembaev

Doctor of Juridical Sciences, Professor, Central Election Commission of the
Republic of Kazakhstan (*Astana, Kazakhstan*)

Gennady P. Tolstopyatenko

Honoured Lawyer of the Russian Federation, Doctor of Laws, Professor,
Vice-Rector, Professor at the Administrative and Financial Law Department,
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry
of Foreign Affairs of Russia (*Moscow, Russian Federation*)

Andrey A. Trebkov

Honoured lawyer of the RSFSR, Candidate of Juridical Sciences,
Head of the International Union of Lawyers (*Moscow, Russian Federation*)

Vladimir V. Ustinov

Honoured Lawyer of the Russian Federation, Doctor of Juridical Sciences,
Presidential Envoy to the Southern Federal District
(*Rostov-on-Don, Russian Federation*)

Alexandre Guerreiro

Doctor of Laws, associated member of the Institute of Political-Legal Sciences of the School of Law, University of Lisbon
(Lisbon, Portugal)

Anna I. Ivanchak

Doctor of Juridical Sciences, Professor, Professor at the Private International and Civil Law Department, Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia
(Moscow, Russian Federation)

John Anthony Carty

PhD, Professor of International Law at Beijing Institute of Technology, Editor-in-Chief of the Oxford Bibliographies in International Law
(Oxford, Great Britain)

Rustam A. Kasyanov

Doctor of Laws, professor, professor of the Department of Integration and Human Rights Law, Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia
(Moscow, Russian Federation)

Alexey A. Kostin

Honoured Lawyer of the Russian Federation, Candidate of Laws, Chairman of the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, Professor, Professor of the Private International and Civil Law Department, Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia
(Moscow, Russian Federation)

Zengjun Kuang

Professor of International Law, China Institute of Boundary and Ocean Studies, Wuhan University (Peoples Republic of China)

Gennady I. Kurdyukov

Doctor of Juridical Sciences, Professor, Professor at the International and European Law Department, Kazan Federal University
(Kazan, Russian Federation)

Dmitry K. Labin

Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor, Professor at the International Law Department, Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia
(Moscow, Russian Federation)

Lev A. Lazutin

Honoured Lawyer of the Russian Federation, Doctor of Juridical Sciences, Professor, Head of the International and European Law Department, Ural State Law University
(Yekaterinburg, Russian Federation)

Eugene G. Lyakhov

Honoured Lawyer of the Russian Federation, Doctor of Juridical Sciences, Professor, Professor at the Constitutional and International Law Department, Russian Customs Academy
(Moscow, Russian Federation)

Alexander B. Mezyaev

Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of International Law, University of Management TISBI (Kazan, Russian Federation)

Alexey A. Moiseev

Doctor of Juridical Sciences, Vice-President, Russian International Law Association
(Moscow, Russian Federation)

Yuri Ed. Monastyrsky

Doctor of Juridical Sciences, Partner, Monastyrsky, Zyuba, Stepanov & Partners Law Firm (Moscow, Russian Federation)

Rein Müllerson

Doctor of Laws, Professor, President of Law School, Tallinn University
(Tallinn, Estonia)

Boris I. Nefyodov

Doctor of Laws, Associate Professor, Professor at the International Law Department, Kikot Moscow University of the Ministry of the Interior of the Russian Federation
(Moscow, Russian Federation)

Nizami A. oglu Safarov

Doctor of Juridical Sciences, Member of the Milli Majlis (Parliament) of the Republic of Azerbaijan, Chairman of the Commission on Social Issues and Human Rights of the Interparliamentary Assembly of the CIS Member States, Head of the Working Group on Interparliamentary Relations Azerbaijan-Russia (Baku, Azerbaijan)

Tim Potier

Doctor of Laws, Professor of International Law and Senior Fellow, Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University (Massachusetts, USA)

Vladislav L. Tolstykh

Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor, Head of the International Law Department, Novosibirsk State University
(Novosibirsk, Russian Federation)

Vladimir M. Shumilov

Honoured Lawyer of the Russian Federation, Doctor of Juridical Sciences, Professor, Head of the International Law Department, Russian Foreign Trade Academy of the Ministry for Economic Development of Russia
(Moscow, Russian Federation)

Larisa V. Vereina

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the International Law Department, Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia
(Moscow, Russian Federation)

ASSISTANT EDITOR**Anna I. Yefimova**

Ph.D. in Political Science, Associate Professor of the Political Science Department, National Research University Higher School of Economics
(Moscow, Russian Federation)

Author fees

Publication in «**Moscow Journal of International Law**» is free of charge for all the authors.

The journal doesn't have any Article processing charges.

The journal doesn't have any Article submission charges.

Moscow Journal of International Law was registered as mass media by the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications on the 9th of December, 2000.

Registration certificate: № 77–5895

ISSN (print): 0869-0049

ISSN (online): 2619-0893

The Journal is on the List of leading peer-reviewed academic journals and editions where key scholarly results of Cand. Sci. and Dr. Sci. theses should be published.

The Journal has been included in the Russian Science Citation Index (RSCI).

Subscription Index: 70893

Publication Frequency: Quarterly

Founders: International Union of Lawyers; Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia

Web-site: <http://mjil.ru>

Address: 76, pr. Vernadskogo, Moscow, Russian Federation, 119454

E-mail: mjil@mgimo.ru

Tel.: +7 (495) 229-38-23

Circulation: 1000 copies

Executive editor – Nikita Yu. Molchakov

Proofreader – Xenia E. Poltevskeya

Typography – Dmitry E. Volkov

© «Moscow Journal of International Law», 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОСТРАНСТВО И ТЕРРИТОРИЯ:
ОБЩИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

Гладун Е.Ф.
Конституционное пространство:
мультикультурализм и его «индигенное измерение»

Лобов М.Б.
Правовые аспекты дезинтеграции:
уроки выхода государств из европейских
региональных организаций

Лабин Д.К., Цимэн Ч.
К проблемам установления государственного
суверенитета над антарктическими территориями: междуна-
родно-правовая позиция Китая

ДЕЙСТВИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПРОСТРАНСТВЕ

Торкунова Е.А.
Запрет евгенических практик в Европе:
политико-правовые причины

Пчелинцева В.В.
Защита права ребенка на родословную
и применение механизмов замены ухода
государствами – членами Организации исламского
сотрудничества

Ткачёва В.В.
Актуальные международно-правовые вопросы института
дипломатического убежища

КИБЕРПРОСТРАНСТВО И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Мартынова Е.А.
«Путешествие в послезавтра»:
регулирование киберопераций с использованием
искусственного интеллекта в контексте
применения силы

Колосов А.В.
Использование искусственного интеллекта
как основа устойчивого развития человечества:
особенности международно-правового регулирования

Лукьянцева И.Г.
Проблема присвоения деяний, совершенных
в информационном пространстве

Мельникова Е.Н.
Принцип ответственности контролирующего лица
как основа для устранения «разрыва ответственности» за вред,
причиненный искусственным интеллектом

ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Пузырева Ю.В.
Международно-правовая квалификация методов
и средств ведения войны в информационном
пространстве

Корженяк А.М.
Вопросы толкования и применения понятия
«международно-правовая легитимация»

КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Черных И.А.
Международно-правовой режим окололунных орбит:
хватит ли места всем?

CONTENTS

SPACE AND TERRITORY:
GENERAL INTERNATIONAL LEGAL ISSUES

6 *Gladun E.F.*
Constitutional Space:
Multiculturalism and its “Indigenous Dimension”

15 *Lobov M.B.*
Legal Aspects of Disintegration:
Lessons of States’ Withdrawals from European Regional
Organizations

35 *Labin D.K., Qimeng C.*
On Problems of Establishing State
Sovereignty over Antarctic Territories:
China’s International Legal Position

THE EFFECT OF HUMAN RIGHTS IN SPACE

46 *Torkunova E.A.*
Prohibition of Eugenic Practices in Europe:
Political and Legal Reasons

57 *Pchelintseva V.V.*
Protection of the Right of the Child to Lineage
and Application of Alternative Care Mechanisms
by the Members of the Organisation
of Islamic Cooperation

70 *Tkacheva V.V.*
Current International Legal Issues of the Institute
of Diplomatic Asylum

CYBERSPACE AND INTERNATIONAL LAW

85 *Martynova E.A.*
“Journey Beyond Tomorrow”:
Navigating Regulation of AI-Powered
Cyber Operations in the Realm
of the Use of Force

106 *Kolosov A.V.*
The Use of Artificial Intelligence
as the Basis for Sustainable Human Development: Features of
International Legal Regulation

119 *Lukiyantseva I.G.*
The Issue of Attribution of Acts Committed
in Information Space

132 *Melnikova E.N.*
Principle of Responsibility of the Controlling Person
as Approach to Eliminating the “Responsibility Gap”
for Harm Caused by AI Systems and AI Applications

THEATER OF WAR AND INTERNATIONAL LAW

146 *Puzyreva Yu.V.*
International Legal Characterization
of Methods and Means of Warfare
in the Information Space

162 *Korzhenyak A. M.*
Issues of Interpretation and Application
of the Notion of “International Legal Legitimation”

OUTER SPACE AND INTERNATIONAL LAW

184 *Chernykh I.A.*
International Legal Regime of Lunar Orbits:
Will There Be Enough Space for Everybody?



DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-6-14>

Исследовательская статья

УДК: 341

Поступила в редакцию: 14.10.2024

Принята к публикации: 25.11.2024

Елена Федоровна ГЛАДУН

Тюменский государственный университет

Володарского ул., д. 6, Тюмень, 625003, Российская Федерация

e.f.gladun@utmn.ru

ORCID: 0000-0003-2525-6638

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО: МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ И ЕГО «ИНДИГЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

ВВЕДЕНИЕ. В статье предлагается возможное направление государственной этнополитики в России – конституционный мультикультурализм, который формируется в процессе функционирования и развития конституционных и правовых норм, в том числе в отношении коренных народов, являющихся субъектом российской государственно-правовой системы. Сфера этнических отношений подвержена конституционным изменениям именно потому, что права коренных народов – это не застывшее правовое явление, а конституционно-правовая реальность, которой свойственно меняться вместе с меняющимся миром. В 2020 г. ст. 69 Конституции РФ дополнена новыми конституционными идеями (защита культурной самобытности, языкового и культурного многообразия в рамках сохранения общероссийской культурной идентичности), в связи с чем становится актуальным и важным развивать их далее в правовых нормах, а также обосновать конституционной идеологией и теорией. В частности, мультикультурализм рассматривается как новейшая идеология развития поликультурного общества, которая в своей основе содержит идею гармоничного сосуществования культурных и этнических групп, чьи традиции, практики, ценности признаются государством.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Автор использует труды зарубежных и российских ученых, занимающихся проблематикой конституционализма, конституции России и зарубежных государств, которые анализируются с помощью сравнительно-правового метода. В исследовании применялось функциональное сравнение, которое позволяет выявить сходства и различия не в сущности и структуре самих правовых норм конституций и нормативных правовых актов, а в функциях ими осуществляемых, т. е. тот эффект, который они оказывают на регламентацию этнических отношений. Автор использовал и проблемное сравнение, суть которого состоит в выявлении и сравнении теоретических основ и юридических средств, которые существуют в различных правовых системах. Таким образом, были выявлены наиболее удачные концепции и сформулированы предложения об их заимствовании национальным законодателем и правоприменителем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В результате исследования автор отмечает, что наиболее эффективным направлением этнической политики в полиэтнических государствах является конституционный мультикультурализм, которому, однако, в российской правовой действительности недостает теоретических обоснований. Пристальное внимание в этом

отношении уделяется «индигенному измерению» конституционного мультикультурализма, что автор рассматривает как особые нормы права в отношении коренных малочисленных народов, сформированные с учетом культурной самобытности, этнической идентификации, ценностей и знаний уникальных этнических общностей, обязательно закрепленные в основном законе государства.

ОБСУЖДЕНИЯ И ВЫВОДЫ. Индигенные аспекты конституционного мультикультурализма необходимо концептуализировать, т. е. выработать новые теории и модели, систематизировать правовые, организационные, экономические и иные инструменты, с целью того, чтобы воплотить особенности и потребности этносов, характеризующихся индигенностью, в реальные правовые конструкции, что позволит наделять коренные народы специальными правами, в том числе выбрать особый путь развития.

В случае если в политике конституционного мультикультурализма особая роль будет отводиться коренным народам, способным при

должном конституционно-правовом обеспечении поддерживать специфичные формы культурной самобытности, этнической идентичности и традиций, то это будет отвечать требованиям меняющегося мира и современной российской конституционно-правовой действительности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конституционализм, мультикультурализм, этнос, культурное многообразие, конституция, конституционные изменения, этническая политика, коренные народы

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Gladun E.F. 2024. Конституционное пространство: мультикультурализм и его «индигенное измерение». – Московский журнал международного права. № 4. С. 6–14. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-6-14>

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

SPACE AND TERRITORY: GENERAL INTERNATIONAL LEGAL ISSUES

DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-6-14>

Elena F. GLADUN

University of Tyumen

6, Volodarskogo St., Tyumen, Russian Federation, 625003

e.f.gladun@utmn.ru

ORCID: 0000-0003-2525-6638

Research article

UDC: 341

Received 14 October 2024

Approved 25 November 2024

CONSTITUTIONAL SPACE: MULTICULTURALISM AND ITS “INDIGENOUS DIMENSION”

INTRODUCTION. *This article proposes a possible direction of state ethnopolitics in Russia – constitutional multiculturalism, which is formed in the process of functioning and development of national law,*

especially in relation to indigenous peoples who are essential part of the Russian legal system. The domain of ethnic relations is subject to constitutional changes precisely because the rights of indigenous peoples are

not a static legal phenomenon, but a constitutional and legal reality that tends to change along with the developing world. In 2020, Article 69 of the Constitution of the Russian Federation was supplemented with new constitutional purposes (protection of cultural identity, linguistic and cultural diversity in the context of preserving the Russian cultural identity), and therefore it becomes relevant and important to develop them further in legal terms, as well as to justify them with state ideology and theoretical aspects. In particular, multiculturalism is considered as the latest ideology for the development of a multicultural society, which at its core contains the idea of the harmonious coexistence of cultural and ethnic groups whose traditions, practices, and values are recognized by the state.

MATERIALS AND METHODS. The author analyzes the works of Western and Russian scientists engaged in the problems of constitutionalism, the constitutions of Russia and other states using the comparative legal method. The functional comparison employed in the study allows to highlight similarities and differences not in the essence and structure of the legal norms of constitutions and regulatory legal acts, but in the functions which they perform, i.e. to understand the effect of the regulation of ethnic relations. The author also uses a problematic comparison, trying to identify and compare the theoretical foundations and legal instruments that exist in different jurisdictions. In this way, the most successful concepts have been formulated and proposed for the national legislation and law enforcement systems.

RESEARCH RESULTS. The author states that the most effective ethnic policy in multi-ethnic countries is constitutional multiculturalism, which, however, lacks theoretical justification in Russian legal reality. Close

attention in this regard is paid to the "indigenous dimension" of constitutional multiculturalism, which the author considers as special legal aspects in relation to indigenous peoples, unfolding «the cultural identity, ethnic identification, values and knowledge of unique ethnic communities, necessarily enshrined in the basic law of the state.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS. Indigenous aspects of constitutional multiculturalism ought to be conceptualized, i.e. to develop new theories and models, systematize legal, structural, economic and other instruments, with the aim of embodying the values and needs of ethnic groups characterized by indigenism in real legal structures, which will allow indigenous peoples to be granted special rights, including the opportunity to choose a special path of development. If in the policy of constitutional multiculturalism, a special role is given to indigenous peoples, capable, with due constitutional and legal support, of maintaining significant forms of cultural identity, ethnic diversity and traditions, then this will meet the requirements of the developing world and modern Russian constitutional legal reality.

KEYWORDS: constitutionalism, multiculturalism, ethnicity, cultural diversity, constitution, constitutional changes, ethnic policy, indigenous peoples

FOR CITATION: Gladun E.F. Constitutional Space: Multiculturalism and its "Indigenous Dimension". – *Moscow Journal of International Law*. 2024. No. 4. P. 6–14. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-6-14>

The author declares the absence of conflict of interest.

Введение

Сфера этнических отношений подвергается конституционным изменениям, поскольку права этносов – это не застывшее правовое явление, а конституционно-правовая реальность, которой свойственно меняться вместе с меняющимся миром. Статья 69 Конституции РФ, гарантирующая защиту прав и интересов коренных народов, в 2020 г. дополнилась новыми конституционными идеями о защите культурной самобытности, языкового и культур-

ного многообразия в рамках сохранения общероссийской культурной идентичности, которые необходимо развивать далее в правовых нормах, а также обосновывать конституционной идеологией и теорией.

Конституционно-правовая реальность, в которой находятся коренные народы, в настоящее время значительно меняется, что обусловлено изменениями современного мира – политическими, биологическими, экономическими кризисами, с одной стороны, и технологическим прогрессом, повышением качества жизни, усилением

«человеческого измерения» в государственных и иных общественных отношениях – с другой. Кроме того, все более значимыми становятся такие процессы, как глобализация и информатизация общества. Данная меняющаяся реальность требует широких подходов к изучению и теоретизации, а также к правотворчеству и применению конституционно-правовых норм, что обусловлено историческими, политическими, экономическими и иными особенностями существования коренных народов в государстве. Несмотря на то что в последние десятилетия стремительно меняются идеи и подходы к пониманию места коренных народов в государстве, нормы конституционного, и в его рамках этнического права, и новые конституционно-правовые институты формируются довольно медленно [Коренные народы в странах ... 2022:11-52]. Например, исследователи В.А. Кряжков, С.Н. Харючи и другие отмечают нерешенность ряда проблем конституционно-правового регулирования и пробельность отраслевого законодательства о коренных малочисленных народах [Кряжков 2018:74-76; Харючи 2009]. Если рассматривать развитие коренных народов через призму конституционализма, то можно обращаться к историко-правовым аспектам, философским и эмпирическим исследованиям, онтологической и аксиологической природе правовых норм, регулирующих жизнедеятельность коренных народов, и системно развивать правовые нормы, регламентирующие эту сферу общественных отношений.

Значительные изменения в жизни коренных народов, такие как участие в политических и экономических процессах, технологическое развитие, в том числе транспорта, информационно-коммуникативных технологий, урбанизация и иные значимые изменения в условиях существования влекут перестройку их этнического сознания, изменение психологических установок и духовных ценностей, что в свою очередь вызывает трансформацию самих коренных сообществ. Названные тенденции влекут конституционно-правовую модернизацию, которая в последнее время достаточно подробно описывается в трудах российских и зарубежных ученых [Бондарь 2015:21-29]. Как полагает Т.С. Масловская, развитие государства и общества, появление новых

вызовов – социальных, экологических, экономических, политических и других – предопределяет необходимость новеллизации конституций, в том числе и норм, относящихся к коренным народам [Масловская 2020:46].

Конституционализм, т. е. конституционно-правовая реальность, позволяет формировать правовую основу жизнедеятельности коренных народов в государстве не только с учетом существующих правовых норм, но и с использованием идеологического, социокультурного, гносеологического, аксиологического, психологического подходов. Исследования сравнительно-правового характера также представляют ценность, поскольку сосредотачиваются на этнических процессах.

Основная часть

Культурное многообразие характерно для подавляющего большинства современных государств, оно оказывает фундаментальное влияние на жизнь современного общества, на его регулирование и организацию, выражается в языке, ценностях и традиционных нормах поведения, мировоззрениях и обычаях. Декларация Организации Объединенных Наций (далее – ООН) 2007 г. признает, что коренные народы равны со всеми другими народами, и одновременно провозглашает право всех народов отличаться друг от друга и пользоваться уважением в таком своем качестве, поскольку все народы вносят вклад в многообразие и богатство цивилизаций и культур, которые составляют общее наследие человечества¹. Для поддержания социального равновесия и развития сплоченности в обществе важно, чтобы культурное многообразие учитывалось в юридических правилах, которыми руководствуются граждане, публичная власть и социальные институты государства. Именно с учетом необходимости формирования и развития мультикультурного общества в 2020 г. ст. 69 Конституции РФ была дополнена новеллой, в соответствии с которой государство взяло на себя обязательство по защите культурной самобытности всех народов и этнических общностей страны и сохранению этнокультурного и языкового многообразия российских народов. Таким образом, в настоящее время приоритетом

¹ ООН: Декларация ООН о правах коренных народов. Принята резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml (дата обращения: 1.10.2024).

российского государства в этнической сфере становится сохранение и развитие культурных различий и культурного многообразия.

В целом проблематика мультикультурализма как социально-политической концепции, направленной на создание и развитие целостного сообщества, состоящего из различных этносов, имеющих и сохраняющих этническую культуру, оформляется в социологии, антропологии, политологии и философии к концу XIX столетия. Со второй половины XX в. мультикультурализм становится значимым направлением гуманитарного и социального знания, а также государственной политикой и идеологией [Лапин 2013:20-26]. Мультикультурализм в своей основе содержит идею гармоничного сосуществования культурных и этнических групп, чьи традиции, практики, ценности признаются государством.

Развитием идей мультикультурализма занимались в основном зарубежные ученые (У. Кимлика (W. Kymlicka), Т. Модуд (T. Modood), Б. Парех (B. Parekh), Ч. Тейлор (Ch. Taylor), Э. Тириякин (E. Tiryakin), Г. Тернборн (G. Therborn) и некоторые другие. Особенно много исследований посвящено мультикультурализму в европейских странах и странах Северной Америки с точки зрения устоявшихся и новых социальных и культурных практик, отношений общества к различным меньшинствам в контексте социального государства (П. Кивисто (P. Kivisto), К.Ф. Коттак (C.Ph. Kottak), М.Ф. Райс (M.F. Rice)). Термин «мультикультурализм» появляется в отечественных исследованиях начиная с 1990-х г. – первоначально авторы изучали данный феномен в условиях западной социальной и политической реальности (К.С. Арутюнян, А.В. Веретевская, Л.М. Дробичева, Э.А. Паин, А.И. Куропятник). Совсем недавно российские ученые начали изучать мультикультурализм и его основные ценности, принципы с точки зрения его возможной адаптации к российскому контексту.

Существуют различные подходы к определению мультикультурализма, в частности, мультикультурализм определяется как (1) сосуществование ряда различных культур внутри какой-либо группы общества; (2) определенная политическая система или государственная политика, нацеленная на гарантированное равное признание различных культур и не допускающая дискриминации по признаку принадлежности к особой группе этнических / культурных меньшинств [Dictionary of Race 2003:183-184].

Особенно значимой и заслуживающей внимания представляется такая форма мультикультурализма, как конституционный мультикультурализм, поскольку, осуществляясь в рамках государства, проявления различных культур должны быть урегулированы правом, обеспечивающим удовлетворение как общих, так и уникальных потребностей своих граждан. Очевидно, что государство может признавать особый статус (а значит, юридическое существование) определенных групп населения, например, этносов, причем в современных мультикультурных государствах это признание все чаще осуществляется на основе конституций.

Конституционный мультикультурализм основан на идеях конституционализма и этнокультурного многообразия. В общем виде концепцию конституционного мультикультурализма можно описать как политическое и юридическое конституирование в рамках нации/государства в той или иной мере обособленных этноконфессиональных и этнокультурных групп, которое подтверждено основным законом государства. Такое конституирование рассматривается как альтернатива концепции «национального плавильного котла», применяемой в рамках государственного строительства во многих странах (например, в США) и предполагающей слияние всех народов в единую нацию через культурное и биологическое смешение, национально-государственную интеграцию посредством систем общего языка, общего образования, общей культуры и общей деятельности. При этом концепция «национального плавильного котла» отрицает наличие каких-либо конфликтов социального или этнического характера [Чертина 2000]. В политике, выстроенной на основе конституционного мультикультурализма, языковые, культурные, хозяйственные и иные различия этносов, составляющих единую нацию, рассматриваются как уникальные и дополняющие друг друга составляющие гармоничного устойчивого общества.

В 1971 г. Канада стала первой страной в мире, которая приняла концепцию культурного многообразия в качестве официальной политики. Тем самым Канада подтвердила ценность и достоинство всех канадских граждан независимо от их расовой или этнической принадлежности, их языка или вероисповедания. Такая политика культурного многообразия была закреплена в Законе о канадском культурном многообразии, принятом в 1988 г. [Шведова 2014:5].

Как справедливо отмечает в своем выступлении председатель Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин, и концепция плавильного котла, и концепция мультикультурализма имеют свои серьезные недостатки и риски, и ни одна из них не получила полноценного и эффективного развития в западных странах [Зорькин 2011]. Российский опыт построения многонационального государства оказался гораздо менее жестоким и несправедливым, чем аналогичный опыт построения подобных государств в других частях мира. За столетия государственного строительства наша страна не только научилась взаимодействовать с представителями различных этносов, но и сумела сохранить большинство этих этносов, в том числе обеспечить широкие возможности развития их языкового, культурного, религиозного своеобразия. Главной правовой идеей этого процесса В.Д. Зорькин считает именно выработку на уровне государства правовой модели решения проблем, порожденных этнонациональным многообразием [Зорькин 2011].

Конституционные нормы, в том числе дополненные в 2020 г., подчеркивают, что важным аспектом российского конституционного мультикультурализма должна стать именно общероссийская государственная идентичность, дополненная этнической идентичностью уникальных групп граждан, проживающих на отдаленных территориях нашего государства и вносящих свой вклад в культуру, ценности, образа жизни российского общества. Общероссийская культурная идентичность – это комплексное явление, сложившаяся система, которая включает в себя много аспектов, в том числе национальный, этнический, социальный [Лисенкова 2018:55-68]. Для полиэтничных государств характерен феномен двойной культурной идентичности, который характеризуется ощущением принадлежности индивидов одновременно как к своей культуре, так и к культуре общегосударственной нации. Культурные различия не воспринимаются критически, они совмещаются в образе жизни, ценностях, поведении. Чрезвычайно важны в определении двойной идентичности знание и восприятие как российских традиций, в том числе правовых, так и знание и использование традиций своего этноса и идентификация со своими культурными корнями и традициями. Для национальной идентичности наиболее важным аспектом является единение вокруг определенной национальной общности. Этот аспект

чрезвычайно важен для определения фрейма российской идентичности, основанной на идее национальной государственности, базирующейся на целостности многонационального общества [Лисенкова 2018:55-68].

В мире, где многие государства являются исконными территориями проживания коренных народов, особенно в России, исторические условия указывают, что назрела необходимость менять подходы к регулированию этнических отношений в рамках конституционного мультикультурализма, а именно, найти, предложить и реализовать в политической и конституционно-правовой практике новые концептуальные основы построения успешно развивающегося полиэтничного, поликультурного, поликонфессионального правового государства [Зорькин 2011]. Конституционный мультикультурализм, таким образом, можно рассматривать как правовую и политическую парадигму, вырабатываемую государством в ответ на вызовы глобализации, унифицирующей ценности и взгляды, культуры, традиции.

Многие территории России являются ареалами исконного проживания коренных народов, поэтому одной из особенностей развития конституционного мультикультурализма должно стать его «индигенное измерение», которое заключается в особом внимании государства к коренным малочисленным народам.

Как феномен «индигенность» зародилась в 1920-х гг. при первых попытках коренных жителей США защитить свои интересы в период техногенного развития и укрепления позиций государства. Вполне обоснованно говорить о том, что индигенное измерение повлияло на развитие конституционно-правовых систем в 1970–1980-х годах в таких полиэтничных странах, как Россия, США, Канада, и позволило государствам признать значимость, ценность и особые права коренных народов. Под «индигенностью» можно понимать совокупность характеристик, присущих определенным этносам – коренным народам, включающих их уникальную и неизменяющуюся культуру (самобытность), особый образ жизни и хозяйственной деятельности (в основном связанные с традиционным природопользованием), духовную близость к природе (исконным землям), специфичные способы расселения (в изоляции, дисперсно, вдалеке от технологически развитых территорий). Феномен индигенности призван играть значимую роль в развитии полиэтничных государств и может

стать идеологической, аксиологической, социокультурной основой конституционного мультикультурализма.

Полагаем, что некоторые индигенные аспекты развития конституции позволят отразить особенности и специфику существования коренных сообществ, проживающих в административно-территориальных границах и нормативно-правовых рамках государств, их потребности и ожидания, формы взаимодействия с публичной властью и другими этносами, а также правосознание. Наконец, конституционный мультикультурализм позволит в процессе государственного и общественного развития выявлять проблемные аспекты соотношения существующих конституционно-правовых норм и практики их реализации при столкновении с философией и мировоззрением коренных сообществ, а также будет способствовать совершенствованию российского этнического законодательства.

На основе конституционного мультикультурализма может сформироваться новая этнополитика, т. е. система осуществляемых государством мер, направленных на учет, сочетание и реализацию этнических интересов, на решение противоречий в сфере этнических отношений. Это важная часть национальной политики, представляющей целенаправленную деятельность по регулированию взаимоотношений между нациями, этническими группами, закрепленных в соответствующих политических документах и правовых актах государства [Нистен-Хаарала, Гладун, Тулаева, Захарова 2022:11-41]. В.А. Тишков называет этнополитикой сферу управления и обеспечения интересов и прав граждан, связанных с их этнокультурными запросами [Тишков 2001:43-44]. Этнополитика включает в себя приоритеты, цели, принципы, основные направления, задачи и механизмы их реализации. Ядро этнополитики – система правовых норм, обосновывающих статус, идентичность этнических групп с учетом баланса их интересов, степени конструктивности последних для общества.

Исходя из анализа международных актов, конституций и этнического законодательства в России и других арктических странах, мы можем сделать вывод о том, что ранее этнополитика на национальном и международном уровне была

в основном направлена на интеграцию коренных сообществ в нации, образующие государства, а в настоящее время более справедливой и соответствующий реалиям и задачам современности представляется политика мультикультурализма, в которой индигенные народы призваны играть значимую роль.

Заключение

В качестве вывода обобщим, что «индигенное измерение» поддерживает и легитимирует требование специфических прав для коренных народов, например, по принципу «первые по времени – первые по праву» или на основании их других исторических прав. Кроме того, следует учитывать, что многие индигенные сообщества достаточно специфичны по своей внутренней организации, системе ценностей, образу жизни и ожиданиям в отношении государств [Kumlicka 1995:172]. Поэтому задачей конституционного мультикультурализма является обоснование особых прав, в том числе не только для сохранения коренными народами их аутентичной культуры.

Существование политики конституционного мультикультурализма позволит не просто предоставить правовую защиту коренных народов, а обеспечить их конституционно-правовое развитие в условиях меняющихся государственных отношений. В его фокусе особенно значимы не только культурные и языковые права, которые в полной мере гарантированы и сейчас, а экономические и политические права и свободы², которые позволят коренным народам выбрать особый путь развития в современном мире. Возрождение и развитие правовых норм именно в этих сферах должно стать основой политики мультикультурализма [Paine 1999:326]. Кроме того, представляется важным концептуализировать индигенные аспекты конституционного мультикультурализма в России и на основе новых теорий и моделей систематизировать правовые, организационные, экономические и иные инструменты, чтобы воплотить особенности и потребности этносов, характеризующихся индигенностью, в реальные решения на практике.

² Гоголев П.В. *Конституционно-правовые основы патернализма и партнерства в отношении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России*: дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2014. 434 с.

Список литературы

1. Бондарь Н.С. 2015. Конституционная модернизация политических институтов российской государственности. – *Гуманитарий Юга России*. № 2. С. 21-29.
2. Зорькин В.Д. 2011. Мультикультурализм закладывает под государство «политические мины». – *Российская газета*. Федеральный выпуск. № 203 (5579).
3. *Коренные народы в странах БРИКС: политико-правовые аспекты*. Коллективная монография. 2022. Под ред. Е.Ф. Gladun. Тюмень: Тюменский государственный университет. 316 с.
4. Кряжков В.А. 2018. Конституция Российской Федерации о правах коренных малочисленных народов: намерения и реальность. – *Государство и право*. № 12. С. 74-76.
5. Лапин Д.В. 2013. Мультикультурализм: политическая концепция и научный феномен. – *Идеи и идеалы*. Т. 2. № 2 (16). С. 20-26.
6. Лисенкова А.А. 2018. Особенности формирования российской культурной идентичности. – *Ценности и смыслы*. № 2. С. 55-68.
7. Масловская Т.С. 2020. Конституционная модернизация: современные векторы развития. – *Журнал Белорусского государственного университета*. Право. № 3. С. 46-52.
8. Нистен-Хаарала С., Gladun Е.Ф., Тулаева С.А., Захарова О. В. 2022. Экономика коренных народов в арктических регионах: традиции и трансформации (на примере России, Финляндии, США). – *Экономическая социология*. № 23 (3). С. 11-41.
9. Тишков В.А. 2001. *Этнология и политика: научная публицистика*. Москва: Наука. 239 с.
10. Харючи С.Н. 2009. Роль государства в гармонизации промышленного освоения и устойчивого развития малочисленных народов Севера. – *Мир коренных народов «Живая Арктика»*. № 22. С. 87-90.
11. Чертина В.С. 2000. *Плавильный котел. Парадигмы этнического развития США*. Москва: Институт всеобщей истории РАН. 163 с.
12. Шведова Н.А. 2014. Гендерные проблемы коренных малочисленных народов: опыт Канады. – *Россия и Америка в XXI веке*. № 3. С. 43-49.
13. *Dictionary of Race, Ethnicity and Culture*. 2003. Ed. G. Bolaff, R. Bracalenti, P.H. Braham, S. Gindro. 1st ed. Los Angeles. P. 183-184.
14. Kymlicka W. 1995. *Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford. 296 p.
15. Paine R. 1999. Aboriginality, multiculturalism and liberal rights philosophy. – *Ethnos*. Vol. 64 (3). P. 325-349.
5. *Dictionary of Race, Ethnicity and Culture*. Ed. G. Bolaff, R. Bracalenti, P.H. Braham, S. Gindro. 1st ed. Los Angeles. 2003. P. 183-184.
4. Kharyuchi S.N. Rol' gosudarstva v garmonizatsii promyshlennogo osvoyeniya i ustoychivogo razvitiya malochislennykh narodov Severa [The role of the state in the harmonization of industrial development and sustainable development of small peoples of the North]. – *Mir korenykh narodov "Zhivaya Arktika" [The World of Indigenous Peoples "Living Arctic"]*. 2009. No. 22. P. 87-90. (In Russ.)
5. *Korenyye narody v stranakh BRIKS: politiko-pravovyye aspekty* [Indigenous Peoples in the BRICS Countries: Political and Legal Aspects]. Kollektivnaya monografiya. Pod red. E.F. Gladun. Tyumen: Tyumen State University. 2022. 316 p. (In Russ.)
6. Kryazhkov V.A. Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii o pravakh korenykh malochislennykh narodov: namereniya i real'nost' [The Constitution of the Russian Federation on the Rights of Indigenous Peoples: Intentions and Reality]. – *Gosudarstvo i pravo [State and Law]*. 2018. No. 12. P. 74-76. (In Russ.)
7. Kymlicka W. 1995. *Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford. 296 p.
8. Lapin D.V. Mul'tikul'turalizm: politicheskaya kontseptsiya i nauchnyy fenomen [Multiculturalism: political concept and scientific phenomenon]. – *Idey i idealy [Ideas and Ideals]*. 2013. Vol. 2. No. 2 (16). P. 20-26. (In Russ.)
9. Lisenkova A.A. Osobennosti formirovaniya rossiyskoy kul'turnoy identichnosti [Features of the formation of Russian cultural identity]. – *Tsenosti i smysly [Values and Meanings]*. 2018. No. 2. P. 55-68. (In Russ.)
10. Maslovskaya T.C. Konstitutsionnaya modernizatsiya: sovremennyye vektory razvitiya [Constitutional modernization: modern vectors of development]. – *Zhurnal Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta [Journal of the Belarusian State University. Law]*. 2020. No. 3. P. 46-52. (In Russ.)
11. Nisten-Haarala S., Gladun E.F., Tulaeva S.A., Zakharova O.V. Ekonomika korenykh narodov v arkticheskikh regionakh: traditsii i transformatsii (na primere Rossii, Finlyandii, SSHA) [Economy of indigenous peoples in the Arctic regions: traditions and transformations (on the example of Russia, Finland, USA)]. – *Ekonomicheskaya sotsiologiya [Economic Sociology]*. 2022. No. 23 (3). P. 11-41. (In Russ.)
12. Paine R. 1999. Aboriginality, multiculturalism and liberal rights philosophy. – *Ethnos*. Vol. 64 (3). P. 325-349.
13. Shvedova N.A. Gendernyye problemy korenykh malochislennykh narodov: opyt Kanady [Gender issues of indigenous peoples: the Canadian experience]. – *Rossiya i Amerika v XXI veke [Russia and America in the 21st century]*. 2014. No. 3. P. 43-49. (In Russ.)
14. Tishkov V.A. *Etnologiya i politika: nauchnaya publitsistika [Ethnology and politics: scientific journalism]*. Moscow: Nauka. 2001. 239 p. (In Russ.)
15. Zorkin V.D. Mul'tikul'turalizm zakladyvayet pod gosudarstvo "politicheskiye miny" [Multiculturalism lays "political mines" under the state]. – *Rossiyskaya gazeta. Federal'nyy vypusk [Rossiyskaya Gazeta. Federal issue]*. 2011. No. 203 (5579). (In Russ.)

References

1. Bondar N.S. Konstitutsionnaya modernizatsiya politicheskikh institutov rossiyskoy gosudarstvennosti [Constitutional modernization of political institutions of Russian statehood]. – *Gumanitarniy Yuga Rossii. [Humanitarian of the South of Russia]*. 2015.No. 2. P. 21-29. (In Russ.)
2. Chertina V.S. *Plavil'nyy kotel. Paradigmy etnicheskogo razvitiya SSHA [Melting pot. Paradigms of ethnic development in the USA]*. Moscow: Institut vseobshchey istorii RAN. 2000. 163 p. (In Russ.)

Информация об авторе**Елена Федоровна ГЛАДУН,**

кандидат юридических наук, доцент, Почетный работник сферы образования РФ, профессор кафедры государственного и муниципального управления, Тюменский государственный университет

Волodarского ул., д. 6, Тюмень, 625003, Российская Федерация

e.f.gladun@utmn.ru
ORCID: 0000-0003-2525-6638

About the Author**Elena F. GLADUN,**

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Honorary Worker of the Education Sphere of the Russian Federation, Professor of the Department of State and Municipal Administration, University of Tyumen

6, Volodarskogo St., Tyumen, Russian Federation, 625003

e.f.gladun@utmn.ru
ORCID: 0000-0003-2525-6638



DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-15-34>

Исследовательская статья
УДК: 341
Поступила в редакцию: 23.09.2024
Принята к публикации: 18.11.2024

Михаил Борисович ЛОБОВ

Конституционный Суд Российской Федерации

Сенатская площадь, д. 1, Санкт-Петербург, 190000, Российская Федерация

m.b.lobov@mail.ru

ORCID: 0009-0006-5380-3028

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ: УРОКИ ВЫХОДА ГОСУДАРСТВ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВВЕДЕНИЕ. Европейский интеграционный проект, долгое время считавшийся выдающимся образцом восстановления прочного мира на континенте и залогом его процветания, все больше сталкивается с экзистенциальными рисками. Прецеденты выхода государств из европейских региональных организаций – Европейского союза (далее – ЕС, Евросоюз) и Совета Европы – заставляют критически переосмыслить их опыт и перспективы дальнейшего существования. Указанные события, при всей их уникальности, каждое по-своему пошатнули привычную архитектуру общеевропейского сотрудничества и заставили обратиться к углубленному изучению политических и правовых моделей выхода государств из европейских региональных организаций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. При проведении исследования использован обширный массив международных и национальных норм, а также судебной практики, оформивших выход Великобритании из Евросоюза. Анализ проведен с использованием источников, связанных с длительным переговорным процессом, а также сопутствующих политико-правовых процессов в самой Великобритании. Привлечены публикации в средствах массовой информации, официальные выступления и заявления выдающихся правоведов и политиков. Исследование основано

на углубленном изучении научной доктрины и практики, включая комментарии непосредственных участников ключевых событий. Помимо традиционных методов юридического анализа, при написании работы использовались исторический и диалектический подходы с целью сочетать исследование формально-юридической стороны дезинтеграционных процессов с их системным видением как взаимосвязанных элементов более общей динамики международного права и международных отношений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На примере Брекзита проанализированы правовые аспекты дезинтеграции, как сложного процесса размежевания государства с высоко организованным наднациональным союзом. С одной стороны, рассмотрено международно-правовое измерение дезинтеграционного процесса через денонсацию уставных международно-правовых актов и заключение новых договоров с целью «мягкого выхода», обеспечивающего поступательную трансформацию внутрисоюзных отношений в новые форматы, как с разрывом множества связей, так и с сохранением некоторых из них. С другой стороны, исследовано оформление процесса дезинтеграции и преодоление его последствий в национальном правовом порядке. Поступательное преобразование укорененных в британском праве элементов европейского правового порядка

требует принятия тысяч нормативных актов, не говоря уже о пересмотре еще большего количества исходящих от ЕС правовых позиций в национальной судебной практике.

ОБСУЖДЕНИЯ И ВЫВОДЫ. Геополитические сдвиги в Европе и мире в сочетании с беспрецедентной деградацией политической и экономической ситуации внутри самого Евросоюза ставят под сомнение не только его дальнейшее лидерство, но даже его способность сохранить в современном виде. Таким образом, сложившийся международный контекст заставляет взглянуть на опыт Брекзита в сравнительной перспективе и рассматривать его как весьма изолированную, хотя и далеко не единственную, правовую модель выхода из регионального интеграционного проекта. Несмотря на знаменательные различия между выходом Великобритании из ЕС и выходом России из Совета Европы, последний из которых заслуживает отдельного

изучения, просматриваются и некоторые параллели между двумя событиями, как в плане их оформления в международном и внутреннем праве, так и в плане их значения для дальнейшей дезинтеграции на европейском пространстве.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Европейский союз, Совет Европы, европейская интеграция, европейское право, денонсация, дезинтеграция, Брекзит

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Лобов М.Б. 2024. Правовые аспекты дезинтеграции: уроки выхода государств из европейских региональных организаций. – Московский журнал международного права. № 4. С. 15–34. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-15-34>

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-15-34>

Research article

UDC: 341

Received 23 September 2024

Approved 18 November 2024

Mikhail B. LOBOV

Constitutional Court of the Russian Federation

1, Senatskaya Sq., Saint Petersburg, Russian Federation, 190000

m.b.lobov@mail.ru

ORCID: 0009-0006-5380-3028

LEGAL ASPECTS OF DESINTEGRATION: LESSONS OF STATES' WITHDRAWALS FROM EUROPEAN REGIONAL ORGANISATIONS

INTRODUCTION. Viewed for a long time as an outstanding example of restoring durable peace on the continent and a major precondition for its prosperity, the European integration project is increasingly running existential risks. The precedents of States' withdrawals from the main European regional organisations – the European Union and the Council of Europe – command a critical review of both their experience and the perspectives for their continuing

existence. While the aforementioned events were unique in nature, they have shaken in their own ways the long-established architecture of Pan-European cooperation and prompted in-depth studies of political and legal models of States' withdrawals from European regional organisations.

MATERIALS AND METHODS. The study is based on a broad ensemble of international and national norms and case-law that have shaped the Great

Britain's exit from the European Union. The analysis has been nurtured by an array of sources connected with the long negotiation process and the parallel legal and political processes within the UK. Mass media publications have been used along with official speeches and statements by high-level lawyers and politicians. The research also benefits from an in-depth study of the doctrine and practice, including the commentaries by direct actors of the pivotal events. Beyond the traditional methods of legal analysis the author has used historic and dialectic approach with a view to combining the study of the formal legal sense of the desintegration processes with their systemic understanding as interconnected elements within the broader dynamics of international law and international relations.

RESEARCH RESULTS. *The study has analysed through the prism of Brexit the legal aspects of desintegration as a complex process of the State's desengaging from a highly organised supranational union. On the one hand, the article reviews the international-law dimension of the desintegration process through the denunciation of the statutory treaties and the conclusion of new ones with a view to a «soft exit», thus ensuring a progressive transformation of the intra-union relations into new formats, cutting off multiple connections, while preserving some others. On the other hand, the article explores the way the desintegration is framed and its consequences managed in national law. The progressive transformation of the nationally rooted elements of the European legal order requires thousands of new legal acts, let alone the review of a*

more voluminous body of the EU-related case-law through national judicial decisions.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS. *The geopolitical shifts in Europe and the world, allied with the unprecedented deterioration of the political and economic situation within the European Union itself, raise doubts at both its continued leadership and even its capacity to survive in its present format. The current international context therefore commands a review of the Brexit experience in a comparative perspective, taking it as a highly sophisticated legal model, albeit not the only one, of withdrawal from the regional integration project. While the United Kingdom's withdrawal from the EU presents notable differences with Russia's withdrawal from the Council of Europe, which deserves a separate study, certain parallels have been identified between the two phenomena both in terms of their framing in international and national law and in terms of their significance for further desintegration on the European arena.*

KEYWORDS: *European integration, European Union, Council of Europe, European law, denunciation, desintegration, Brexit*

FOR CITATION: Lobov M.B. Legal Aspects of Disintegration: Lessons of States' Withdrawals from European Regional Organizations. – *Moscow Journal of International Law*. 2024. No. 4. P. 15–34. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-15-34>

The author declares the absence of conflict of interest.

1. Введение: взлет и падение общеевропейского проекта

Основанный державами-победителями во Второй мировой войне новый международный порядок создал беспрецедентные предпосылки для деятельности региональных организаций с целью более тесного сотрудничества государств вплоть до их интеграции в политическом, экономическом, социальном, военном, культурном и иных измерениях. История человечества еще не знала такого расцвета разноплановых интеграционных институтов во всех частях света. Растерзанная самой разрушительной в истории войной Европа раньше других континентов встала перед

выбором организационных форм примирения воевавших между собою стран и обеспечения их послевоенного восстановления, взаимодействия и коллективной безопасности. Разделение же континента по идеологическому критерию на социалистический «восток» и капиталистический «запад» во многом предопределило как состав послевоенных региональных организаций, так и их институционные формы.

Через месяц после Фултонской речи У. Черчилля (5 марта 1949 г.) на западе континента образуется военный блок НАТО (4 апреля 1949 г.), а еще через месяц Совет Европы (5 мая 1949 г.). Компетенция последнего, ставшего сначала предтечей, а в дальнейшем и важнейшим правовым компонентом европейской интеграции,

состояла в организации сотрудничества во всевозможных областях¹, кроме вопросов обороны, работу над которыми предполагалось вести в отдельном формате². Годом ранее уже была создана Организация европейского экономического сотрудничества (16 апреля 1948 г.) для координации Программы восстановления Европы, более известной как план Маршалла, участие в котором США обусловили выведением коммунистов из правительств вовлеченных в него стран. Последовавшее создание основными западноевропейскими странами Европейского объединения угля и стали (18 апреля 1951 г.), как решающего шага на пути к более тесной экономической интеграции, дополнило главные несущие элементы западноевропейской региональной интеграционной архитектуры. Последняя до начала 90-х годов XX в. успешно конкурировала с региональными объединениями социалистического лагеря на востоке Европы в виде Совета экономической взаимопомощи (с 25 января 1949 г.) и Организации Варшавского договора (с 14 мая 1955 г.), ставшей вынужденным ответом соцлагеря на создание НАТО и первые две волны его расширения до Греции и Турции в 1952 и Западной Германии в 1955 гг.

Падение Берлинской стены и последовавший за ним роспуск Организации Варшавского договора, а также распад СССР дали Европе редкий исторический шанс преодоления былой идеологической конфронтации через выстраивание новой, подлинно общеевропейской архитектуры сотрудничества и безопасности, а уверенный политический курс России на стратегическое партнерство со «стабильной, процветающей и единой Европой»³ создавал для этого, казалось бы, идеальные условия. Вместо негативной – и к тому же относительной – стабильности

времен холодной войны требовалась стабильность позитивная, основанная на коллективном взаимодействии⁴.

Став для России приоритетным почти на четверть века постсоветской истории, общеевропейское сотрудничество развивалось в рамках новой региональной архитектуры, адаптированной под совместное решение общих задач. Это и превращение в подлинно общеевропейские организации Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее – ОБСЕ), причем последняя с потенциалом расширения взаимодействия не только в панъевропейском измерении от Владивостока до Лиссабона, но и в гораздо более широком евроатлантическом измерении от Владивостока до Ванкувера. Это и создание прочных каналов для интенсивного комплексного взаимодействия России с Евросоюзом в двустороннем формате с потенциалом его расширения до таких смелых проектов, как «интеграция интеграций», направленных на взаимодействие между интеграционными процессами в Европе и Евразии [Интеграционные процессы ... 2017:7-8, 11-12, 18-22]. Это и, до определенной поры, более или менее успешное взаимодействие по линии Россия – НАТО.

Решение «европейского вопроса», обозначенного идеологом панъевропейского движения начала XX в. Рихардом Куденхове-Калерги корнем всех бед Старого Света⁵, в любом случае подразумевало обеспечение коллективной и неделимой безопасности континента. Однако ни в ОБСЕ, ни в каких-либо других общеевропейских форматах принцип неделимости безопасности, провозглашенный в Евро-Атлантике в 90-е годы XX в. на высшем уровне, международно-правового закрепления так и не получил⁶. Все иные общеевропейские и даже евроатлантические процессы

¹ Целью Совета Европы провозглашалось «достижение большего единства между его членами» и «содействие их экономическому и социальному прогрессу... посредством рассмотрения вопросов, представляющих общий интерес, заключения соглашений и проведения совместных действий в экономической, социальной, культурной, научной, правовой и административной областях, равно как и путем поддержания и дальнейшего осуществления прав человека и основных свобод» (ст. 1 Устава).

² Начало такому формату было положено предвосхитившим НАТО Брюссельским пактом (17 марта 1948 г.), что впоследствии нашло свое продолжение в Западноевропейском союзе (24 октября 1954 г.), просуществовавшем параллельно с НАТО до 2012 г.

³ V. Poutine Vive le dialogue Europe-Russie! – *Le Monde*. 28 mars 2007. P. 21.

⁴ Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на весенней 61-й сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Страсбург. 29 апреля 2010 г. – *Министерство иностранных дел Российской Федерации*: [сайт]. URL: https://mid.ru/ru/press_service/minister_speeches/1700197/ (дата обращения: 10.11.2024).

⁵ «У нашего континента две большие проблемы: социальный вопрос и европейский вопрос; классовая борьба и война между европейскими государствами» [Coudenhove-Kalergi 2019:12].

⁶ Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на весенней 61-й сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Страсбург. 29 апреля 2010 г.

сотрудничества, которые выстраивались в ОБСЕ и в Совете Европы, как в основных несущих структурах общеевропейской региональной архитектуры, несмотря на их многочисленные достижения в разнообразных областях, не могли сами по себе гарантировать проекту Большой Европы ожидаемого успеха в долгосрочной перспективе. Достижения в области так называемой мягкой безопасности, связанной с безопасностью личности и правами человека, на которую был нацелен Совет Европы, равно как яркие успехи в других измерениях общеевропейского взаимодействия, не могли устоять без создания общерегиональной системы коллективной безопасности, иными словами, «жесткой безопасности», равной для всех, неделимой и обеспеченной, как и «мягкая безопасность» необходимыми юридическими гарантиями. Увы, данной сверхзадаче не суждено было исполниться, а идея подлинной независимости Пан-Европы как самостоятельного мирового субъекта выглядит сегодня столь же далекой от реальности, как и сто лет назад, когда в промежутке между двумя мировыми войнами Куденхове-Калерги впервые обнародовал свой одноименный манифест⁷.

Ретроспективный взгляд на историю последних лет однозначно свидетельствует о том, что указанные неудачи отнюдь не были результатом случайного стечения обстоятельств. События 2008 г. в Грузии и тем более 2014 г. на Украине окончательно проявили несовместимый с общеевропейским проектом курс доминирующих в Европе политических элит, предприняв дальнейшую конфронтацию с Россией с последующим переходом ее в горячую стадию несколько лет спустя. Демонтаж общеевропейского проекта и безвозвратная мутация его несущих организационных структур – Совета Европы и ОБСЕ, – достигшая своей кульминации вместе с событиями 2022 г. на Украине, а также серьезные вызовы, с которыми столкнулся в результате этого и сам Евросоюз, заставляют задуматься о дальнейших перспективах европейских

интеграционных процессов и уделить внимание обратным, дезинтеграционным тенденциям на континенте [Галушко 2020:71-77].

2. Единая Европа: экзистенциальные риски

Согласно известному изречению одного из архитекторов европейской интеграции Жана Монне, «Европа будет создаваться в кризисах и станет суммой решений, принятых в ответ на эти кризисы» [Monnet 1976:488]. Действительно, послевоенная европейская интеграционная модель не раз доказывала свою способность выносить уроки из пройденных испытаний, явив миру, без сомнения, один из самых успешных региональных проектов в истории, который до недавнего времени представляется многим не иначе как «европейским чудом», выразившемся в созданном Советом Европы в 1955 г. «флаге Европы» с двенадцатью золотыми звездами на синем фоне – символом полноты и совершенства. Оставляя за кадром сложный разбор причин достижений и неудач европейского интеграционного проекта, ограничимся констатацией того, что он долгое время не без успеха балансировал между необходимостью обеспечения Европой своей субъектности путем выстраивания самостоятельных взвешенных отношений с ее двумя ключевыми геополитическими партнерами – СССР (позднее Россией) и США, – и непреодолимой в силу итогов Второй мировой войны политической, экономической, финансовой и военной привязкой Западной Европы к евроатлантическому взаимодействию.

Противостояние модели «Европы наций» (Europe des nations) Шарля де Голля, основанной на приоритете франко-германского союза над евроатлантической солидарностью и скрепленной эпохальным Елисейским договором о франко-германской дружбе от 22 января 1963 г., с одной стороны, и глобалистской евроатлантической модели наднационального союза Жана Монне – с другой, еще до окончания холодной войны

⁷ Необходимость подлинно независимой Европы обосновывалась мыслителем следующим образом: «Ни Восток, ни Запад не хотят спасти Европу: Россия хочет ее захватить, Америка хочет ее купить. Между Цзиллой военной диктатуры и Харибдой американской финансовой диктатуры есть только один узкий путь к лучшему будущему. Это – Пан-Европа..., создание Европой политико-экономического союза». При этом важнейшей гарантией успеха европейского проекта автору представлялась «широкое взаимопонимание» с Россией на основе «экономических интересов» и «без политических предрассудков»: «Европа может избежать экономической катастрофы, в которую ее ввергла война, только в случае экономического сотрудничества с Россией и участия в ее реконструкции. И Россия, и Европа нуждаются друг в друге, чтобы сообща возродиться» [Coudenhove-Kalergi 2019:13, 65].

завершилось в пользу последней с последовательным «растворением» в Евросоюзе составляющих его государств [Onfray 2020:253-267]. Неожиданный всплеск подлинно суверенных действий во внешней политике Франции и Германии с созданием оси Париж – Берлин – Москва на фоне противостояния противоправному вторжению США и Великобритании в Ирак в 2003 г. не изменили общего вектора развития, который складывался не в пользу независимой и сильной Европы, как самостоятельного мирового игрока. Последовавшее же расширение Евросоюза до восточноевропейских стран, почти повсеместно управляемых новыми проамериканскими элитами, на практике привело к окончательному укоренению безальтернативной евроатлантической зависимости объединенной Европы.

С одной стороны, ЕС и сегодня еще продолжает сохранять видимость геополитического влияния и даже декларировать свое относительное сплочение и единство перед лицом того, что сами его лидеры охарактеризовали как «тектонический сдвиг в европейской истории» и «новую реальность»⁸. Инерция его экономического потенциала в сочетании с пока еще действенными рычагами финансового регулирования и даже принуждения [Энтин, Биткина 2024:75-76] позволяет ему оставаться на плаву, несмотря на стремительное падение его макроэкономических показателей. Не приводит к быстрой дестабилизации ЕС и неуклонное падение уровня жизни населения его стран-членов, что тоже объяснимо высокой инерционностью указанных процессов и использованием европейскими правительствами пока еще доступных компенсаторных механизмов.

С другой стороны, былая привлекательность Евросоюза и перспективность его интеграционной модели, равно как и его способность

поддерживать свое лидерство в быстро меняющемся мире, вызывают все большие сомнения как внутри самого блока, так и у третьих стран. Так, в актуальном и неожиданно откровенном докладе о будущей конкурентоспособности Евросоюза, обнародованном 9 сентября 2024 г. бывшим председателем Европейского Центрального Банка Марио Драги по запросу Еврокомиссии, вырисовывается весьма мрачный прогноз уже на ближайшее будущее. Согласно приведенным в докладе данным, ЕС рискует и вовсе не оправиться от текущего глубокого кризиса, обусловленного потерей главных экономических основ его бывшего процветания. Среди них автор особо выделяет скоропостижный и крайне болезненный разрыв экономических связей с Россией (которые, следует добавить, способствовали экономическому развитию Евросоюза даже в период мирного сосуществования и конкуренции противоборствующих систем времен холодной войны). Среди других существенных причин упадка европейской экономики фигурируют также необходимость увеличения некогда минимальных трат на оборону (прекращение так называемых дивидендов от мира) и потеря доходов от выгодного экспорта высокотехнологичных товаров, производство которых ныне перемещено за пределы ЕС. «Еще никогда в прошлом масштаб наших стран не казался столь маленьким и несоразмерным по отношению к величине вызовов», – заключает докладчик⁹.

Многочисленные проблемы Евросоюза не ограничиваются, впрочем, неуклонным падением его экономики. Проблематичны и его текущая ультралиберальная идеологическая повестка, плохо рифмующаяся с его подлинным «культурным, религиозным и гуманистическим наследием»¹⁰, и неумолимое падение авторитета его лидеров на фоне системного разрушения

⁸ Versailles Declaration of the Heads of State or Government of the European Union. 11 March 2022. P. 3. § 8. URL: <https://www.consilium.europa.eu/media/54773/20220311-versailles-declaration-en.pdf> (accessed date: 10.11.2024).

⁹ The future of European competitiveness. Part A. A competitiveness strategy for Europe. September 2024. P. 1-5. URL: https://commission.europa.eu/document/download/97e481fd-2dc3-412d-be4c-f152a8232961_en?filename=The%20future%20of%20European%20competitiveness%20-%20A%20competitiveness%20strategy%20for%20Europe.pdf (accessed date: 10.11.2024).

¹⁰ Компромиссная формулировка второго абзаца Преамбулы Договора о Европейском Союзе была заимствована из проекта не состоявшейся конституции для Европы, разработанной конвентом под руководством Валери Жискара д'Эстена, который был отмечен, среди прочего, острыми дебатами об уместности упоминания христианских традиций, лежащих в основе европейского проекта. Les "racines chrétiennes" dans la Constitution européenne? L'Express. 14 juin 2004. URL: https://www.lexpress.fr/monde/europe/les-racines-chretiennes-dans-la-constitution-europeenne_489343.html (accessed date: 10.11.2024); L'Europe a-t-elle renoncé à ses racines chrétiennes? – La Croix. 18 avril 2024. URL: <https://www.la-croix.com/religion/l-europe-a-t-elle-renonce-a-ses-racines-chretiennes-20240418> (accessed date: 10.11.2024).

внутриполитического поля с деградацией традиционных политических партий, и необратимые миграционные тенденции, стремительно меняющие привычный облик континента. Все происходящее не просто вызывает «европессимизм» в отношении будущего, но все больше грозит повторением наиболее печальных событий европейской истории.

«Множественность, не восходящая в единство, есть беспорядок; единство, не зависящее от множественности, есть тирания» [Pensées ... 1823:255]. Этой мыслью Паскаля¹¹ проиллюстрировал моральную проблему Европы на старте послевоенных интеграционных процессов самый молодой евродепутат первой сессии Консультативной Ассамблеи Совета Европы (10 августа 1949 г.), избранный от вновь отошедшего к Франции Эльзаса, Альбер Эм. Вспоминая о многообразных идеях объединения континента [Ковлер 2016:24-50] в трудах герцога Сюлли и аббата де Сен-Пьера, философов Руссо и Канта, политиков Наполеона и Бриана, едва отошедшие от ужасов войны европейцы недоумевали, почему им понадобилось пройти через «Европу Адольфа Гитлера» прежде чем всерьез связать проект единой Европы с гарантией прочного мира, – вопроса, который по итогам Второй мировой войны зависел уже не столько от самой Европы, сколько от отношений двух супердержав-победителей¹². Выстраданное горьким опытом адекватное понимание неразрывной связи между мирным процветанием Европы и необходимостью геополитического равновесия на континенте как гарантии его безопасности живо присутствовало в умах европейских политиков того времени¹³.

Воспитанные в изменившихся условиях полвека спустя современные европейские лидеры, увы, уходят все дальше от понимания этих многократно подтвержденных истин. Доминирование *homo atlanticus* в современной

европейской политике [Обичкина 2020:12], поставивших судьбу большей части континента в полную зависимость от заокеанских сил вкупе с разрушением всего спектра отношений с Россией, ставит европейский интеграционный проект в радикально иные условия, чем те, что до недавнего времени обеспечивали его процветание. Неуклонный же закат *rex americana* в его современном виде, в пользу которого Евросоюз, как и его государства-члены, фактически пожертвовал своей субъектностью на мировой арене, грозит ему тупиком, из которого пока не просматривается очевидного выхода.

Проблемы Евросоюза логично приводят к беспрецедентному падению доверия к его непомерно разросшимся институтам, отрыв которых от реальности «на земле» скорее напоминает состояние «не зависящего от множества единства», которое Паскаль отождествлял с тиранией, чем голлистскую модель «Аристотелевой Европы, построенной на единстве в разнообразии» [Onfray 2020:256]. Беспрецедентный в истории ЕС «евроскептицизм» среди самих европейцев, продемонстрированный выборами 2024 г. в Европарламент с последующими национальными выборами во Франции и земельными выборами в Германии говорит сам за себя, а политический калибр вновь назначенного руководства ЕС даже малых надежд на принятие действенных антикризисных решений не вселяет. Безапелляционный же результат американских выборов ноября 2024 г. и грядущий приход к власти в США новой республиканской администрации, поддерживаемой большинством Конгресса, плачевные перспективы ультралиберального Евросоюза лишь усугубляет.

Все это вряд ли предвещает некогда успешным европейским интеграционным процессам дальнейшее процветание, а напротив, делает вероятным если не коллапс, то как минимум

¹¹ Мысль философа высказана в контексте спора между папистами и гугенотами: первых Паскаль критиковал за исключение множества в их стремлении к признанию непогрешимости Папы, вторых – за исключение единства в их отрицании католической церкви.

¹² «Было бы иллюзией не видеть того, что судьба Европы зависит большей частью от диалога между Америкой и Россией... Руководство миром перешло в другие руки. Мы не можем рассматривать настоящее и будущее через призму европейских воспоминаний о славном прошлом». Discours d'Albert Ehm prononcé à la réunion de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe. 10 août 1949.

¹³ Одним из главных рисков для будущей Европы де Голль видел потерю европейской идентичности с приходом заокеанского капитализма, равно как и советского большевизма [Onfray 2020:256]. Говоря о необходимости независимой модели объединения Европы на основе подлинных европейских ценностей, Альбер Эм говорил: «Остановиться на компромиссе между политикой доллара и политикой советизации значило бы обречь Европу на рабство и войну». Discours d'Albert Ehm prononcé à la réunion de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe. 10 août 1949.

развитие на континенте центробежных и дезинтеграционных тенденций. Последние все чаще становятся предметом обсуждения среди политиков и экспертов, а недавний опыт выхода Великобритании из ЕС вызывает тем более живой интерес.

3. Выход Великобритании из ЕС: исключение или прецедент?

Очевидно, что особое положение этого государства по отношению к континентальной Европе, обусловленное географическими, историческими и геополитическими причинами, равно как и обстоятельства его присоединения к блоку в 1972 г. и выхода из него в 2020 г., делает Брекзит не вполне репрезентативным явлением. Уникальным является и то, что государство впервые покинуло наиболее интегрированный в мире блок после более чем 40 лет полноценного членства. Вместе с тем беспрецедентный характер вызовов и угроз, с которыми столкнулся Евросоюз, не позволяет исключить, что мы не увидим аналогов или вариаций Брекзита в обозримом будущем. Показательно, что аббревиатура Vrexit уже получила хождение, иногда на самом высоком уровне, в приложении к другим странам ЕС (Frexit, Nexit, Polexit и т. п.)¹⁴.

Прогрессирующий кризис (по некоторым оценкам – уже «паралич»¹⁵) Евросоюза и недовольство им со стороны его членов логичным образом приведет государства к тому, чтобы решать свои проблемы самостоятельно, без оглядки на Брюссель, как только это станет политически возможно и экономически выгодно. В упомянутом докладе Драги и вовсе отмечается, что Евросоюз может потерять смысл и прекратить свое существование, если радикально

не ускорит экономический рост и не пересмотрит свои амбиции, а сравнение сегодняшних перспектив ЕС с судьбой позднего СССР уже не претендует на оригинальность даже среди западных элит¹⁶.

Выход из любой региональной организации является прежде всего уделом политиков, оставляя правовые аспекты дезинтеграции в тени. Однако рано или поздно последние требуют детального правового урегулирования, поскольку очевидно, что выход государства из международного договора неминуемо рождает серьезные правовые последствия как в его отношениях с другими государствами, так и внутри самого государства.

Отвечая в 2015 г. на вопрос в Палате лордов о сложностях тогда еще предстоящего выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, бывший британский судья Суда ЕС Дэвид Эдвард ответил, что «долгосрочный кошмар правовых осложнений почти невозможно вообразить»¹⁷. Если последующие годы вполне подтвердили его прогноз, то невероятные усилия армий юристов с обеих сторон позволили частично распутать этот клубок из десятков тысяч правовых норм с целью максимально контролируемого демонтажа старого правопорядка Евросоюза и перехода отношений на новые международно-правовые координаты. Вот почему правовая модель выхода Великобритании из ЕС представляет несомненный интерес в контексте исследования дезинтеграционных процессов. Проблематика Брекзита уже привлекала к себе внимание отечественной правовой науки в плане регулирования интеграционных процессов внутри Евросоюза¹⁸. Настоящая статья преследует своей целью проанализировать правовые аспекты дезинтеграции с несколько иного ракурса.

¹⁴ Pour Macron, France aurait probablement voté pour une sortie de l'UE en cas de vote sur le "FREXIT". BFM.TV. 22 janvier 2018. URL: https://www.bfmtv.com/politique/elysee/pour-macron-la-france-aurait-probablement-vote-pour-une-sortie-de-l-ue-en-cas-de-vote-sur-le-frexit_AN-201801220023.html (accessed date: 10.11.2024); Could 'Nexit' be the next Brexit? Brussels Times. 31 March 2021. URL: <https://www.brusselstimes.com/162966/could-nexit-be-the-next-brexit> (accessed date: 10.11.2024); [Trosiak 2020:215-226].

¹⁵ Europe's 'Reason for Being' Is at Risk as Competitiveness Wanes, Report Warns. The New York Times. 9 September 2024. URL: <https://www.nytimes.com/2024/09/09/business/europe-economy-competitiveness.html> (accessed date: 10.11.2024).

¹⁶ Soros G. The EU looks like the Soviet Union in 1991 – on the verge of collapse. The Guardian. 12 February 2019. URL: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/feb/12/eu-soviet-union-european-elections-george-soros> (accessed date: 10.11.2024).

¹⁷ The process of withdrawing from the European Union. House of Lords. European Union Committee. 11th Report of Session 2015–2016. HL Paper 138. § 50. URL: <https://publications.parliament.uk/pa/ld201516/ldselect/lducom/138/138.pdf> (accessed date: 10.11.2024).

¹⁸ Галушко Д.В. *Теория и практика правового регулирования интеграционных процессов в свете вызовов Брекзита*: дис. ... д-ра юрид. наук. Москва. 2023. 545 с.

«Мы должны действовать так, чтобы не допустить черных дыр в нашем законодательстве», – убеждал британский министр Дэвид Дэвис Палату общин в продолжение референдума от 23 июня 2016 г., давшего Соединенному Королевству «ясный, всеобъемлющий и бесспорный» мандат на выход из Евросоюза. Министр призвал рассмотреть изменения в законах, чтобы отразить исход переговоров с Евросоюзом и выход из него «с учетом международных договоров и соглашений с другими странами и с ЕС». «Правительство построит глобальную Британию, которая будет торговать по всему миру, заключать новые союзы с другими странами и обеспечивать процветание своему народу», – заключил министр¹⁹.

Приведенные цитаты хорошо проявляют вызовы, с которыми страна может сталкиваться при выходе из региональных интеграционных процессов как в плане его международно-правового оформления, так и в плане адаптации своего внутреннего права для новой жизни вне интеграционного блока. Ниже будут поочередно рассмотрены оба указанных аспекта.

4. Выход Великобритании из ЕС: международно-правовой аспект

Поскольку национальный референдум по Брекситу не имел прямой юридической силы, правительству потребовалось дополнительное вмешательство парламента для того, чтобы задействовать ст. 50 Договора о Европейском Союзе [Богдановская 2021:242-243]. Точку во внутреннем конституционном споре поставил

Верховный суд, постановив большинством в восемь голосов против трех, что парламентское одобрение инициирования выхода страны из ЕС продиктовано британской конституционной процедурой²⁰. После принятия соответствующего акта Парламента (EU Notification of Withdrawal Act)²¹ Правительство направило 29 марта 2017 г. Председателю Европейского совета уведомление о выходе из ЕС, тем самым запустив обратный отсчет двухлетнего срока, предусмотренного ст. 50 Договора. Однако, будучи не в состоянии прийти к соглашению о выходе к 29 марта 2019 г., ЕС трижды продлевал срок по просьбе Соединенного Королевства, в последний раз до 31 января 2020 г.

Несмотря на интенсивные переговоры и продления срока, сторонам не удалось согласовать весь комплекс вопросов для упорядоченного выхода до 31 января 2020 г. В этом не было большой неожиданности, поскольку еще до начала процедуры высказывались предположения, что понадобится не одно, а два соглашения, которые будут согласовываться параллельно, но заключаться по очереди²². 24 января 2020 г. стороны заключили Соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС (UK-EU Withdrawal Agreement)²³, в котором разрешались наиболее срочные задачи для формального выхода Соединенного Королевства из Евросоюза к 31 января 2020 г. В результате страна вышла из всех органов Евросоюза в указанную дату, но Соглашение о выходе предусматривало переходный период до 31 декабря 2020 г., в течение которого право ЕС еще продолжало действовать в отношении Соединенного Королевства, включая юрисдикцию

¹⁹ UK Parliament. Hansard. Commons Chamber. Next Steps in Leaving the European Union. Volume 615: debated on Monday 10 October 2016. <https://hansard.parliament.uk/commons/2016-10-10/debates/6CE5F6BB-3AA4-4332-BF7A-577DB35BDB77/NextStepsInLeavingTheEuropeanUnion> (accessed date: 10.11.2024).

²⁰ *R (Miller) v. Secretary of State for Exiting the European Union*. Judgment of 21 January 2017. 2017. § 82. Большинство Верховного суда не согласилось с тем, что «серьезные изменения в конституционном порядке Великобритании могут быть достигнуты только действиями министров; оно должно быть осуществлено единственным способом, который признает конституция Великобритании, а именно путем акта парламента». Решение Верховного Суда вызвало немало дискуссий в доктрине, в частности, по вопросу неопределенности условий, при которых денонсация договора требует одобрения парламентом (создание договором прав и обязательств во внутреннем праве, конституционная важность закона ратификации и инкорпорации договора, иные обстоятельства) [Young 2018:434].

²¹ European Union (Notification of Withdrawal) Act. 16 March 2017. [legislation.gov.uk URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/9/introduction/enacted](https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/9/introduction/enacted) (accessed date: 10.11.2024).

²² The process of withdrawing from the European Union. Op. cit. § 31.

²³ Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community. Official Journal of the European Union. 2019/C 384 I/02. Vol. 62. 12 November 2019. P. 1. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:384I:FULL> (accessed date: 10.11.2024).

Суда ЕС. Соглашение уделяло особое внимание сохранению правовой определенности и прав миллионов граждан стран Евросоюза, осевших в Соединенном Королевстве, и британцев, живущих в странах ЕС. Отдельный протокол был посвящен ирландской проблеме в силу того, что две тесно связанные культурными и экономическими узами части острова оказывались теперь по разные стороны внешней границы ЕС²⁴. Статья 184 предусматривала, что стороны приложат все усилия для того, чтобы добросовестно и при полном уважении своих правопорядков предпринять необходимые шаги для скорейшего заключения соглашений, регулирующих их будущие отношения на основе Политической декларации от 17 октября 2019 г.²⁵

Учитывая, что времени до окончания переходного периода оставалось немного, переговоры по второму соглашению о будущих отношениях Великобритании с ЕС возобновились без малейшего промедления. Эта последняя фаза стала одновременно самой сложной, но самой продуктивной в долгом переговорном процессе. Всего же за четыре года произошло столько внутренних и международных событий, что только для их перечисления потребовалась толстая брошюра [Walker 2021:6-85]. Временами многолетний процесс приобретал оттенок остросюжетного детектива с властной игрой политических элит, поднятием ставок, громкими заявлениями, отставками правительств,

изнурительными марафонами переговоров, и все это на фоне хронического цейтнота и высоких рисков провала. Особую интригу истории добавляла долгая игра на альтернативах «мягкого» выхода с заключением договора и «жесткого» выхода без заключения договора (так называемый *no-deal exit*), причем шансы на тот или другой исход были вполне сопоставимы. Только формальный процесс выхода после запуска процедуры в марте 2017 г. занял четыре года вместо положенных двух, и столько же времени заняли предшествующие события начиная с момента, когда идея референдума была официально озвучена Правительством в январе 2013 г.²⁶

Тем большим облегчением для всех сторон стало заключение под занавес уходящего 2020 г. Соглашения ЕС и Великобритании о торговле и сотрудничестве (EU-UK Trade and Cooperation Agreement), содержавшего в основном тексте почти тысячу страниц плюс еще полторы тысячи страниц различных приложений²⁷. Чтобы успеть к сроку, Соглашение было подписано ЕС и Великобританией в разгар рождественских каникул, 30 декабря 2020 г., что уже само по себе подчеркивает экстраординарность стоявших задач. 31 декабря 2020 г. в 23 ч. по местному времени для Великобритании завершился переходный период ее выхода из Евросоюза: в этот момент страна окончательно покинула общий рынок и таможенный союз, и в ее отношении формально прекратило действовать право ЕС. Соглашение

²⁴ Согласно протоколу, Северная Ирландия является частью таможенной территории Соединенного Королевства (ст. 4), при этом между ней и Ирландией не устанавливается таможенная граница как на всех других внешних границах Евросоюза (ст. 5–10). По истечении начального четырехлетнего срока действия протокола он может быть продлен еще на четыре года или на восемь лет после голосования в Ассамблее Северной Ирландии. Правительство обязано запросить такое голосование, а срок продления зависит от присутствия в большинстве достаточного количества голосов как от «юнионистов», так и от «националистов» (ст. 18). Комментаторы назвали применяемый к Северной Ирландии таможенный режим «прагматическим» и «гибридным» и указали на массу правовых коллизий, которые могут возникать вследствие конкурентного действия правил Соединенного Королевства и Евросоюза. [The UK-EU Withdrawal Agreement... 2021:418-423].

²⁵ Political declaration setting out the framework for the future relationship between the European Union and the United Kingdom. – 2019/C 384 I/02. Vol. 62. 12 November 2019. P. 178. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:384I:FULL> (accessed date: 10.11.2024). Это была уже вторая политическая декларация сторон в процессе переговоров. Первый текст с идентичным заголовком был принят 25 ноября 2018 г. См.: URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759021/25_November_Political_Declaration_setting_out_the_framework_for_the_future_relationship_between_the_European_Union_and_the_United_Kingdom_.pdf (accessed date: 10.11.2024).

²⁶ Ibid. P. 4-5.

²⁷ Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part. – *Official Journal of the European Union*. L 149. Vol. 64. 30 April 2021. P. 10. URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en (accessed date: 10.11.2024). Параллельно с данным соглашением были заключены еще два соглашения о безопасных процедурах обмена и защиты секретной информации (Ibid. P. 2540) и о безопасном и мирном использовании атомной энергии (Official Journal of the European Union. L 150. Vol. 64. 30 April 2021. P. 1).

начало применяться на временной основе с 1 января 2021 г., а 1 мая того же года вступило в силу уже окончательно после его одобрения Европарламентом, в то время как Парламент Великобритании одобрил его уже 30 декабря 2020 г.

По существу, Соглашение устанавливает, во-первых, зону свободной торговли товарами и услугами без тарифов и квот на основе нового для ЕС принципа «равных условий игры» (*level playing field*). Во-вторых, устанавливается экономическое и социальное партнерство в таких областях, как авиационный и автомобильный транспорт, энергетика, рыболовство, сотрудничество в области исследований и инноваций. В-третьих, текст регулирует сотрудничество в правоохранной сфере и в вопросах безопасности, включая борьбу с терроризмом и преступностью и взаимную правовую помощь в уголовных делах. Эта часть сделки фундаментально завязана на соблюдение основных прав человека и на защиту данных. И наконец, в-четвертых, предусмотрены механизмы реализации самого соглашения, включая политический диалог и консультации, разрешение споров, исполнение во внутреннем правопорядке и средства правовой защиты или санкции, в том числе односторонние, когда это окажется необходимым.

Главными достижениями Соглашения со стороны Евросоюза считались сохранение внутриирландского мира и стабильности, защита граждан и единого рынка и построение нового партнерства с Соединенным Королевством. Среди неудач отмечались отказ британского правительства от соглашения по внешней политике, обороне и развитию, его неготовность к более широкой свободе передвижения граждан через границы и неучастие в программе обмена студентами «Эрасмус»²⁸. В политическом плане расхождения в подходах с двух сторон вполне объяснимы. В областях, где Великобритания традиционно

была «экспортером норм», например, в области борьбы с терроризмом, полицейского взаимодействия или кибербезопасности, она продемонстрировала большую близость к ЕС. Напротив, в сфере иммиграции, контроля границ и политики убежища углубляется размежевание из-за фундаментальных различий в подходах, которые и раньше отталкивали Великобританию от присоединения к соответствующим форматам в рамках ЕС [Wolf, Piquet, Carrapico 2022:606]. Твердая позиция Британии в этом вопросе всецело сохранится и в будущем, несмотря на стремление нового лейбористского правительства 2024 г. достичь так называемой перезагрузки отношений с ЕС (*EU reset*). Торг лейбористов с целью получения больших экономических преференций от Евросоюза натолкнулся на их полное нежелание идти навстречу Брюсселю по предлагаемой тем программе мобильности молодежи (*youth mobility scheme*)²⁹.

Нельзя было не отметить и некоторый диссонанс в политическом дискурсе. Согласно давно утвержденной официальной позиции ЕС по поводу выхода Соединенного Королевства, «Евросоюз сожалеет об этом решении, но уважает его»³⁰. В момент окончательного расставания в конце 2020 г. звучали разные ноты. С одной стороны, руководство ЕС не стеснялось пафосных эпитетов, говоря о Соединенном Королевстве, как о «заслуживающим доверия партнере», «давнем друге», с которым ЕС продолжит «стоять плечом к плечу», а британское правительство вторило ему, что останется «другом и союзником», «привязанным к Европе культурно, эмоционально, исторически, стратегически и геологически». С другой стороны, последнее не сдерживало подлинной радости от «возвращения контроля над своей судьбой», «подлинной независимости» и, в частности, «полного контроля над прибрежными водами»,³¹ а ЕС иронизировал о «сладкой

²⁸ Remarks by Chief Negotiator Michel Barnier at the press conference on the outcome of the EU-UK negotiations. European Commission. 24 December 2020. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_2533 (accessed date: 10.11.2024).

²⁹ Keir Starmer rules out post-Brexit youth mobility scheme with EU amid ongoing 'reset' with Brussels. The Independent. 24 October 2024. URL: <https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/starmer-brexit-eu-brussels-b2635110.html> (accessed date: 10.11.2024).

³⁰ Questions and Answers on the United Kingdom's withdrawal from the European Union on 31 January 2020. – *European Commission*. 24 January 2020. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_104 (accessed date: 10.11.2024).

³¹ Prime Minister's statement on EU negotiations: 24 December 2020. URL: <https://www.gov.uk/government/speeches/prime-ministers-statement-on-eu-negotiations-24-december-2020> (accessed date: 10.11.2024).

горечи расставания», неизбежно констатируя, что «соглашение не остановит разрыв»³².

Без претензий на исчерпывающий анализ уроки Брексита в международно-правовом измерении могут быть подытожены следующим образом.

Во-первых, как исследователи, так и практики склоняются к тому, что в соответствии с международным правом процедура, предусмотренная в ст. 50 Договора о ЕС, являлась единственно возможным правовым основанием выхода Соединенного Королевства из Евросоюза³³. Этот подход вполне соответствует Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. и общепринятому принципу права *lex specialis derogat lex generalis*.

Во-вторых, предусмотренная ст. 50 процедура склоняет выходящее из ЕС государство к упорядоченному и согласованному переходу на альтернативный режим международно-правового регулирования отношений, но не препятствует жесткому варианту денонсации Договора без всякого соглашения по условиям выхода и альтернативным моделям регулирования дальнейших отношений (так называемый выход без сделки, *no-deal exit*). Выход Соединенного Королевства из ЕС получился хотя и долгим, но «мягким», к удовлетворению обеих сторон, поскольку включал не только соглашение о выходе, предусмотренное ст. 50, но и далекоидущее соглашение о будущих отношениях. Однако и «жесткий» выход без соглашения, который тоже не исключался обеими сторонами, не противоречил бы ни международному праву, ни праву ЕС [Barata 2020:167; Dougan 2021:46-47]. Интересен и третий возможный вариант, допущенный Судом ЕС в деле *Wightman*³⁴, который предполагал «недвусмысленный и безусловный» отзыв уведомления о денонсации с последующим сохранением членства

(*revoke and remain*), хотя исследователи и разошлись во мнениях по вопросу о практических и юридических возможностях его реализации [Dougan 2021:45-46]. Таким образом, любое из оставшихся 27 государств – членов ЕС остается вправе денонсировать Договор о ЕС с соблюдением сроков и без дополнительных условий. В этом вопросе право ЕС не ограничивает суверенного права государства на денонсацию договора, что вполне созвучно общему международному праву. Не являясь условием денонсации, заключение соглашений о выходе и о торговле и сотрудничестве стало в случае с Брекситом существенным «бонусом», обусловленным благоприятной политической ситуацией на данном историческом этапе. Этот момент необходимо учитывать при оценке возможных альтернативных правовых форм выхода других государств из ЕС.

В-третьих, важнейшим результатом упорядоченного выхода стало сохранение зоны свободной торговли на новых конкурентных условиях и приобретенных прав миллионов британских граждан и граждан стран ЕС, осевших на момент выхода в «чужой» юрисдикции. Хотя новый режим отношений далек от былой интеграции, сторонам пока удалось сохранить значительно более высокий уровень отношений и взаимодействия, чем с любой третьей для ЕС страной. Последствия «жесткого» выхода оказались бы куда более brutальными, включая как введение тарифов и квот в торговле, так и серьезный удар по приобретенным правам. Нарушение принципа приобретенных прав (как, например, приобретенное право на постоянное проживание в той или иной стране [Waibel 2018:442-444]) вызвало бы, кроме всего прочего, серьезные вопросы на основании обычного международного права, которое применимо к любому государству вне зависимости от права ЕС³⁵.

³² Remarks by President Ursula von der Leyen at the press conference on the outcome of the EU-UK negotiations. – *European Commission*. 24 December 2020. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_2534 (accessed date: 10.11.2024).

³³ The process of withdrawing from the European Union. Op. cit. § 9.

³⁴ *Wightman A., Greer R., Smith A., Martin D., Stihler Ca., Maugham J., Cherry J. v. Secretary of State for Exiting the European Union*. Case C-621/18. Judgment, Preliminary Ruling Request. – *Court of Justice of the European Union (Full Court)*. 10 December 2018.

³⁵ «Уважение приобретенных прав... является правовой доктриной, которую можно считать уже в значительной степени достигшей признания как общий принцип права». [McNair 1957:16-17]. Еще до появления ст. 70 Венской конвенции о праве договоров 1969 г. Макнейр объяснял доктрину соблюдения приобретенных прав при денонсации договора следующим образом: «Поскольку положения договора уже были выполнены и возымели действие до его прекращения, они выходят за сферу, охватываемую прекращением договора. Что-то уже свершилось; например, уступлена территория, переданы лица или движимое имущество, и во многих случаях созданы новые права и статусы, которые, хотя и обязаны своим возникновением договору, приобрели независимое от него существование; прекращение договора не может их затрагивать». [McNair 1961:531].

В-четвертых, Соглашением о торговле и сотрудничестве формально фиксируется «постоянная приверженность Соединенного Королевства соблюдению Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод» (далее – ЕКПЧ), в то время как Евросоюз и его государства-члены остаются связанными Хартией основных прав ЕС, которая утверждает, в числе прочих, идентичные или сопоставимые права и свободы. Данный принцип, зафиксированный уже в политических декларациях 2018 и 2019 гг. (п. 7 в обоих текстах), был далее подтвержден в ст. 524 Соглашения, которая ставит все сотрудничество в правоохранной сфере и взаимопомощь по уголовным делам в зависимости от соблюдения ЕКПЧ (часть III Соглашения). Более того, ст. 692 предусматривает прекращение действия данной части Соглашения в случае денонсации ЕКПЧ Соединенным Королевством или государством – членом ЕС. Из этого можно сделать вывод, что ЕКПЧ рассматривалась сторонами как часть правового фундамента для построения дальнейших отношений с вышедшим из блока государством и прекращения действия в его отношении Хартии основных прав. Учитывая, что Конвенция уже использовалась в подобном качестве в Белфастском соглашении от 1998 г. («Соглашение Страстной пятницы») с целью урегулирования конституционных аспектов североирландского конфликта (см. ч. 1, п. 5 (b) и далее)³⁶, ее общее политико-правовое значение в рамках Брекзита является тем более весомым. Таким образом, если Великобритания все же перейдет от регулярных угроз денонсации ЕКПЧ к делу,³⁷ что никак не исключено, это неминуемо отразится на большом комплексе правовых и политических вопросов как во внутренней повестке, так и в их отношениях с Евросоюзом.

В-пятых, основой для альтернативного регулирования в некоторых важнейших областях отношений стали и другие конвенции Совета Европы, а именно Европейская конвенция о выдаче 1957 г., Европейская конвенция о взаимной помощи по уголовным делам 1959 г. и два

протокола к ней 1979 и 2001 гг., а также Европейская конвенция о пресечении терроризма 1977 г. Соединенное Королевство и раньше участвовало в этих конвенциях, но по многим затронутым в них вопросам в рамках ЕС могли действовать специальные нормы. После прекращения действия права ЕС в отношении Соединенного Королевства 1 января 2021 г. совершен переход на базовый правовой режим конвенций Совета Европы, который действовал до создания особых правил внутри Евросоюза. Идея перехода со специального на базовый режим регулирования, основанный на региональных конвенциях, является прагматичным решением во избежание правового вакуума и сохранения регионального сотрудничества по важнейшим правоохранным вопросам.

И, наконец, последнее заключение касается возможности денонсации самих соглашений, заключенных в рамках Брекзита. Если Соглашение о партнерстве и сотрудничестве предполагает одностороннюю денонсацию с прекращением обязательств спустя 12 месяцев (ст. 779), то с Соглашением о выходе все гораздо сложнее, поскольку оно не содержит положения о денонсации. Соответственно, к одностороннему выходу из него должен применяться общий международно-правовой режим денонсации договоров. Между тем, в отличие от Соединенного Королевства, Евросоюз не является стороной ни Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г., ни Венской конвенции о праве договоров между государствами и международными организациями или между международными организациями 1986 г. Кроме того, последняя и вовсе пока не вступила в силу. Таким образом, ссылка на обе конвенции может быть применима для денонсации соглашения о выходе лишь постольку, поскольку они кодифицируют обычное международное право. Самый острый момент в Соглашении о выходе, который обсуждался как основание для его возможной денонсации, касается особого режима, применяемого в отношении Северной Ирландии и рассматриваемого

³⁶ The Northern Ireland Peace Agreement. The Agreement reached in the multi-party negotiations. 10 April 1998. https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IE%20GB_980410_Northern%20Ireland%20Agreement.pdf (accessed date: 10.11.2024).

³⁷ Сунак заявил о возможном выходе Британии из ЕСПЧ – *Известия*. 6 августа 2022. URL: <https://iz.ru/1375730/2022-08-06/sunak-zaiavil-o-vozmozhnom-vykhode-britanii-iz-espch> (дата обращения: 10.11.2024); UK will end up like Russia if it ignores ECHR obligations. – *The Guardian*. 16 May 2023. URL: <https://www.theguardian.com/politics/live/2023/may/16/michael-gove-labour-voting-eu-national-conservatism-conference-rishi-sunak-conservatives-uk-politics-latest?page=with:block-6463ae1c8f08053fbe09279e#block-6463ae1c8f08053fbe09279e> (accessed date: 10.11.2024).

как временная мера (ст. 1 п. 4 Протокола). Обсуждение этого вопроса в доктрине и среди практиков было отмечено большим разбросом позиций относительно принципиальной допустимости денонсации Соглашения о выходе и ее возможными основаниями³⁸. Таким образом, вопрос о денонсации части достигнутых в рамках Брекзита договоренностей остается серьезной международно-правовой интригой на среднесрочную перспективу, а некоторые из договоренностей вообще представляются скорее отложенной партией, нежели устойчивым разрешением очевидных противоречий между бывшими партнерами по интеграционному блоку. Показательно, что критика соблюдения Великобританией своих обязательств по соглашениям с ЕС не заставила себя ждать [Grehan 2022:24-29]. Вероятный же подрыв части достигнутых соглашений в случае выхода Великобритании из ЕКПЧ и Совета Европы может и вовсе разбалансировать и без того хрупкую ситуацию [Cowell 2021:1].

5. Урегулирование последствий выхода из ЕС в британском праве

Закон о выходе из Европейского союза (EU Withdrawal Act), также известный как «Закон о великой отмене» (Great Repeal Act), вступивший в силу с высокого королевского согласия 26 июня 2018 г.³⁹, стал самым масштабным конституционным законом в стране со времен закона о присоединении к ЕС 1972 г. Характерно, что закон был приспособлен как к «мягкому», так и к «жесткому» выходу, поскольку был принят за полтора года до вступления в силу Соглашения о выходе Соединенного Королевства из ЕС и за два с половиной года до его окончательного выхода из интеграционного блока. Законопроект соответствовал гигантским масштабам задачи, сочетая конституционные изменения с мерами по обеспечению правовой преемственности.

Закон о выходе отменил Закон о присоединении 1972 г. с рядом исключений, перечисленных в ст. 1, лишил компетенции все институты

Евросоюза в отношении Соединенного Королевства и предусмотрел, что с момента выхода законодательство ЕС больше не имело верховенства над внутренним законодательством. В плане преемственности Закон преобразовал законы ЕС прямого действия в национальные законы (ст. 2), без чего в законодательной базе образовались бы огромные и недопустимые пробелы.

Закон создал новую категорию внутреннего законодательства Соединенного Королевства, так называемое сохраненное право ЕС (retained EU law). Сохраненное право ЕС состоит из всего права ЕС прямого действия (direct EU legislation), преобразованного в национальное, а также из основанных на праве ЕС внутренних законов (EU-derived domestic legislation), которые действовали до момента выхода страны из ЕС. При этом определенные блоки законодательства ЕС, как, например, Хартия основных прав, недвусмысленно и безотлагательно исключены из внутреннего права и не могут в нем сохраняться (ст. 5).

Сохраненное законодательство ЕС может впоследствии быть изменено, заменено или отменено Парламентом Великобритании, который продолжит принимать законы для дальнейшей реализации Соглашения о выходе из ЕС. Более того, Закон наделяет Правительство весьма широкими делегированными полномочиями быстрого регулирования различных аспектов Соглашения о выходе путем принятия актов вторичного законодательства, изменений сохраненного законодательства ЕС и при определенных условиях даже изменений первичного законодательства. Исполнительная власть может принимать нормативные акты, которые «считает целесообразными», чтобы предотвратить, исправить или смягчить любые проблемы функционирования «сохраненного права ЕС» или исправить в нем «любые другие недостатки (ст. 8).

В итоге Закон о выходе из ЕС можно квалифицировать как механизм для преобразования огромного массива законов, унаследованных от Евросоюза в новый независимый от последнего свод национальных законов. Закон

³⁸ Некоторые авторы допускали, что действия ЕС по неограниченному продлению согласованного временного особого режима для Северной Ирландии (так называемый *backstop for Northern Ireland*) даст Соединенному Королевству право денонсировать договор в одностороннем порядке либо на основании коренного изменения обстоятельств, либо на основании фундаментального нарушения обязательства добросовестного исполнения договора со стороны ЕС (*mutatis mutandis*, ст. 60 и 62 Венской конвенции). Однако другие авторы категорически отрицали такую возможность с точки зрения международного права [Miller, De Mars 2019:5-24].

³⁹ European Union (Withdrawal) Act. 26 June 2018. URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/16/contents> (accessed date: 10.11.2024).

не предвосхищает результат этой самой масштабной за полвека конституционной реформы в Великобритании, но предоставляет всем властям мощный и разветвленный инструментарий для реализации таких реформ на годы вперед. Объем нормативной деятельности, которая потребуется на этом пути, представляет собой нормотворческую задачу беспрецедентного масштаба. Речь идет о порядка 12 тыс. нормативных актов ЕС, которые потребуют адаптации, чтобы гарантировать их гармоничную интеграцию во внутреннее законодательство [Caird, Miler, Lang 2017:6]. Очевидно, однако, что еще до их адаптации, многие акты ЕС будут применяться на практике по-иному британскими судами, которые неизбежно сталкиваются с массой новых вопросов. Таким образом, на плечи судов ложится большая часть бремени по преодолению последствий демонтажа старого правопорядка ЕС и нахождению новых форм и моделей регулирования правоотношений в новых конституционных параметрах.

Узаконив массивный блок «сохраненного права ЕС» в составе внутреннего права, Закон о выходе из ЕС посвятил целую статью вопросам его толкования (Section 6: Interpretation of retained EU law), статью настолько сложную и подробную, что она уже сама по себе заслуживает особого практического руководства по ее применению (practice directions). В ней проводится четкое различие между, с одной стороны, принципами, заложенными в решениях Суда ЕС, и самими его решениями, которые вынесены после 30 января 2021 г., и, с другой стороны, сохраненным прецедентным правом ЕС, сложившимся до указанной даты. Если новыми решениями и принципами Евросоюза британские суды больше не связаны (п. 1 ст. 6), то сохраненное прецедентное право ЕС, сложившееся до указанной даты, может применяться судами в соответствии с установленными в ст. 6 детальными критериями. Весьма интересным из них является принцип возможного отступления от сохраненного права ЕС, изложенный в п. 5: «Принимая решение об отступлении от какого-либо сохранившегося прецедентного права ЕС, Верховный Суд или Высокий суд справедливости должны применять тот же критерий, который он применили бы при принятии решения о том, стоит ли отступать от своего собственного прецедентного права». Кроме того, уточняется, что суды «могут учитывать любые действия, совершенные после

30 января 2021 г. Судом или другим органом ЕС, если это имеет отношение к какому-либо рассматриваемому ими вопросу» (п. 2).

Таким образом, была законодательно закреплена роль двух высших судов (Верховного суда для Англии, Уэльса и Северной Ирландии и Высокого суда справедливости для Шотландии) в процессе поступательной коррекции или демонтажа правопорядка ЕС. Правительство и парламент направляют процесс нормативно, а высшие суды параллельно участвуют в нем через судебную практику, не дожидаясь полной нормативной перестройки. Такой порядок представлялся с самого начала вполне логичным, а вскоре после выхода потенциал судебного участия в процессе был усилен: круг судов, которые уполномочивались законом отступать от прецедентного права Суда ЕС, был расширен до апелляционных судов. Действуя в рамках делегированных полномочий, Правительство сочло, что «критерии отступления» от существующих судебных прецедентов достаточно ясны и укоренены в судебной практике, чтобы применять их без дополнительного руководства.

Между тем пути осуществления судами этих полномочий очень быстро вызвали вопросы. Дело в том, что «критерии отступления» от судебных прецедентов, как они сложились в британской судебной практике с 60-х годов XX в., весьма и весьма ограниченные. Отход от прецедента не может быть обоснован только лишь тем, что предыдущее решение было неверным. Пересмотр имеющей прецедентное значение правовой позиции допустим только тогда, когда она привела к большой неопределенности или не соответствует более широкому пониманию справедливости, современным социальным условиям или современным представлениям о публичной политике. При этом совокупность прецедентного права Суда ЕС, которое подвергается критике в Великобритании, гораздо больше, чем то, что можно исправить в судебном порядке с применением столь жестких критериев [Rose 2022:2, 6].

Так, бывший председатель Верховного суда, судья Дэвид Нойбергер, сомневается, насколько оправдано применение ограничительных критериев отхода от прецедента, когда исчезают и теряют значение для страны сами принципы единого рынка, на которых зиждется основная масса прецедентов ЕС. Судья Верховного Суда Вивьен Роз, в свою очередь, задается вопросом о том, не являются ли доступные законодательные пути

изменения «сохраненного права ЕС» наилучшим путем также для исправления «плохого» прецедентного права, дабы снять эту ответственность с судов. В качестве примера она приводит недавнее судебное решение, которым британский суд не удовлетворил требование прекратить применение права ЕС в области лицензий на музыкальные произведения [Rose 2022:7-8]. В решении по делу *Warner v TuneIn* апелляционный суд признал, что существующая судебная практика не лишена трудностей и подвергается критике, но это не означает наличие готового лучшего решения. Предложенная одной из сторон отмена действующего регулирования и возврат к его переписыванию создало бы, с точки зрения судей, значительную правовую неопределенность⁴⁰.

Из вышесказанного можно сделать двоякий вывод по поводу жизнеспособности исходящего от Евросоюза правового регулирования и толкования права после выхода из него Соединенного Королевства. Во-первых, законодательство о выходе не только позволяет, но имплицитно даже поощряет использование британскими судами старых моделей толкования во избежание лакун в правовом регулировании и для обеспечения правовой определенности. Отходить от укоренившегося толкования права, исходящего от ЕС, позволено только высшим и апелляционным судам на ограниченных основаниях, продиктованных общественными и государственными императивами и соображениями справедливости. Во-вторых, суды будут тем легче отходить на практике от созданных в рамках ЕС правовых подходов, чем больше будут уверены в существовании готовых и действенных альтернатив. Очевидно, что процесс будет происходить более поступательно и медленно, чем это многим виделось изначально.

6. Региональные дезинтеграционные процессы в сравнительной перспективе

По воспоминаниям главного переговорщика Евросоюза по выходу Соединенного Королевства из ЕС (нынешнего премьер-министра Франции) Мишеля Барнье, первая встреча в верхах до начала переговоров показала, что «Правительство Соединенного Королевства недооценивало

как последствия своего решения выйти из ЕС, так и юридическую сложность выхода» [The UK-EU Withdrawal Agreement... 2021:v]. Построенная договорно-правовая и законодательная база, интенсивная работа всех ветвей власти, включая суды, а также растущий консенсус политических элит по поводу взятого курса смягчили трудности выхода, усугубленные изначально недооценкой масштабов необходимых преобразований британским руководством.

Выработанное таким образом системное регулирование последствий выхода из ЕС – благо обе стороны могли себе позволить потратить на это годы – представляет собой богатейший правовой материал, достойный детального изучения. Опыт Брекзита представляет своего рода энциклопедию решений разнообразных правовых задач, которые встают при выходе государств из интеграционных процессов. Какие-то из выработанных решений слишком специфичны для выхода государства из ЕС, другие же не лишены интереса в сравнительной перспективе и для иных контекстов. Учитывая описанные в начале статьи геополитические изменения в общеевропейском политико-правовом ландшафте, нельзя не заметить и некоторых параллелей между выходом Великобритании из ЕС и выходом двумя годами позже России из Совета Европы (хотя последний, несомненно, заслуживает отдельного детального исследования за рамками настоящей статьи).

С одной стороны, два явления существенно разнятся между собой по их политической и экономической подоплеке, по целеполаганию, по масштабу задействованных политических и правовых механизмов, а также по глубине последствий. Брекзит и Рукзит, как последний окрестили в некоторых кругах по аналогии с первым [Polianskii 2022:1], выглядят как две разнополярные модели ухода из региональной организации. «Мягкое» и максимально упорядоченное размежевание, которое можно сравнить с «цивилизованным разводом», в первом случае, и максимально «жесткий» выход – во втором, поскольку он вылился в скоростное и лишенное элементарных дипломатических приличий решение большинством голосов организации в нарушение предписанной Уставом процедуры

⁴⁰ *TunelIn Inc v Warner Music UK Ltd.* 2021. EWCA Civ 441. 26 March 2021. § 73 et seq.

немедленно прекратить членство России через несколько часов после ее уведомления о выходе⁴¹.

С другой стороны, оба указанных явления ставят и ряд сходных юридических вопросов, относительно судьбы международно-правового и внутренне-правового наследия, оставшегося от долгосрочного участия в региональной организации, необходимости коррекции внутреннего правопорядка вследствие денонсации ее уставных договоров, дальнейшее действие во внутреннем праве правовых позиций региональных судов, а также дальнейшее действие созданных организацией многосторонних конвенций. Интересно, что конвенции Совета Европы, которые продолжили играть роль базового правового режима в отношениях Великобритании с бывшими партнерами по ЕС, остались в силе и для России после ее выхода из Совета Европы⁴² и продолжают применяться по мере возможностей для регулирования таких вопросов, как экстрадиция (Европейская конвенция о выдаче 1957 г.) и взаимная помощь по уголовным делам (Конвенция о взаимной помощи по уголовным делам 1959 г. и два протокола к ней 1979 и 2001 гг.). Исключением из этого правила стала Европейская конвенция о пресечении терроризма 1977 г., которой Соглашением о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией отводится важная роль, но для России она, как и ЕКПЧ, свое действие прекратила вследствие их денонсации вместе с Уставом в пакете из 21 договора Совета Европы⁴³, неразрывно связанных с членством в организации.

В политическом плане оба события объединяет и то, что они являются, каждый по-своему, мощнейшими ударами не только по уходящему в прошлое общеевропейскому проекту, но и по будущему «малого» европейского

интеграционного проекта в рамках нынешнего Евросоюза. Объединенные между собой не только общей изначальной стратегической целью достижения большего единства в Европе, но и долгой историей тесного взаимодействия, Совет Европы и ЕС неразрывно переживают текущий кризис европейской интеграции и солидарно несут связанные с ним риски. Вследствие этого, Брекзит и Рукзит сопоставимы по их экзистенциальному значению для уходящей в прошлое европейской политической и правовой архитектуры.

Таким образом, изучение уроков выхода России из Совета Европы, как и уроков выхода Соединенного Королевства из ЕС, также заслуживает внимания в заданной исследовательской перспективе. Скорость и легкомыслие с которыми Совет Европы, не гнушаясь неприкрытыми нарушениями права международных договоров, рвет многочисленные нити, из которых за прошедшую четверть века была сплетена многослойная ткань правового и гуманитарного пространства в Большой Европе [Лобов 2021:3-12], демонстрируют утрату организацией своего подлинного общеевропейского предназначения, определившего ее «второе рождение» и расширение в 90-х годах XX в. Перерождение страсбургской площадки из генератора и хранителя европейского «золотого стандарта» в области права в тотально зависимый от ЕС инструмент идеологической и юридической войны в Европе вряд ли гарантирует ей надежное будущее в меняющемся мире⁴⁴. Фрагментация единого европейского политического и правового поля представляется в этих условиях необратимой. Весьма показательна в этом плане печальная судьба Европейской конвенции по правам человека – фундаментального европейского договора, который положил начало послевоенному объединению континента

⁴¹ Своей скоротечностью и противоправностью событие напомнило решение Совета Лиги Наций от 14 декабря 1939 года, которым СССР вопреки действовавшей в Совете Лиги процедуре был выведен из ее состава в ответ на начало двумя неделями ранее Советско-финской войны. См. текст официального решения: League of Nations. Official Journal. Part II. November-December 1939. p. 506, и реакцию на него СССР: Сообщение ТАСС по поводу исключения СССР из Лиги Наций. – *Правда*. 16 декабря 1939 г.

⁴² На 15 ноября 2024 г. Россия остается участницей 42 конвенций Совета Европы, которые открыты для не являющихся членами организации государств.

⁴³ Федеральный закон от 28 февраля 2023 г. № 43-ФЗ «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы».

⁴⁴ «Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. <...> Ход событий становится необратимым». Заявление МИД России о ситуации в Совете Европы. 10 марта 2022 г. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1803555/ (дата обращения: 10.11.2024).

на основе общих ценностей. Горькое понимание того, что искаженная до неузнаваемости волюнтаристским толкованием Конвенция создавалась «для другой эпохи», подрывает доверие к конституционной матрице, без которой трудно представить подлинное единство континента⁴⁵.

Ставший неизбежным в силу непреодолимых геополитических причин выход России из бывшей общеевропейской организации не отрицает, однако, пользы от приобретенного в ее рамках за четверть века обширного опыта⁴⁶. Этот опыт не должен быть забыт: его следует анализировать и рационально использовать [Зорькин 2022:3]. Даже полное исчезновение европейских региональных организаций не сотрет их правовое наследие в той мере, в какой оно востребовано и продолжает жить в виде правовых институтов, концепций, алгоритмов, воспринятых национальными правовыми системами, «одомашненных» ими настолько, что они стали частью национального права. Во всяком случае, преемственность российской судебной практики и сохранение укоренившихся в ней за четверть

века правовых позиций с выходом из Совета Европы под сомнение не ставилась⁴⁷. Напротив, рациональный опыт уходящих в прошлое международных судов имеет больше шансов сохраниться на более защищенных от текущей международной турбулентности платформах национальных юрисдикций.

Более того, сохранение позитивного наследия региональных организаций имеет и более широкий смысл, так как нельзя исключать, что к нему придется обращаться на более созидательных этапах европейской и мировой истории. Этот вывод не ограничивается европейским контекстом, но может быть экстраполирован и на возможные дезинтеграционные процессы в других частях света. Текущая перестройка международных отношений, катализатором которой стали геополитические события последних лет, требует адаптации международных структур к новым реалиям, что неминуемо отразится на мутациях региональных организаций, выстроенных в предшествующей международной парадигме.

Список литературы

1. Богдановская И.Ю. 2021. Конституционно-правовые последствия брекзита: суверенитет парламента или народа? – *Право. Журнал Высшей школы экономики*. № 3. С. 231–253.
2. Галушко Д.В. 2020. Категории «интеграция» и «дезинтеграция» в международном праве: современные концептуальные подходы. – *Российский журнал правовых исследований*. Т. 7. № 2. С. 71–77.
3. Зорькин В.Д. 2022. *Судебная власть перед вызовами времени. Тезисы выступления на X Всероссийском съезде судей*. URL: <https://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=93> (дата обращения: 10.11.2024).

⁴⁵ «Мы выйдем из международных структур типа ЕКПЧ, которые были созданы для другой эпохи и коверкаются юридическим активизмом». Такое заявление нового лидера Консервативной партии Кеми Баденок вполне отражает необратимую потерю доверия к бывшему «конституционному инструменту европейского правопорядка», причем не только в Великобритании (Tory party will die if it doesn't plan to leave ECHR, Jenrick to claim. – *The Telegraph*. 29 September 2024. URL: <https://www.telegraph.co.uk/politics/2024/09/29/tory-party-die-does-not-plan-leave-echr-jenrick/> (accessed date: 10.11.2024)). Из последних ярких примеров, традиционно лояльные к Совету Европы швейцарские власти (парламент и правительство) единодушно отвергли навязанные им постановлением ЕСПЧ надуманные обязательства по климату (Le Conseil fédéral critique l'arrêt de la CEDH condamnant la Suisse pour inaction climatique. – *Radio Television Suisse*. 30 août 2024. URL: <https://www.rts.ch/info/suisse/2024/article/le-conseil-federal-critique-l-arret-de-la-cedh-condamnant-la-suisse-pour-inaction-climatique-28612173.html> (accessed date: 10.11.2024)), а Конституционный суд Польши и вовсе ответил Страсбургу беспрецедентным признанием статьи 6 ЕКПЧ (право на справедливое судебное разбирательство) не соответствующей Конституции (Poland's implementation of the European Convention on Human Rights: Secretary General's Report. – *Council of Europe*. 23 November 2022. URL: https://www.coe.int/ru/web/portal/full-news/-/asset_publisher/y5xQt7QdunzT/content/id/138068297?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_y5xQt7QdunzT_languageId=en_GB#p_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_y5xQt7QdunzT (accessed date: 10.11.2024)).

⁴⁶ Мысль о том, что «Совет Европы – это история и позитивного, и отрицательного опыта», рельефно звучала в дискуссии Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу о денонсации договоров Совета Европы. Стенограмма заседания 16 февраля 2023 г. URL: <http://transcript.duma.gov.ru/node/6024/> (дата обращения: 10.11.2024).

⁴⁷ Глава Верховного суда не увидел последствий выхода России из-под юрисдикции ЕСПЧ. – *Ведомости*. 11 марта 2023 г. URL: <https://www.vedomosti.ru/politics/news/2023/03/11/966076-glava-verhovnogo> (дата обращения: 10.11.2024).

4. *Интеграционные процессы в Европе и Евразии: роль конвенций Совета Европы*. 2017. Москва: Развитие правовых систем. 324 с.
5. Ковлер А.И. 2016. *Европейская интеграция: федералистский проект*. Москва: Статут. 216 с.
6. Лобов М.Б. 2021. Четверть века в общеевропейском правовом поле. – *Журнал конституционного правосудия*. № 3 (81). С. 3-12.
7. Обичкина Е.О. 2020. «Русский вопрос» в европейской политике. – *Международные процессы*. Том 18. № 3 (62). С. 6-22.
8. Энтин М.Л., Биткина Е.С. 2024. Применение механизмов принуждения к соблюдению принципа верховства права в практике Европейского союза. – *Московский журнал международного права*. № 2. С. 65-78.
9. Barata M. 2020. Brexit and the limits of Article 50 Treaty of the European Union. – *Open Political Science*. Vol. 3. P. 165-174.
10. Cowell F. 2021. *The Brexit deal locks the UK into continued Strasbourg Human Rights Court membership*. *The London School of Economics and Political Science*. URL: <https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2021/01/17/the-brexit-deal-locks-the-uk-into-continued-strasbourg-human-rights-court-membership/> (дата обращения: 10.11.2024).
11. Coudenhove-Kalergi R. 2019. *Pan-Europa. Liber Veritate*. 174 p.
12. Caird J.S., Miler V., Lang A. 2017. European Union (Withdrawal) Bill. – *House of Commons Library*. Briefing Paper. Number 8079. 111 p.
13. Dougan M. 2021. *The UK's Withdrawal from the EU. A Legal Analysis*. Oxford University Press. 376 p.
14. Grehan D. 2022. Protocologically correct. – *Law Society Gazette*. Vol. 116. No. 7. P. 24-29. URL: <https://www.nbcnews.com/storyline/brexit-referendum/if-britain-votes-brexit-will-other-countries-follow-n597536> (дата обращения: 10.11.2024).
15. McNair A. 1957. The General Principles of Law Recognized by Civilised Nations. – *British Year Book of International Law*. Vol. 33. P. 1-19.
16. McNair A. 1961. *The Law of Treaties*. Oxford: Clarendon Press. 789 p.
17. Miller V., De Mars S. 2019. Could the Withdrawal Agreement be terminated under international law? – *House of Commons Library*. Briefing Paper No. 8463. 24 p.
18. Monnet J. 1976. *Mémoires*. Paris: Fayard. 642 p.
19. Onfray M. 2020. *Vies parallèles. De Gaullès et Miterrand*. Paris: Robert Laffont. 404 p.
20. *Pensées de Blaise Pascal*. 1823. Tome second. Paris: Froment. 383 p.
21. Polianskii M. 2022. The Perils of Ruxit: Russia's Tension-Ridden Dissociation from the European Security Order. – *PRIF blog* : [сайт]. URL: <https://blog.prif.org/2022/10/21/the-perils-of-ruxit-russias-tension-ridden-dissociation-from-the-european-security-order/> (дата обращения: 10.11.2024).
22. Rose V. 2022. *1966 and All That: Changing Our Minds in a Post-Brexit World*. *United Kingdom Association of European Law*. P. 1-9. URL: <https://www.supremecourt.uk/docs/uka-elady-rose-speech-23-May-2022.pdf> (дата обращения: 10.11.2024).
23. Trosiak C. 2020. Conditions for Initiating the Procedure of Poland's Withdrawal from the European Union. – *Rocznik Integracji Europejskiej*. № 14. P. 215-226.
24. *The UK-EU Withdrawal Agreement. A Commentary*. 2021. Ed. By T. Liefländer, M. Kellerbauer, E. Dumitriu-Segnana. Oxford University Press. 543 p.
25. Waibel M. 2018. Brexit and Acquired Rights. – *American Journal of International Law*. Vol. 111. P. 440-444.
26. Walker N. 2021. Brexit timeline: events leading to the UK's exit from the European Union. – *House of Commons Library*. Briefing Paper No. 7960. 85 p.
27. Wolf S., Piquet A., Carrapico H. 2022. UK's withdrawal from Justice and Home Affairs: a historical institutionalist analysis of policy trajectories. – *Comparative European Politics*. Vol. 20. P. 604-625.
28. Young A.L. 2018. Brexit, Miller and the Regulation of Treaty Withdrawal: One step forward, two steps back? – *American Journal of International Law*. Vol. 111. P. 434-439.

References

1. Barata M. Brexit and the limits of Article 50 Treaty of the European Union. – *Open Political Science*. 2020. Vol. 3. P. 165-174.
2. Bogdanovskaya I.Yu. Konstitutsionno-pravovye posledstviya brekzita: suverenitet parlamenta ili naroda? [Constitutional Law Consequences of Brexit: Sovereignty of Parliament or of People?]. – *Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Law. Higher School of Economics Journal]*. 2021. No. 3. P. 231-253. (In Russ.)
3. Caird J.S., Miler V., Lang A. European Union (Withdrawal) Bill. – *House of Commons Library*. 2017. Briefing Paper. Number 8079. 111 p.
4. Coudenhove-Kalergi R. *Pan-Europa. Liber Veritate*. 2019. 174 p.
5. Cowell F. *The Brexit deal locks the UK into continued Strasbourg Human Rights Court membership*. *The London School of Economics and Political Science*. 2021. URL: <https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2021/01/17/the-brexit-deal-locks-the-uk-into-continued-strasbourg-human-rights-court-membership/> (дата обращения: 10.11.2024).
6. Dougan M. *The UK's Withdrawal from the EU. A Legal Analysis*. Oxford University Press. 2021. 376 p.
7. Entin M.L., Bitkina E.S. Primenenie mekhanizmov prinuzhdeniya k sobludeniyu printsipa verkhovstva prava v praktike Evropejskogo soyuza [Application of Enforcement Mechanisms for Compliance with the Principle of the Rule of Law in European Union Practice]. – *Moskovskiy zhurnal mezhdunarodnogo prava [Moscow Journal of International Law]*. 2024. No. 2. P. 65-78. (In Russ.)
8. Galushko D.V. Kategorii «integratsii» i «dezintegratsii» v mezhdunarodnom prave: sovremennye kontseptual'nye podkhody [Categories of «integration» and «desintegration» in international law: modern conceptual approaches]. *Rossiiskij jurnal pravovykh issledovaniy [Russian journal of legal studies]*. 2020. T. 7. № 2. P. 71-77.
9. Grehan D. Protocologically correct. – *Law Society Gazette*. 2022. Vol. 116. No. 7. P. 24-29. URL: <https://www.nbcnews.com/storyline/brexit-referendum/if-britain-votes-brexit-will-other-countries-follow-n597536> (дата обращения: 10.11.2024).
10. *Integration Processes in Europe and Eurasia: the Role of Conventions of the Council of Europe*. Moscow: Razvitiye pravovoykh system. 2017. 324 p. (In Russ. and Engl.)

11. Kovler A.I. *Evropejskaya integratsiya: federalistskiy projekt [European integration: a federalist project]*. Moscow: Statut. 2016. 216 с.
12. Lobov M.B. Chetvert' veka v obshcheevropejskom pravovom pole [A quarter-century in the common european legal space]. – *Jurnal konstitutsionnogo pravosudiya [Constitutional Law Journal]*. 2021. № 3 (81). P. 3-12. (In Russ.)
13. McNair A. The General Principles of Law Recognized by Civilised Nations. – *British Year Book of International Law*. 1957. Vol. 33. P. 1-19.
14. McNair A. *The Law of Treaties*. Oxford: Clarendon Press. 1961. 789 p.
15. Miller V., De Mars S. Could the Withdrawal Agreement be terminated under international law? – *House of Commons Library*. 2019. Briefing Paper No. 8463. 24 p.
16. Monnet J. *Mémoires*. Paris: Fayard. 1976. 642 p.
17. Obichkina E.O. «Russkij vopros» v evropejskoj politike [«The Russian question» in the european politics]. – *Mezhdunarodnye protsessy [International processes]*. 2020. Т. 18. № 3 (62). P. 6-22. (In Russ.)
18. Onfray M. *Vies parallèles. De Gaulles et Mitterrand*. Paris: Robert Laffont. 2020. 404 p.
19. *Pensées de Blaise Pascal*. Tome second. Paris: Froment. 1823. 383 p.
20. Polianskii M. The Perils of Ruxit: Russia's Tension-Ridden Dissociation from the European Security Order. 2022. – *PRIF blog* : [сайт]. URL: <https://blog.prif.org/2022/10/21/the-perils-of-ruxit-russias-tension-ridden-dissociation-from-the-european-security-order/> (дата обращения: 10.11.2024).
21. Rose V. *1966 and All That: Changing Our Minds in a Post-Brexit World*. United Kingdom Association of European Law. 2022. P. 1-9. URL: <https://www.supremecourt.uk/docs/ukael-lady-rose-speech-23-May-2022.pdf> (дата обращения: 10.11.2024).
22. *The UK-EU Withdrawal Agreement. A Commentary*. Ed. By T. Liefländer, M. Kellerbauer, E. Dumitriu-Segnana. Oxford University Press. 2021. 543 p.
23. Trościak C. Conditions for Initiating the Procedure of Poland's Withdrawal from the European Union. – *Rocznik Integracji Europejskiej*. 2020. № 14. P. 215-226.
24. Waibel M. Brexit and Acquired Rights. – *American Journal of International Law*. 2018. Vol. 111. P. 440-444.
25. Walker N. Brexit timeline: events leading to the UK's exit from the European Union. – *House of Commons Library*. 2021. Briefing Paper No. 7960. 85 p.
26. Wolf S., Piquet A., Carrapico H. UK's withdrawal from Justice and Home Affairs: a historical institutionalist analysis of policy trajectories. – *Comparative European Politics*. 2022. Vol. 20. P. 604-625.
27. Young A.L. Brexit, Miller and the Regulation of Treaty Withdrawal: One step forward, two steps back? – *American Journal of International Law*. 2018. Vol. 111. P. 434-439.
28. Zorkin V.D. 2022. *Sudebnaya vlast' pered vyzovami vremeni. Tezisy vystupleniya na X vserossijskom s'ezde sudey [Judicial power in front of the challenges of the time. Speaking points for the X Russian congress of judges]*. URL: <https://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=93> (accessed date: 10.11.2024).

Информация об авторе

Михаил Борисович ЛОБОВ,

Судья Конституционного Суда Российской Федерации

Сенатская площадь, д. 1, Санкт-Петербург, 190000, Российская Федерация

m.b.lobov@mail.ru

ORCID: 0009-0006-5380-3028

About the Author

Mikhail B. LOBOV,

Judge of the Constitutional Court of the Russian Federation

1, Senatskaya Sq., Saint Petersburg, Russian Federation, 190000

m.b.lobov@mail.ru

ORCID: 0009-0006-5380-3028



DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-35-45>

Исследовательская статья
УДК: 341
Поступила в редакцию: 08.09.2024
Принята к публикации: 25.11.2024

Дмитрий Константинович ЛАБИН

Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел России
Вернадского пр-т, д. 76, Москва, 119454, Российская Федерация
d.labin@inno.mgimo.ru
ORCID: 0000-0002-1493-4221

Чэнь ЦИМЭН

Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел России
Вернадского пр-т, д. 76, Москва, 119454, Российская Федерация
qimeng.chen@mail.ru
ORCID: 0000-0003-1237-3050

К ПРОБЛЕМАМ УСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА НАД АНТАРКТИЧЕСКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ КИТАЯ

ВВЕДЕНИЕ. Антарктический регион является уникальным с точки зрения организации эффективного управления одновременно большим числом государств. Для этой цели в 1959 г. был заключен Договор об Антарктике, который позволил предотвратить возникновение конфликтов. Тем не менее не так давно стала актуальна обсуждаться концепция территориального деления данного региона. Китай, являясь одной из наиболее быстроразвивающихся с экономической точки зрения государств, что влечет за собой заинтересованность в усилении влияния в Антарктическом регионе, также активно участвует в разрешении вопросов, связанных с правовым регулированием Антарктики. Цель статьи – определить позицию Китая в отношении деятельности в Антарктическом

регионе в целом, а также, с точки зрения установления государственного суверенитета над территориями Антарктики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. При проведении исследования используются документы международно-правового характера, включая международные договоры, доктринальные источники и национальное законодательство зарубежных государств. Исследование выполнено с использованием общенаучных и специальных научных методов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В статье проведен комплексный анализ китайской международно-правовой доктрины в отношении установления государственного суверенитета над территориями Антарктики, а также сформулированы предположения по дальнейшему

развитию Китая в Антарктическом регионе. Были проанализированы основные направления деятельности Китая, в том числе связанные с национальной безопасностью и добычей природных ресурсов, также были проанализированы положения «Белой книги Китая по Антарктиде». Помимо этого, были рассмотрены инициативы Китая в отношении создания морских охраняемых зон, особо управляемых районов (далее – ОУР). Был дан ответ на вопрос о наличии собственной антарктической политики Китая.

ОБСУЖДЕНИЯ И ВЫВОДЫ. Исследование проблем установления государственного суверенитета над территориями Антарктики с точки зрения Китая позволяет судить о том, что на данный момент эта страна не обладает выработанной антарктической политикой и находится на стадии ее формирования. Попытки Китая повлиять на систему управления Антарктикой начались с 2005 г., когда было предложено создание ОУР. С тех пор влияние Китая продолжает расти. Китай действует и продолжает действовать в соответствии с системой Договора об Антарктике, что свидетельствует об отсутствии желания Китая

сменить систему управления регионом на систему территориального деления. На данный момент интересы Китая в Антарктике характеризуются повышением внимания к проведению научных исследований, охране окружающей среды и международному сотрудничеству. Предполагается, что влияние Китая в данном регионе будет увеличиваться.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антарктика, международно-правовой режим, Договор об Антарктике, КНР, международное право, суверенитет, территориальные претензии, морские охраняемые зоны, особо управляемые районы

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Лабин Д.К., Цимэн Ч. 2024. К проблемам установления государственного суверенитета над антарктическими территориями: международно-правовая позиция Китая. – *Московский журнал международного права*. № 4. С. 35–45. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-35-45>

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-35-45>

Research article
UDC: 341
Received 8 September 2024
Approved 25 November 2024

Dmitry K. LABIN

Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
76, Vernadskogo Ave., Moscow, Russian Federation, 119454
d.labin@inno.mgimo.ru
ORCID: 0000-0002-1493-4221

Chen QIMENG

Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
76, Vernadskogo Ave., Moscow, Russian Federation, 119454
qimeng.chen@mail.ru
ORCID: 0000-0003-1237-3050

ON PROBLEMS OF ESTABLISHING STATE SOVEREIGNTY OVER ANTARCTIC TERRITORIES: CHINA'S INTERNATIONAL LEGAL POSITION

INTRODUCTION. *The Antarctic region is unique in terms of organizing effective management by a large number of states at the same time. For this purpose, the Antarctic Treaty was concluded, which made it possible to prevent the conflicts. Nevertheless, not long ago the concept of territorial division of this region has been actively discussed. China, being one of the most economic rapidly developing states, which implies its interest in strengthening its influence in the Antarctic region, also actively participates in solving the problems related to the legal regulation of the Antarctic region. The purpose of the article is to determine the position of China in relation to the activities in the Antarctic region in general, as well as, establishing state sovereignty over the territories of Antarctica.*

MATERIALS AND METHODS. *The research uses various documents of international legal nature, including international treaties, doctrinal sources and national legislation of foreign countries. The research is carried out with the use of general scientific and special scientific methods.*

RESEARCH RESULTS. *The article provides a comprehensive analysis of the Chinese international legal doctrine concerning the establishment of state sovereignty over the Antarctic territories and makes assumptions on further development of China in the Antarctic region. The main directions of China's activity, including related to national security and extraction of natural resources, were analyzed. The provisions of the "White Book of China on Antarctica" were also analyzed. In addition, China's initiatives concerning the establishment of Marine Protected Areas, Specially Managed Areas were examined. The question of whether China has its own Antarctic policy was answered.*

DISCUSSION AND CONCLUSIONS. *The examination of the problems of establishing state sovereignty over the Antarctic territories from the point of view of China allows us to conclude that at the moment China does not have a developed Antarctic policy and is at the stage of its formation. China's attempts to influence the Antarctic management system began in 2005, when the establishment of the Specially Managed Areas was suggested. Since then, China's influence has continued to grow. China acted and continues to act in accordance with the Antarctic Treaty System, which indicates that China is not willing to change the system of management of the region to the system of territorial division. At the moment, China's interests in Antarctica are characterized by an increased focus on scientific research, environmental protection and international cooperation. China's influence in the region is expected to increase.*

KEYWORDS: *Antarctica, international legal regime, Antarctic Treaty, China, international law, sovereignty, territorial claims, marine protected areas, specially managed areas*

FOR CITATION: Labin D.K., Qimeng C. On Problems of Establishing State Sovereignty over Antarctic Territories: China's International Legal Position. – *Moscow Journal of International Law*. 2024. No. 4. P. 35–45. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-35-45>

The authors declare the absence of conflict of interest.

Introduction

Antarctica in the sense of international law is the area south of 60 degrees south latitude, including all ice shelves, in accordance with paragraph 6 of the Antarctic Treaty¹. Antarctica is known as the seventh continent of the Earth, and is the last continent discovered by mankind that has not yet been settled by any inhabitants. Antarctica consists of the continent, land-marginal ice and islands that surround the South Pole. The complexity of the Antarctic issue is determined by the non-exclusive and competitive nature of the issue as a public asset. It cannot be solved by a single country and needs to be resolved and dealt with through collective action through international channels. As expressed in the Antarctic Treaty, Antarctica has a stake in the interests of all humankind. It also means that Antarctic interests are closely linked to the common interests of the international community, as they touch on energy, resource and environmental issues that can only be resolved in an international framework.

In the new century, climate change, advances in science and technology, competition for resources and energy, and the expansion of human activities in Antarctica have all brought about many new types of legal issues in international governance in Antarctica. Issues such as bioprospecting, illegal fishing, tourism and the delimitation of the outer continental shelf pose new challenges to the treaty system, shaking or undermining the basic principles of the treaty system, which are centred on the freezing of territorial sovereignty, the freedom of scientific exploration and research, peaceful use and non-militarization, and environmental protection. The attributes of these challenges relate to sovereignty, resources, environment, security, law enforcement, etc., and include risks arising from legal loopholes within the treaty

system as well as conflicts arising from the application of other external international legal regimes to the treaty system. Most of the issues that challenge the treaty system are related to sovereignty and the ownership of resources related to sovereignty, and the principle of sovereignty freezing is an unshakable cornerstone of the treaty system. Therefore, how States and non-State actors can conduct Antarctic activities and participate in Antarctic affairs in the context of a sovereignty freeze is a matter for discussion.

China ratified the Antarctic Treaty in 1983, China became one of the Consultative Parties to the Antarctic Treaty in 1985, acceded to the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty (Madrid Protocol of 1991)² in 1998, and acceded to the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources³ in 2007. As a major industrial power, China has growing interests in the resource-rich Antarctic [Liu, Brooks 2018:189-195].

Despite the fact that China did not immediately begin to participate in the so-called “three waves of Antarctic imperialism”⁴, which formed the current structure of Antarctic governance and began to integrate into the international system, including the Antarctic Treaty System (hereinafter referred to as – ATS) only after 1979.

China’s national interests in Antarctica

China is currently active in Antarctica. For example, China’s interest in Antarctic issues dates back to the 1950s. In 1964, China began preparations for an Antarctic expedition and established the State Oceanic Administration to lead both North and South Pole expeditions. In 1984, China conducted its first expedition to Antarctica; in 1985, it established its first Antarctic observatory. China has now already established five Antarctic stations, the fifth of which is part of the larger project “Xue Long Tan Ji”⁵.

¹ See the text of the Antarctic Treaty at the official website of the Secretariate of the Antarctic Treaty: URL: https://documents.ats.aq/recatt/att005_e.pdf (accessed date: 14.05.2024). Текст на русском языке см.: Договор об Антарктике от 1 декабря 1959 г. – Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. Консорциум «Кодекс». URL: <https://docs.cntd.ru/document/1901494> (дата обращения: 14.05.2024).

² See the text of the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty at the official website of the Secretariate of the Antarctic Treaty. URL: <https://documents.ats.aq/recatt/Att006e.pdf> (accessed date: 14.05.2024). Текст на русском языке см.: Протокол по охране окружающей среды к Договору об Антарктике от 4 октября 1991 г. – Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. Консорциум «Кодекс». URL: <https://docs.cntd.ru/document/901886692> (дата обращения: 14.05.2024).

³ See the text of the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources at the official website of the Secretariate of the Antarctic Treaty. URL: https://documents.ats.aq/ats/ccamlr_e.pdf (accessed date: 14.05.2024).

⁴ See the text of “three waves of Antarctic imperialism” at the official website. URL: https://www.cctv.com/geography/jidi/beijing/sanji/nanji_2.html (accessed date: 14.05.2024).

⁵ Xinhua. 2016. Report on the Work of the Government. Accessed March 18, 2024. URL: http://www.xinhuanet.com/english/bilingual/2016-03/18/c_135201680_3.htm (accessed date: 14.05.2023).

At the moment, the significance of China's activities in the Antarctic region can hardly be over-emphasized. Currently, China is the second largest krill fishery in the Antarctic after Norway⁶, as well as the second largest number of Antarctic tourists in the world after the United States⁷. In June 2014, the State Oceanic Administration of China promulgated the <Administrative Regulations on Administrative Licensing of Antarctic Expedition Activities> to comprehensively and systematically regulate China's expedition activities in Antarctica, which is the first Chinese legislation on Antarctic activities [Liu, Zou 2016:17-26]. In addition, China's national plan calls for China to "actively participate in international rule-making in new areas such as cyber, deep sea, polar, aviation and space".

In 2006, China decided to accede to the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources. China revised and adopted the Regulations on Environmental Protection for the Management of Antarctic Activities⁸ in 2018. As its overall national strength continues to improve, China is increasingly involved in the governance of Antarctica. In 2004, China also participated in the creation of the Asian Polar Science Forum, an important organization aimed at sharing the results of polar research in Asian countries and coordinating polar activities. Thus, it can be noted that China, as a great power, is demanding more space within international law [Cai 2013:755-795].

However, as China's participation in Antarctic governance faces some dilemmas in practice. For instance: Geographically, China is located in the northern hemisphere and does not have any geopolitical advantage, so it is unable to explain or justify its participation in the governance of the Antarctic like other countries that are close to the Antarctic. Historically, China's Antarctic expeditions were nearly 100 years behind those of other countries. The backwardness of Antarctic research has directly constrained China's participation in Antarctic governance.

Thus from 1985 to 2005, China simply followed the Antarctic Treaty Consultative Meetings (hereinafter referred to as "ATCM") and China only submitted reports on activities in Antarctica. Since 2005,

China has become more active at the annual ATCM meetings, first proposed the establishment of the Antarctic Specially Managed Area (hereinafter referred to as ASMAs) for the Larsemann Hills in East Antarctica. At the moment, more than 70 specially protected areas have been established in Antarctica, but only 7 specially managed areas, which indicates the exclusivity of establishing such a regime [Vylegzhanin, Pushkareva 2019:22-46]. This can be seen as China's first attempt to influence the Antarctic governance regime.

China's strengthening in Antarctica in terms of governance

Talking about China's strengthening in Antarctica in terms of governance, there are two most significant issues in recent years.

The first is the establishment of Marine Protected Areas (hereinafter referred to as MPA) in the Southern Ocean. China is highly skeptical of proposals to establish an MPA in the Southern Ocean. This is because Chinese researchers have argued that while the General Framework, which is the foundational legal document, does not explicitly state in its provisions that MPAs exist in perpetuity as no-take zones. This document merely mandates that protected areas be reviewed every ten years, and it lacks requirements for key elements such as criteria for measuring the success of protected areas, scientific data, and scientific mechanisms to accommodate rational use, among a range of other key elements. MPA in fact lack both scientific assessment criteria and a rational exit mechanism. Despite the fact that in 2015, China supported the establishment of an MPA in the Ross Sea region, it continues to voice its concerns about other MPA proposals [Liu 2018:861-874].

Some Chinese researchers are of the view that the establishment and management of Antarctic MPA have a preliminary legal basis in general international law. However, the battle over the legitimacy of Antarctic MPA surrounding individual cases has not subsided among Conservation Convention member States. The political game of establishing an Antarctic MPA centred on how to balance the legitimate

⁶ CCAMLR Secretariat: Fishery Report 2020: *Euphausia superba* in Area 48. URL: https://fishdocs.ccamlr.org/FishRep_48_KRI_2020.pdf (accessed date: 14.05.2023).

⁷ IAATO Overview of Antarctic Tourism: The 2022-23 Season, and Preliminary Estimates for 2023-24. URL: https://documents.ats.aq/ATCM45/ip/ATCM45_ip056_e.docx (accessed date: 14.05.2023).

⁸ See the text of the Regulations on Environmental Protection for the Management of Antarctic Activities on the official website of the Chinese Ministry of Natural Resources. URL: https://f.mnr.gov.cn/201807/t20180709_2073791.html (accessed date: 14.05.2023).

interests identified in the two conventions: conservation (temporal or geographic prohibition or restriction of fishing activities on Antarctic marine living resources) and rational use.

The relationship between “conservation” and “rational use” reflects not only a game between the common interests of humankind and the economic interests of a particular country. It also reflects the balance and trade-off between the “interests of present generations” (Global Food Security) and the “interests of future generations” (Sustainable development).

China should shift the focus of the negotiations from the legality of the establishment of Antarctic MPA to the science and necessity of their establishment and management. China should, in full accordance with the purposes of the Antarctic Treaty and on the basis of the “ecosystem approach”, the “risk prevention approach” and the “best scientific evidence” established by the Conservation Convention, improve the current proposal on the basis of a balance of interests. At the same time, on the premise of stepping up scientific research in the Southern Ocean, China has duly selected sea areas with conservation value and put forward China’s proposal for an Antarctic marine protected area. Of course, there are other Chinese researchers who believe that China should be highly vigilant on the issue of the establishment of terrestrial and marine protected areas.

The topic of Antarctic marine protected areas has evolved from the protection of the marine environment and living marine resources to an important tool for territorial claimants to consolidate and reaffirm their territorial sovereignty over the Antarctic continent and to strengthen their de facto control over the Antarctic region among the topics of current trends and challenges in the treaty system. The establishment of terrestrial protected areas, marine protected areas and continental shelf delimitation cases have continuously reaffirmed and strengthened the “frozen” territorial sovereignty and maritime rights in the Antarctic waters attached to them, which have affected China’s basic rights and interests in the Antarctic. Establishment of terrestrial and marine protected areas, the continental shelf delimitation case is constantly being reaffirmed, strengthening the “frozen” territorial sovereignty and maritime

rights in the Antarctic waters attached to it has affected China’s fundamental rights and interests in the Antarctic [He 2021:37].

Despite the proliferation of claims, the theme of Antarctic MPA has gradually evolved from “marine conservation” to “sovereignty contest”. However, the authors believe that in response to the current deteriorating environmental problems, it is necessary to actively protect the precious resources, instead of worrying about MPA becoming an umbrella under which other countries compete for Antarctic sovereignty, it is better to actively participate in promoting the development of MPA in a favourable direction. China should shift the focus of its negotiations from the legality of the establishment of Antarctic MPA to the science of their establishment and management, and actively promote the development of MPA.

The second issue is China’s proposal to establish an ASMAs at China’s Kunlun Antarctic Station, Dome A, based on Article 4 of Annex V of the Madrid Protocol⁹. But in 2017, China rejects the ASMAs proposal and expresses its intention to develop a Code of Conduct as the first possible option for managing Dome A. China’s proposal for Dome A sparked a debate at the 40th ATCM in Beijing. As some researchers point out, “China considers ASMAs and other environmental management efforts as a form of soft presence for states that want to seize control of territory in Antarctica and the Southern Ocean” [Brady 2017].

A number of other Chinese researchers have written on the regulation of Antarctic conservation. Some researchers have pointed out that in the case of land-based tourism facilities, the prohibition of the establishment of any new facilities under the precautionary principle is the most desirable approach, with the second-best option being for the Antarctic Treaty Consultative Meeting to decide whether to establish new facilities [Gu 2010:135-144].

And some researchers have written in the text that the deficiencies in maritime law for Antarctic tourism are mainly reflected in the shortcomings of the Polar Code¹⁰ itself. Its inability to effectively control pollution from Antarctic tourism vessels, as well as the lack of clear and complete evaluation criteria in the Antarctic Environmental Impact Assessment Guidelines itself [Chen 2017:95-105].

⁹ China. 2013. Proposal for a New Antarctic Specially Managed Area at Chinese Antarctic Kunlun Station, Dome A. Submitted 4 April 2013 to XXXVI Antarctic Treaty Consultative Meeting. Brussels, Belgium. 2013. URL: https://documents.ats.aq/ATCM36/att/ATCM36_att015_e.doc (accessed date: 14.05.2023).

¹⁰ See: International Code for Ships Operating in Polar Waters (Polar Code) URL: <https://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/polar-code.aspx> (accessed date: 14.05.2024).

At present, there are no papers or monographs by Chinese researchers that comprehensively and systematically study the legal challenges faced by the contemporary Antarctic Treaty System and China's strategies to deal with them from the perspective of international law. There is a small amount of discussion on this issue, but the results are fragmented and not systematic enough, and none of the studies on this issue are comprehensive or in-depth. For example, there is still a lack of research on the logical interconnections between the various legal issues facing the treaty system, how these legal challenges will affect the direction of the treaty system, and the way forward in resolving these legal issues.

Does China have its own Antarctic policy?

The question arises, "Does China have its own Antarctic policy?" It appears that China is still shaping its overall Antarctic policy, as there is no urgency to develop one at this point. It is worth noting that the ATS, of which China is a member among others, has so far been a successful and sustainable system in solving problems [Haward 2017:21-24], and China is acting in accordance with this system. Moreover, China plans to enact the Antarctic Law to fulfill China's obligations under the ATS and to regulate Chinese Antarctic activities¹¹.

At the moment, China can be called a "hybrid state" in the governance of the world's oceans. In many aspects, China is still a developing country, as China insists on in the international arena, for example, in climate change negotiations. Practically, however, China has developed into a major industrial power. This situation creates difficulties for China in defining its position on issues such as whether to continue to support the "common heritage of mankind" and how best to develop a benefit-sharing regime for deep seabed mining [Liu, Kim 2016:691-705].

But marine conservation is an important part of global ecological civilization. As a Consultative Party to the Antarctic Treaty and a member of the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living

Resources, China has put forward the goal of building a strong maritime nation. Also has increased its attention to ecological and environmental protection in the Southern Ocean, actively participated in Antarctic affairs such as the Antarctic MPA, promoted domestic Antarctic legislation, strengthened scientific research in Antarctica, encouraged the role of non-governmental organizations, increased the scope of international cooperation, and actively participated in the formulation of relevant international rules.

China has ultimately increased its voice and influence and become an important player in global ocean governance [Liu, Qi 2021:59-68]. In addition, it is worth noting China's participation in projects aimed at improving the climate situation. Thus, according to scientists' estimates, thanks to the efforts, including those of China in the Antarctic region, it is possible to hope for improvement of the situation existing with the global sea level rise. We are talking, for example, about such a project as "The Gamburtseva Province in Antarctica" [Berkman, Lang, Walton, Young 2011:351].

There is a concern that China's desire to use Antarctica will lead to territorial claims that could result in denying other countries access to parts of Antarctica¹². However, China needs to withdraw from the Antarctic Treaty in order to make a claim [Press, Bergin 2022:1-19]. In addition, making territorial claims is not in China's national interest, which is not about territorial control, but about the use of Antarctic resources. China is certainly interested in Antarctica. China is building up its scientific capacity in Antarctica, but so far has limited, though growing, influence in shaping the Antarctic governance regime. One of the unsuccessful attempts to influence the management of Antarctica was the above-mentioned proposal to create a new specially managed Antarctic territory at Kunlun station.

China's observer status in the Arctic Council, which helps a non-Arctic state to influence, albeit to a limited extent, the Council's decision-making, should also be taken into account¹³. One area where China wants more influence, is a "balance between

¹¹ National People's Congress of P. R. China. 2018. "Legislation Planning of the 13th Standing Committee of the National People's Congress". Accessed September 10, 2023. URL: http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2018-09/10/content_2061041.html (accessed date: 14.05.2023).

¹² Gavin F. 2018. As Australia looks north, China's presence in the Antarctic continues to grow. URL: <https://www.news.com.au/technology/innovation/military/as-australia-looks-north-chinas-presence-in-the-antarctic-continues-to-grow/news-story/d93aa030c6846e5bfe98f6fdc12f93c9> (accessed date: 14.05.2023).

¹³ Berkman P.A. 2014. Stability and Peace in the Arctic Ocean through Science Diplomacy Science & Diplomacy. – *AAAS Center for Science Diplomacy*, 3 (2). URL: <http://www.sciencediplomacy.org/perspective/2014/stability-and-peace-in-arctic-ocean-through-science-diplomacy> (accessed date: 14.05.2023).

protection and utilization], leading to disagreement with countries that place more emphasis on conservation. This clash of interests has been a major source of tension because decision-making at Antarctic Treaty meetings requires consensus, and China can obstruct them. Some fear that from 2048, when the Madrid Protocol banning mining may be renegotiated¹⁴, China will start mining.

It is important to note that the origin of the above “resource interest-driven theory” is mainly attributed to the New Zealand “China Pass” scholar Anne-Marie Brady. In 2008, she began focusing on polar issues. Compared to the Arctic, international relations and international law in Antarctica are relatively static, as the Antarctic Treaty System, which governs Antarctic governance, has long been in place. Therefore, in the international academic community as a whole, there are only a handful of researchers who have paid long-term attention to and specialized in the study of Antarctic politics and law. Among them, there are even fewer foreign researchers who understand China. Under such circumstances, the views and remarks of Anne-Marie Brady are highly valued and frequently quoted by the media. However, the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty, adopted in 1991, explicitly prohibits all commercial exploitation of mineral resources in the Antarctic until 2048. As a party, China had always upheld the provisions of the Protocol and had no intention of challenging them.

The rapid rise of China’s comprehensive national power and the accelerated transformation of the international system have pushed China into the centre of the international arena. At the same time, China’s rise has impacted on the existing political and economic landscape and aroused concern and instinctive reactions from all countries. Against this backdrop, China’s every move in the Antarctic has aroused strong concerns and questions, and it is not difficult to understand why international public opinion believes that China’s polar activities may pose a challenge to the Antarctic interests of other countries and the existing Antarctic governance mechanism. China is therefore actively engaged in international co-

operation and participation in Antarctic governance. China has actively demonstrated its basic attitude of identification with, compliance with and construction of the Antarctic Treaty system and the Antarctic governance mechanism. The existing treaty system can effectively implement Antarctic governance and safeguard China’s national interests, and supporting the treaty system is the most effective way to realize China’s interests. Therefore, China’s Antarctic activities and presence in Antarctica will not challenge the provisions of the Treaty system or threaten the Antarctic interests of other countries [He 2016:300-320]. It is worth noting, however, that in May 2017, the State Oceanic Administration published China’s first-ever Antarctic White Paper¹⁵, which reviews the history of China’s Antarctic exploration and outlines the Chinese government’s basic position: China will steadfastly pursue the path of peaceful utilization of Antarctica, resolutely uphold compliance with the Antarctic Treaty, increase investment in Antarctic exploration, and enhance its role in the global governance of the southern continent.

China’s national security interests in Antarctica

China’s national security is also important. The 2015 National Security Law of the People’s Republic of China mentions “polar regions” in Article 32. The state shall adhere to the peaceful exploration and utilization of outer space, international seabed areas, and polar regions, enhance the capability of safe entry and exit, scientific investigation, and development and utilization, strengthen international cooperation, and maintain the security of the state’s activities, assets, and other interests in outer space, international seabed areas, and polar regions¹⁶. With regard to demilitarization, the Antarctic Treaty explicitly prohibits all measures of a military nature in Antarctica, including the establishment of military bases, the construction of fortresses, the conduct of military exercises and the testing of weapons of any kind. However, the Treaty permits the use of military personnel or military equipment in Antarctica for scientific research or any other peaceful

¹⁴ Young C. Eyes on the Prize: Australia, China, and the Antarctic Treaty System, Lowy Institute. 16 February 2021. URL: <https://www.lowyinstitute.org/publications/eyes-on-prize-australia-china-and-antarctic-treaty-system>. (accessed date: 14.05.2023).

¹⁵ State Oceanic Administration of P. R. China. 2017. White Paper: China’s Antarctic Activities. URL: https://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm (accessed date: 14.05.2023).

¹⁶ National Security Law of the People’s Republic of China. 2015. Article 32. URL: http://www.gov.cn/zhengce/2015-07/01/content_2893902.htm (accessed date: 14.05.2024).

purpose¹⁷. And some countries, represented by the United States, have been using military aircraft for transport and resupply missions to and from Antarctica¹⁸. In comparison, China's exercise of these rights is limited, which to some extent constrains its participation and influence in Antarctic affairs.

China's interests in Antarctica are already a major national interest, both in terms of Chinese policy and national law. The security of its interests in Antarctica is also an important part of China's national security, especially freedom and security of access to Antarctica, the conduct of scientific research in Antarctica, the development and use of Antarctica, and the protection of the Antarctic ecological environment.

Hence the activities of the Chinese People's Liberation Army (hereinafter referred to as "PLA"). The PLA in China's Antarctic programme is one of the important tasks in safeguarding China's activities, assets and other interests in Antarctica in the context of China's national security [Wu, Zhang 2020:3-20].

In addition, China could use Antarctica's unresolved sovereignty to establish space tracking stations and ground receiving stations for polar satellites with global coverage that would be undesirable on the sovereign territory of other states. It should not be overlooked that China's first ground receiving station was established at the Great Wall Antarctic Station back in 1993. The data collected there also had a dual civil-military purpose – to improve weather forecasting and strengthen China's coastal defenses. In addition, commenting on China's national security activities in Antarctica, it should be emphasized that China's astronomy program at Dome A has direct military applications. Infrared telescopes can be used to search for satellites, drones, and launched missiles.

Thus, China has made significant economic progress over the past four decades, which has also had an impact on its Antarctic interests, which are now characterized by a commitment to scientific research, environmental protection, international cooperation, and respect for international law. China's sphere of influence in Antarctica is expected to expand, its role in shaping Antarctic governance and environmental protection is likely to become increasingly significant, and the active participation of the Chinese military in the Antarctic programme

could expand operational capabilities to allow military personnel to gain experience in polar environments, which would be beneficial to China's long-term strategic interests.

It is worth noting that Chinese government documents also show that China has an understanding of the need for development in the area in question, as well as forming goals for the study and utilization of the polar region.

China's interests in Antarctica are already a major national interest, both in terms of national policy and national law, and the security of its Antarctic interests is also an important part of China's national security. Since Antarctic governance relies mainly on legal regulation and the Antarctic Treaty system is dominant in legal regulation, all of China's activities in Antarctica must be carried out within this regulatory framework.

Conclusion

Over the past 60 years, the legal regulation of Antarctica has expanded to encompass all governmental and non-governmental activities in Antarctica. It has established the principles and regimes of peaceful use, demilitarization, setting aside and freezing of sovereignty claims, conservation of living marine resources and overall protection of the environment. As the types of Antarctic activities and the international law of the sea continue to diversify, new trends in Antarctic legal regulation have emerged and are reflected mainly in the strengthening of claims, aviation, tourism, special areas and liability for environmental damage.

These trends pose immediate or long-term implications for China's and the international community's access to, use of and protection of Antarctica. In order to safeguard China's interests in the Antarctic and the common interests of the international community, and to advance the new historical development of China's Antarctic endeavours, China is actively exercising its rights under international law in the Antarctic, and plans to make a comprehensive plan for the development and management of domestic Antarctic tourism, as well as specific countermeasures with regard to the liability system for environmental damage in the Antarctic.

¹⁷ The Antarctic Treaty. Article 1.

¹⁸ Joint task force kicks off 65th year of DoD Antarctic mission support. 09.04.2020. Pacific Air Forces Public Affairs. URL: <https://www.pacaf.af.mil/News/Article-Display/Article/2361011/joint-task-force-kicks-off-65th-year-of-dod-antarctic-mission-support/> (accessed date: 14.05.2023).

It is not difficult to see that, with the unprecedented depth of human activities in Antarctica, the issue of the right to manage Antarctic affairs arising from those activities has become a topic of greater relevance and urgency in the context of the frozen status quo of Antarctic sovereignty. At the same time as the Consultative Parties are exercising their right to manage Antarctic affairs under the Antarctic Treaty, each of the States concerned in fact regulates and manages its own activities in Antarctica, and there are issues of coordination and interface between these two “management rights”. The “freezing” of sovereignty has led to uncertainty about the attribution of jurisdiction, which is an integral part of sovereignty, yet no State is willing to give up the struggle for and control of such management rights.

Chinese researchers believe that the right to manage Antarctic affairs, as a new manifestation of the issue of Antarctic sovereignty, will play a more important role in the process of sustaining the principle of “freezing”. Only by correctly understanding and making full use of China’s dual status as both a permanent member of the United Nations and a consultative

power, and by actively participating in the management of Antarctic affairs, can China’s rights and interests in Antarctica be truly safeguarded.

Human society has always been in a constant state of progress and development. Although the Antarctic issue is complex and complicated, and countries are driven by their own national interests to compete tit-for-tat in the Antarctic, the 18th-century-style “enclosure movement” is unlikely to succeed in the new context. The complexity of the Antarctic issue is such that it cannot be resolved by a single country and requires collective action through international channels [Wang 2013:271].

Although the political future of Antarctica is still unpredictable, and there are many practical obstacles to the establishment and improvement of the relevant international law mechanism, as long as the mainstream of the world is still heading towards peace and civilization, and as long as the majority of countries can affirm and consistently abide by the basic principles and purposes established in the existing international law, the Polar issue can be resolved eventually.

References

1. Berkman P.A. Stability and Peace in the Arctic Ocean through Science Diplomacy Science & Diplomacy. – AAAS Center for Science Diplomacy. 2014. Vol. 3 (2). URL: <http://www.sciencediplomacy.org/perspective/2014/stability-and-peace-in-arctic-ocean-through-science-diplomacy> (accessed date: 14.05.2023).
2. Berkman P.A., Lang A.M., Walton W.H.D., Young R.O. *Science diplomacy: science, Antarctica, and the governance of international spaces*. Washington D.C. Smithsonian Institution Scholarly Press. 2011. P. 351.
3. Brady A.M. China’s Undeclared Foreign Policy at the Poles. – *The Interpreter*. 2017. URL: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/china-s-undeclared-foreign-policy-poles> (accessed date: 14.05.2023).
4. Cai C. New Great Powers and International Law in the 21st Century. – *European Journal of International Law*. 2013. Vol. 24 (3). P. 755-795.
5. Chen JG. Legal Regulation of Maritime Risks in Antarctic Tourism: Normative Composition and Institutional Improvement. – *Law Journal*. 2017. Vol. 2. P. 95-105.
6. Gu T. Antarctic tourism: practical challenges and legal responses. – *Politics and law*. 2010. Vol. 3. P. 135-144.
7. Haward M. Contemporary Challenges to the Antarctic Treaty and Antarctic Treaty System: Australian Interests. Interplay and the Evolution of a Regime Complex. – *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs*. 2017. Vol. 9 (1). P. 21-24.
8. He L. Legal Challenges to the Antarctic Treaty System and the Maintenance of China’s Fundamental Rights and Interests in Antarctica. – *China Ocean Law Review*. 2021. Vol. 3. P. 37.
9. He L. Research on China’s international cooperation strategy for participation in Antarctic governance. – *Wuhan University International Law Review*. 2016. P. 300-320.
10. Liu HY., Qi XW. Legal Dilemmas and Ways Forward in the Establishment of Antarctic Marine Protected Areas: China’s Response. *Ocean development and management*. 2021. P. 59-68.
11. Liu N. The European Union and the Establishment of Marine Protected Areas in Antarctica. – *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*. 2018. Vol. 18 (6). P. 861-874.
12. Liu N., Brooks C. China’s Changing Positions Towards Marine Protected Areas in the Southern Ocean: Implications for Future Antarctic Governance. – *Marine Policy*. 2018. Vol. 94. P. 189-195.
13. Liu N., Kim R. China’s New Law on Exploration and Exploitation of Resources in the International Seabed Area of 2016. – *International Journal of Marine and Coastal Law*. 2016. Vol. 31 (4). P. 691-705.
14. Liu XC., Zou KY. Legislative suggestions for China on the regulation of Antarctic tourism under the framework of international law. – *Pacific Journal*. 2016. P. 17-26.
15. Press A.J., Bergin A. Coming into the cold: China’s interests in the Antarctic. – *Australian Journal of International Affairs*. 2022. Vol. 76 (2). P. 1-19.
16. Vylegzhanin A.N., Pushkareva E.F. Mezhdunarodno-pravovye voprosy ustanovlenija morskikh ohranjaemykh rajonov [Designation of Marine Protected Areas (issues

- of international law)]. – *Moskovskij zhurnal mezhdunarodnogo prava [Moscow Journal of International Law]*. 2019. № 3. P. 22-46. (In Russ.)
17. Wang XJ. On the Rules of International Law on Antarctic Issues and China's Response Strategy. – *Legality Vision*. 2013. P. 271.
18. Wu H., Zhang XB. The Development of Antarctic Legal Regulations and Policy Recommendations for China: A National Security Perspective. – *Journal of International Security Studies*. 2020. Vol. 3. P. 3-20.

Информация об авторах**Дмитрий Константинович ЛАБИН,**

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры международного права, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел России

Вернадского п-т, д. 76, Москва, 119454, Российская Федерация

d.labin@inno.mgimo.ru
ORCID: 0000-0002-1493-4221

Чэнь ЦИМЭН,

аспирант-соискатель, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел России

Вернадского пр-т, д. 76, Москва, 119454, Российская Федерация

qimeng.chen@mail.ru
ORCID: 0000-0003-1237-3050

About the Authors**Dmitry K. LABIN,**

Doctor of Laws, Professor, Professor of the Chair of International Law, Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

76, Vernadskogo Ave., Moscow, Russian Federation, 119454

d.labin@inno.mgimo.ru
ORCID: 0000-0002-1493-4221

Chen QIMENG,

Post-graduate student, Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

76, Vernadskogo Ave., Moscow, Russian Federation, 119454

qimeng.chen@mail.ru
ORCID: 0000-0003-1237-3050



Екатерина Анатольевна ТОРКУНОВА

Московский государственный институт международных отношений (университет)

Министерства иностранных дел России

Вернадского п-т, д. 76, Москва, 119454, Российская Федерация

etorkunova@hotmail.com

ORCID: 0000-0001-7965-715X

ЗАПРЕТ ЕВГЕНИЧЕСКИХ ПРАКТИК В ЕВРОПЕ: ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРИЧИНЫ

ВВЕДЕНИЕ. Настоящая статья посвящена анализу комплекса политико-правовых причин закрепления запрета занятия евгеникой в европейском праве. В статье рассматриваются современный запрет евгеники в Хартии Европейского союза об основных правах 2000 г., запрет в международном уголовном праве, исторический опыт регулирования евгенических практик в странах Европы, а также новые вызовы в рассматриваемой сфере.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В научном исследовании рассмотрены международные договоры, конвенции, а также судебная практика. При подготовке исследования использовались общенаучные и частнонаучные методы познания (методы анализа и синтеза, дедукции, индукции, сравнительно-правовой и формально-юридический методы).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Автор приходит к выводу о нескольких блоках причин современного запрета применения евгенических практик. Первый блок связан с криминализацией ряда евгенических практик, включая целенаправленную селекцию людей, на международном уровне после Второй мировой войны. Вторым блоком причин запрета евгеники обусловлен про-

валом политико-правового курса в ряде стран Европы (прежде всего, Скандинавии), связанного с ущемлением в репродуктивных правах определенных уязвимых социальных групп. Третий блок причин вызван попытками внедрения современных достижений биомедицины и генетики, затрагивающих репродукцию и геном человека, и способных негативным образом повлиять на интересы будущих поколений человечества.

ОБСУЖДЕНИЯ И ВЫВОДЫ. Новые вызовы евгеники сложно поддаются регулированию и зачастую не охватываются каким-либо запретом или правовым регулированием в целом. Очевидной угрозой является то, что занятия евгеникой в целях селекции людей, чему способствует развитие новейших биотехнологий, может стать инициативой гражданского общества без каких-либо государственных программ и политических курсов и основываться на деятельности негосударственных акторов или убеждениях частных лиц.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: права человека, целостность личности, евгеника, Европейский союз, Римский статут, страны Европы

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Торкунова Е.А. 2024. Запрет евгенических практик в Европе: политико-правовые причины. – *Московский журнал международного права*. № 4. С. 46–56. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-46-56>

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

THE EFFECT OF HUMAN RIGHTS IN SPACE

DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-46-56>

Research article

UDC: 341

Received 31 August 2024

Approved 15 November 2024

Ekaterina A. TORKUNOVA

Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
76, Vernadskogo Ave., Moscow, Russian Federation, 119454
etorkunova@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-7965-715X

PROHIBITION OF EUGENIC PRACTICES IN EUROPE: POLITICAL AND LEGAL REASONS

INTRODUCTION. *This article is devoted to the analysis of the complex political and legal reasons behind the prohibition of eugenics in European law. The article examines the contemporary prohibition of eugenics in the Charter of Fundamental Rights of the European Union 2000, the ban in international criminal law, the historical regulation of eugenic practices in European countries, as well as new challenges in this area.*

MATERIALS AND METHODS. *The scientific study examines international treaties, conventions, and judicial practice. General scientific and specific scientific methods of cognition (methods of analysis and synthesis, deduction, induction, comparative legal and formal legal methods) were used in preparing the study.*

RESEARCH RESULTS. *The author concludes that there are several blocks of reasons for the modern prohibition on the regulation of eugenic practices. The first block of reasons for the prohibition of eugenics is linked to the criminalization of certain eugenic practices, including the deliberate selection of people, at the*

international level after World War II. The second block of the eugenics ban is due to the failure of the political and legal course in several European countries (primarily Scandinavia), associated with the infringement of reproductive rights of certain vulnerable social groups. The third block of reasons for the prohibition of eugenics is triggered by attempts to apply modern advances in biomedicine and genetics, affecting human reproduction and genome, which could adversely impact the interests of future generations of humanity.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS. *New challenges of eugenics are difficult to regulate and are often not covered by any prohibition or legal regulation at all. An obvious threat is that eugenics for the purpose of human selection, facilitated by the development of new biotechnologies, may become an initiative of civil society without any state programs and policies and be based on the activities of non-state actors or the convictions of private individuals.*

KEYWORDS: *human rights, personal integrity, eugenics, European Union, Rome Statute, European countries*

FOR CITATION: Torkunova E.A. Prohibition of Eugenic Practices in Europe: Political and Legal Rea-

sons. – *Moscow Journal of International Law*. 2024. No. 4. P. 46–56. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-46-56>

The author declares the absence of conflict of interest.

1. Вводные замечания

Термин «евгеника» происходит от древнегреческого слова, означающего «благородный» или «породистый». С конца XIX в. его стали применять к научному направлению, связанному с попытками улучшить человеческую наследственность, профилактикой и лечением наследственных болезней, изучения методов влияния на наследственные качества личности. Действительно, термин «евгеника» первоначально относился к деятельности, направленной на «улучшение» генетического фонда человеческого вида [Galton 1883:24-25]. Однако практическое воплощение этих идей в XX в. представляло собой очередной социальный эксперимент, имевший пагубные последствия в виде ущемления соматических прав отдельных, как правило, наиболее уязвимых групп населения. В ряде стран Европы занятие евгеникой выступало в качестве направления государственной политики в области охраны здоровья и демографии. Евгенические практики оформлялись законодательно.

Последовавший во второй половине XX в. отказ от евгеники в Европе нашел свое отражение в положениях Хартии Европейского союза (далее – ЕС) об основных правах 2000 г. (далее – Хартия ЕС), запрещающих занятия евгеникой. Такой запрет, по мнению авторов Хартии, служит важнейшей гарантией права на целостность личности – центрального соматического права человека. Такой резкий поворот от законодательного поощрения до практически полного запрета имеет свои причины исторического, политического и правового характера.

В настоящее время термин «евгеника» используется для описания любых решений, которые основаны на генетических аномалиях, независимо от того, были ли они приняты с целью «улучшения» генетического дизайна человеческого вида. Вопрос евгеники был поднят снова в XXI в., в частности, в связи с преимплантационной генетической диагностикой (ПГД).

2. Запрет евгенических практик в Хартии ЕС об основных правах

Вопрос о прекращении евгенических практик волновал структуру ЕС еще в прошлом веке. Так, в 1992 г. Европейский парламент принят Резолюцию, затрагивающую вопрос стерилизации психически неполноценных несовершеннолетних граждан¹. Конечно, данный документ, относящийся скорее даже к политическим заявлениям, а не к актам мягкого права, сложно рассматривать в качестве предтечи современного регулирования. Однако он наглядно демонстрирует позицию европейских структур в отношении существовавших и существующих евгенических практик, которые всегда настаивали на их минимизации и элиминировании из медицинского обихода. В этом отношении совершенно неудивителен запрет евгенических практик, зафиксированный уже в XXI столетии в Хартии ЕС в п. “b” § 2 ст. 3.

Хартия ЕС разрабатывалась в конце 1990-х годов специфическим совещательным органом – Конвентом, созданным специально для ее создания как нового европейского билля о правах, признаваемого на уровне ЕС. Конвент объединил усилия ведущих европейских

¹ Résolution du Parlement européen no A3-0231/92, 16 sept. 1992. – *JOCE* no C 284. 2 nov. 1992. В документе, в частности, подчеркивалось, что стерилизация должна рассматриваться в качестве *ultima ratio* (последнего средства) и применяться только тогда, когда не остается никаких других методов или инструментов контроля, или же они не гарантируют безопасности.

политиков и правозащитников в составлении Хартии ЕС. Результат работы Конвента был представлен на саммите представителей государств – членов ЕС в Ницце в декабре 2000 г., где и был одобрен 7 декабря европейскими институтами. В течение девяти лет Хартия ЕС существовала в качестве акта мягкого права. Обязательный характер ее положения приобрели только со вступлением в силу Лиссабонского договора 1 декабря 2009 г. Сегодня ст. 6(1) Договора о Европейском союзе (далее – ДЕС) приравнивает Хартию ЕС по юридической силе к учредительным договорам ЕС.

Статья 3 Хартии ЕС посвящена праву на целостность личности, и в этом отношении запрет евгенических практик составляет одну из гарантий этого права. Формула, которая закрепляется в ст. 3(2b) содержит безусловный запрет на любые занятия евгеникой. При этом формула делает акцент на том, что наиболее запрещаемыми практиками являются те, что ставят целью проведение отбора между людьми.

Для целей ст. 3 Хартии ЕС стерилизация, уже упоминавшаяся в документах ЕС ранее, может быть наиболее актуальной из этих практик. Однако даже здесь не все так однозначно должно запрещаться, например, стерилизация женщин-инвалидов часто рассматривается как имеющая евгенический подтекст², даже несмотря на то, что она обычно оправдывается действием в наилучших интересах соответствующей женщины. Тем не менее трудно определить точную сферу применения ст. 3(2b) Хартии в этом отношении, поскольку неясно, запрещает ли она какую-то одну из концепций евгеники или все сразу.

Уже упомянутая выше ст. 6 ДЕС в третьем абзаце называет среди источников официального толкования Хартии ЕС специально принятые вместе с ней Разъяснения³, «указывающие на источники ее положений». Согласно Разъяснениям к ст. 3 Хартии ЕС, запрет занятия евгеникой относится к серьезным институционализированным случаям, в которых официально организуются и реализуются программы отбора, включая кампании по стерилизации, принудительной беременности

и любые иные действия, представляющие международные преступления. Перечисленные запрещенные практики имеют очевидную связь с нарушением целостности личности, поскольку они относятся либо к программам принудительного отбора по евгеническим соображениям, либо к кампаниям, которые могут повлиять на свободу выбора соответствующих ущемляемых лиц. В связи с этим жертвы таких практик уже защищены правом на целостность личности, закрепляемом в ст. 3(1) Хартии ЕС, и в той мере, в которой эти практики основываются на медицинских процедурах, например, в случае стерилизации, включающих требование информированного согласия, изложенного в ст. 3(2a) Хартии ЕС. Запрет добавляет к защите общего права на физическую и психическую целостность прямое осуждение этих практик в областях биологии и медицины. Это, в свою очередь, означает, что согласие на эти практики, которые квалифицируются как международные преступления, либо самим компетентным лицом, либо доверенным лицом в случаях некомпетентности лиц, будет недействительным. Кроме того, Разъяснения к ст. 3 Хартии ЕС, упоминающая международные преступления, напрямую отсылают к положениям Римского статута Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. (далее – Римский статут, Статут).

Запрет евгенических практик был включен в ст. 3(2) по инициативе Европейской группы по этике в науке и новых технологиях. По просьбе являвшегося тогда председателем Европейской комиссии Р. Проди эта группа представила в июне 2000 г. Конвенту доклад, который включал предложение о дополнительной статье о «запрете евгеники»⁴. Согласно этому докладу, первоначальная идея евгеники в XIX в. заключалась в том, что «общество должно способствовать разведению тех, кто обладает благоприятными чертами, и препятствовать разведению тех, кто ими не обладает. В то время это казалось всего лишь здравым смыслом многим ученым и политикам в Европе. Но после Второй мировой войны и падения Третьего рейха евгеника как приемлемая социальная теория, по-видимому, умерла»⁵.

² См.: Report of the UN Special Rapporteur on the Sexual and reproductive health and rights of girls and young women with disabilities "Sexual and reproductive health and rights for girls and young women with disabilities". July 2017. URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n17/214/63/pdf/n1721463.pdf> (accessed date: 20.08.2024). Также см.: [Россиянов 2000:178-186].

³ Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights (2007/C 303/02). – OJ 2007 C 303. P. 17-35.

⁴ Doc. CHARTE 4370/00 of 15 June 2000.

⁵ Ibid. P. 2.

3. Криминализация евгеники на международном уровне

Важной гарантией соблюдения и реализации права на целостность личности и других соматических прав человека является установление ответственности за их нарушение в международном уголовном праве и криминализация нарушений таких прав человека путем формулирования составов международных преступлений. Это отражается, в частности, в Римском статуте⁶. Данный документ генерирует общие принципы международного уголовного права и формулирует основные составы международных преступлений [Малиновский 2004:250]. В то же время очевидно, что сам документ, воплощая доктринальные постулаты, оказался далеким от современной международной обстановки [Игнатенко 2003:15]: применение положений Римского статута на практике до сих пор вызывает много сомнений и нареканий.

Евгенические практики в том виде, в котором они предстали человечеству в прошлом веке, представляют собой нарушения различных прав человека, в частности, запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, принцип свободного и полного согласия в отношении права на вступление в брак, как изложено в ст. 23(3) Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., право на неприкосновенность частной жизни и защиту семьи, а также принцип недискриминации. Наиболее циничные евгенические практики (принудительная беременность и принудительная стерилизация), совершенные в рамках широкомасштабного или систематического нападения, направленного против любого гражданского населения, также являются преступлениями против человечности, как это запрещено ст. 7(1)(g) Римского статута.

Статут в ст. 7 содержит составы преступлений против человечности, называя их конкретные виды и квалифицирующие признаки.

Положения общего характера ст. 7 Статута содержат так называемые контекстуальные элементы преступлений против человечности, разработанные на основе замечаний государств – участников Римской конференции, на которой был открыт к подписанию Статут, и отразившие международные обычаи и практику [Boot, Dixon, Hall 2008:166-174]. Как отмечают А. Матта и Ю. Нузбан: «Преступление против человечности означает любое из данных деяний, когда они совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения на любых гражданских лиц, и если такое нападение совершается сознательно» [Матта, Нузбан 2014:439].

Статья 7 Римского статута называет 11 видов преступлений против человечности. К такого рода международным преступлениям относятся деяния, заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий или серьезных телесных повреждений, серьезного ущерба психическому или физическому здоровью, совершаемые в рамках широкомасштабного или систематического нападения на любых гражданских лиц, и если такое нападение совершается сознательно. Пункт “g” ч. 1 ст. 7 Римского статута к этим преступлениям, в частности, относит: изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции, принудительная беременность, принудительная стерилизация или любые другие формы сексуального насилия сопоставимой тяжести. Часть 2 ст. 7 Римского статута определяет часть запрещаемых деяний, в том числе принудительную беременность⁷.

Не все практики, перечисленные в ст. 7(1)(g) Римского статута и упомянутые в Разъяснении к Хартии, относятся к областям медицины и биологии, к которым применяется ст. 3(2b) Хартии. При этом ссылка на Статут в официальных Разъяснениях к Хартии ЕС не означает, что только евгенические практики, перечисленные в нем, охватываются явным запретом по ст. 3(2b) Хартии ЕС. Это также подчеркивается словами «в частности». Запрет евгенических практик применяется к мерам, осуществляемым

⁶ Документ A/CONF.183/9 от 17 июля 1998 г. с изменениями на основе протоколов от 10 ноября 1998 г., 12 июля 1999 г., 30 ноября 1999 г., 8 мая 2000 г., 17 января 2001 г. и 16 января 2002 г. Статут вступил в силу 1 июля 2002 г. Три постоянных члена Совета Безопасности ООН (Россия, Китай и США) не являются участниками Статута.

⁷ «Принудительная беременность» означает незаконное лишение свободы какой-либо женщины, которая стала беременной в принудительном порядке, с целью изменения этнического состава какого-либо населения или совершения иных серьезных нарушений международного права. Это определение ни в коем случае не истолковывается как затрагивающее национальное законодательство, касающееся беременности (п. “f” ч. 2 ст. 7 Римского статута).

официальными государственными и негосударственными субъектами, однако вопрос о степени охвата занятий евгеникой со стороны негосударственных структур остается нерешенным на уровне ЕС.

4. Опыт некоторых стран Европы XX столетия

Конечно, опыт евгенических практик европейских стран в XX в. нельзя назвать удачным, особенно в контексте повсеместного отказа от них к концу столетия. В свете криминализации ряда таких практик вспоминается опыт нацистской Германии.

Третий рейх⁸ занимает специфическое место в истории евгеники. Придя к власти в 1933 г., гитлеровцы приняли специальный Закон о предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями⁹, который предусматривал принудительную стерилизацию отдельных лиц, страдающих от серьезных физических или психических расстройств. Для обеспечения соблюдения закона нацисты создали целую систему специальных «судов по наследственному здоровью населения»¹⁰. В 1936 г. принимается законодательство относительно принудительной стерилизации определенных этнических групп, в частности, цыган. Принятая государственная программа «предотвращения вырождения немецкого народа как представителя арийской расы» дала старт нацистским евгеническим

практикам¹¹ в рамках нацистской «расовой политики». Политика нацистской евгеники не ограничивалась стерилизациями. В соответствии с государственной программой «неполноценные лица» подвергались не только стерилизации, но и истреблению. В 1939 г. начинается существование специальная Операция «Тиргартенштрассе 4»¹² – евгеническая программа, используемая для убийства людей с физическими и умственными недостатками, неизлечимо больных, пожилых людей и многих других. Еще одним способом поддержания расы выступала программа «Брачный кредит», которая побуждала «сильных и чистых» арийцев иметь больше детей.

Важно отметить, что практики немецких фашистов не только не являлись евгеникой, но и представляли собой нездоровое порождение садистской фантазии плохо образованных руководителей Третьего рейха, впечатлявшихся уже существовавшими евгеническими практиками в других странах Европы и мира, в частности, в Скандинавии, которые по своим целям и характеру реализации существенно отличались от «евгеники» Третьего рейха.

В 1929 г. Дания стала первой среди скандинавских стран, кто принял закон о стерилизации, а с определенной точки зрения и первой среди европейских стран¹³. Необходимо отметить, что датский закон 1929 г. первоначально регулировал исключительно добровольную стерилизацию, однако в 1934 г. в него были внесены

⁸ Имеется в виду период истории Германии с 1933 по 1945 гг.

⁹ Gesetz zur Verhuetung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933. – *RGBl.* I S. 529. Примечательно, что закон формально действовал в Западной Германии до 1974 г.

¹⁰ Нем.: "Erbgesundheitsgericht". Эти суды учреждались в соответствии с § 4 Закона о предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями. Суды состояли из двух психиатров и одного судьи. В соответствии с законодательством на врачей возлагалась обязанность сообщать о лицах, подпадающих под стерилизацию, за несообщение такой информации налагался штраф. Оценки количества проведенных стерилизаций разнятся, по одним данным – от 300 до 400 тыс. человек, по другим – от 200 до 500 тыс. См.: [Кей 2024:43].

¹¹ Позже эти практики распространились на захваченные территории других стран (в частности, Норвегии). 23 июля 1942 г. оккупированная немцами Норвегия приняла один из двух законов о стерилизации в Европе, которые были введены нацистскими режимами. Норвежский закон был частично смоделирован по немецкому закону о предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями. Норвежский закон действовал с декабря 1942 г. по май 1945 г. и предполагал, что стерилизация должна проводиться исключительно в евгенических целях, т. е. для улучшения человеческого рода.

¹² Нем.: "Tiergartenstraße 4"; "T4". 1 сентября 1939 г. А. Гитлер подписал секретный акт, предоставлявший защиту задействованным в T4 врачам, медицинскому и административному персоналу от судебного преследования. В 1941 г. под общественным давлением А. Гитлер объявил об официальном закрытии T4, но на самом деле программа продолжила свое существование. T4 действовала не только в Германии, но и на оккупированных территориях. Жертвами программы, по некоторым данным, стали 250 тыс. человек. См.: [Lieser, Sroka, Falkenstein, Endlich 2014:14].

¹³ Если не считать швейцарский кантон Во, в котором закон о стерилизации появился в 1928 г. (на федеральном уровне в Швейцарии такого закона не было).

поправки, согласно которым принудительной стерилизации могли подвергаться психически больные лица¹⁴.

В 1934 г. Швеция приняла закон о стерилизации, а позже, в 1944 г., закон о кастрации. Шведы придерживались концепции, что стерилизация умственно отсталых значительно экономит бюджетные средства, а также способствует улучшению расы¹⁵. В рамках закона о чистоте расы стерилизации подлежали те, кто проявлял «стойкую неспособность к обучению», обладал внешностью, не соответствующей признанным стандартам шведской нации, и проявлял асоциальное поведение. Стоит отметить, что правовые акты подчеркивали, во-первых, «добровольность» проведения таких операций, а во-вторых, тот факт, что принудительная стерилизация может иметь место только в случае реальной необходимости. В 1976 г. принудительная стерилизация была запрещена¹⁶.

В Норвегии практика стерилизации психически больных началась еще в 1920-х годах, но свою легализацию получила только в 1934 г., когда Стортинг принял закон, разрешающий стерилизацию по евгеническим, социальным и разумным соображениям¹⁷. В соответствии с законом, стерилизация должна была проводиться добровольно в рамках норвежской социальной политики. Принудительная стерилизация была возможна только в случаях серьезной умственной отсталости и хронических психических заболеваний. В 1977 г. закон о принудительной стерилизации был заменен законом о добровольной стерилизации.

Финляндия изначально использовала несколько иной механизм – вопрос стерилизации

фигурировал в рамках законодательства о браке. Закон о браке 1929 г. ввел запрет на заключение брака в отношении следующих категорий лиц: глухие, эпилептики, психически больные, умственно отсталые и больные венерическими заболеваниями. Закон 1929 г. заменил старый закон 1734 г., принятый во времена, когда Финляндия входила в состав Швеции, в соответствии с которым запрещались браки между больными наследственной эпилепсией. В 1935 г. Финляндия приняла закон о стерилизации [Mattila 1999:341], согласно которому часть граждан, прежде всего психически больные, подвергалась принудительному лишению репродуктивных функций. Остальным носителям наследственных заболеваний предлагалось пройти стерилизацию добровольно. В 1970 г. правительство Финляндии объявило стерилизацию без согласия лица, в отношении которого она должна была проводиться, незаконной¹⁸.

Исландия приняла закон о стерилизации в 1938 г. Стерилизация проводилась в евгенических целях, как правило, в отношении лиц, считавшихся слабоумными. Операции могли проводиться без согласия, если были соблюдены необходимые процессуальные требования.

Все вышеупомянутые законы (Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции) были отменены к середине 1970-х годов. Однако уже в 1990-х годах прошла волна журналистских расследований, касавшихся практик тех времен. Журналистами было установлено, что большее число стерилизаций было проведено незаконно (без согласия). Впоследствии жертвам были выплачены компенсации, истребованные в судебном порядке¹⁹.

¹⁴ Вплоть до 1967 г. (когда законодательство о принудительной стерилизации было отменено) стерилизации подверглось около 11 тыс. человек (статистики того, сколько из них подверглось принудительной стерилизации, нет). См.: [Drouard 1998:637].

¹⁵ В 1921 г. шведский Риксдаг единогласно поддерживает создание Государственного института расовой биологии (Statens institut för rasbiologi) в г. Упсала. Он проработал с 1922 по 1958 г., когда институт закрыли, а исследовательский отдел объединили с Институтом медицинской генетики (Institutionen för medicinsk genetik).

¹⁶ Стерилизовано было около 63 тыс. человек (90 % из них женщины). Среди европейских государств эти данные превосходят только нацистская Германия. См.: [Drouard 1998:639].

¹⁷ С 1934 по 1977 г. было проведено примерно 44 тыс. процедур стерилизации, их количество увеличилось вдвое в период немецкой оккупации: около 210 стерилизаций в год. См.: [Haave 2007:47].

¹⁸ Согласно первоначально представленной статистике, в 1970-х годах было проведено 1 460 стерилизаций. Однако позже эта цифра была опровергнута и по современным данным было стерилизовано около 11 тыс. человек, большая часть из них – женщины. См.: [Armstrong 1997:563].

¹⁹ Итогом действия этих законов стали 170 тыс. стерилизаций, большая часть из которых была проведена женщинам. См.: [Eugenics and the welfare state ... 1996:2].

5. Вызовы современной евгеники

Запрет евгенических практик в том виде, в котором они применялись в нацистской Германии, а также и после Второй мировой войны в рамках политик апартеида, этнических чисток, а также принудительной стерилизации, не охватывается современными актами о защите прав человека в биомедицине. В частности, не охватывается этот запрет и положениями Конвенции о правах человека и биомедицине (далее – Конвенция Овьедо) 1997 г., разработанной под эгидой Совета Европы и являющейся на сегодня единственным международным договором, полностью посвященным правам человека в биомедицине. При этом положения Конвенции Овьедо могут быть использованы Европейским судом по правам человека (далее – ЕСПЧ), ст. 29 этой Конвенции наделяет ЕСПЧ дополнительной юрисдикцией по ее интерпретации [Калиниченко, Пономарева 2019:70].

Так, Постановление ЕСПЧ по делу *V.C. против Словакии*²⁰, рассмотренное в 2011 г., затрагивало последствия стерилизации по этническим причинам. В основе прецедента лежало нарушение ст. 3 и 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – ЕКПЧ), а именно отсутствие информированного согласия пострадавшей пациентки – этнической цыганки. Такое согласие должно обеспечиваться также в соответствии со ст. 5 и 8 Конвенции Овьедо, стороной которой является Словакия. Суд указал, что правительство Словакии юридически не предоставило эффективных правовых гарантий для защиты репродуктивного здоровья женщин цыганского происхождения и таким образом нарушило свое позитивное обязательство по ЕКПЧ. Представленные ЕСПЧ доклады позволили предположить, что локальные акты медицинских учреждений Восточной Словакии выделяют «пациенток цыганского происхождения» в некую особую группу ввиду негативного отношения к высокому уровню рождаемости среди компактно проживающих там цыган. На основе изучения записей в истории болезни заявительницы ЕСПЧ сделал вывод об определенном образе мышления медицинских работников, направленном

на пренебрежительное отношение к этой категории пациентов, что в отсутствие специфических предписаний об осторожности со стороны государства привело к нарушениям при получении информированного согласия такой пациентки на стерилизацию, включая отсутствие норм, обеспечивающих ее активное участие в процессе принятия решения о таком вмешательстве.

В другом Постановлении по делу *A.K. v. Latvia*²¹, вынесенном 24 сентября 2014 г., рассматривался вопрос о соответствии латвийского законодательства, регламентирующего действия врача по проведению пренатального обследования (скринингового тестирования) на предмет наличия риска таких заболеваний, как синдром Дауна, положениям ст. 8 ЕКПЧ.

Заявительница утверждала, что несмотря на ее возраст (40 лет) из-за халатности ее гинеколога ей было отказано в доступе к важной медицинской информации о необходимости проведения дородового скринингового теста, который в обязательном порядке проводится всем беременным старше 36 лет. Из-за отсутствия информации о состоянии плода она не сделала аборт и родила дочь с синдромом Дауна. Национальные суды не нашли оснований для удовлетворения ее иска к больнице, и заявительница был вынуждена обратиться с жалобой в ЕСПЧ. Ожидалось, что дело станет прецедентом в вопросе, связанном с прерыванием беременности по причине состояния здоровья будущего ребенка. Более того, что дело могло бы стать основанием для признания в качестве фундаментального права человека права на выбор относительно сохранения или прерывания беременности ввиду выявленных отклонений у плода на этапе пренатального обследования [Торкунова, Щербакова 2020:60]. Однако Страсбургский суд лишь констатировал нарушение Латвией ст. 8 ЕКПЧ в отношении процессуальных требований и того, как учитывались существующие обстоятельства по делу, включая сроки пренатального обследования и отсутствия в деле медицинской карты.

Данные дела демонстрируют роста числа случаев в ЕСПЧ, в которых наличествуют пограничные вопросы, связанные с вмешательством в личную жизнь, здоровьем, медицинской, репродукцией человека и евгеникой. Хотя

²⁰ Постановление ЕСПЧ от 8 ноября 2011 г. Дело *V.C. (V.C.) против Словакии* (Жалоба № 18968/07) (бывшая Четвертая Секция). – Приложение к Бюллетеню ЕСПЧ «Избранные постановления ЕС. Специальный выпуск». 2012. № 2.

²¹ Постановление ЕСПЧ от 24 сентября 2014 г. Дело *Анита Крузмане против Латвии (A.K. v. Latvia)*. – ECHR 2014-III. No. 33011/08 (dec.).

неясно, подпадают ли эти случаи под запрет евгенических практик в соответствии с Хартией ЕС, они иллюстрируют связь между честностью, осознанным согласием и запретом евгенических практик. Оба случая роднит халатность медиков и ни один из них не относится к публичной, системной и целенаправленной практике. В обоих случаях заявительницы были ущемлены в репродуктивных правах, но в деле *A.K. v. Latvia* присутствует также ущемление права знать о результатах своего генетического тестирования.

Кроме того, современные проявления, связанные с занятием евгеникой, в целом не носят системного характера и не составляют часть государственной политики, хотя не совсем ясно, могут ли под определение евгеники подпадать массовые генетические скрининги в Исландии и Эстонии для целей учета наследственных заболеваний. Остается открытым вопрос, является ли евгенической практикой генетическая модификация на основе донорства митохондрий при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО), которое позволяет пресечь передачу ряда генетических заболеваний по материнской линии. Получается, что ребенок появляется на свет при участии третьего родителя (наследуя при этом только два генотипа – отца и матери). Такие процедуры уже проводятся на законном основании в Британии, Греции, Мексике и на Украине [Торкунова, Щербакова 2020:73].

Другим примером неоднозначной практики, имевшей большой общественный резонанс, может служить случай китайского профессора Хэ Цзянкуя, осуществившего в 2018 г. вмешательство в генотип близнецов на эмбриональной стадии с целью его «улучшения» [Cyranoski 2019], а именно редактирования их генома для приобретения резистентности к вирусу ВИЧ. Известно, что история печально закончилась для исследователя, однако ничего не известно о судьбе и здоровье появившихся на свет детей. В данном

контексте уместно вспомнить выдающиеся исследования российских ученых, в частности, доктора биологических наук Д.В. Ребрикова²², а также вызывающие активные дискуссии и даже протесты среди российского и международного экспертного сообщества в части соответствия биомедицинской этике достижений по исправлению гена (например, тугоухости) в эмбрионе. С точки зрения биоэтики, на данный момент считается, что внесение генетических изменений для решения медицинской проблемы возможно только «в отсутствие других приемлемых альтернатив»²³.

Очевидно, что занятие евгеникой напрямую затрагивает интересы будущих поколений, охранять которые призывает ряд таких международных документов в сфере прав человека в биомедицине и генетике, как Всеобщая декларация ЮНЕСКО о биоэтике и правах человека 2005 г. и Конвенция Овьедо. Будущие поколения не обладают субъектностью, поэтому речь не идет о защите их прав, но, исходя из интересов всего человечества и его будущего, необходимо руководствоваться крайней предосторожностью, подразумевающей запреты вмешательств, связанных с изменением зародышевой линии человека и прочими занятиями евгеникой, имеющими необратимые и непредсказуемые последствия.

6. Заключение

Можно выделить целый комплекс политико-правовых причин современного перехода от юридического поощрения к практически полному запрету евгенических практик в европейском праве. Во-первых, это криминализация некоторых евгенических практик после Второй мировой войны как международных преступлений. Во-вторых, это негативный опыт их законодательного внедрения в ряде стран в первой половине XX в. В-третьих, это новое качество

²² Д.В. Ребриков – доктор биологических наук, профессор, профессор РАН, специалист в области методов молекулярной биологии и геномной инженерии. Под его научным руководством с 2003 г. по настоящее время проводятся исследования генома и микробиома человека, создание и внедрение инновационных биотехнологий в области медицинской диагностики, генотипирования, детекции и количественного определения ГМО, идентификации и геномной регистрации, редактирования генома и клонирования млекопитающих. На основе созданных Д.В. Ребриковым методов разработаны, внедрены в серийное производство и выведены на рынок в РФ и за рубежом более 200 тест-систем для ДНК-диагностики, ряд уникальных приборов для медицинской лабораторной диагностики.

²³ Алексенко А. *Что стоит за заявлением российского ученого о генетическом редактировании эмбрионов?* URL: <https://www.forbes.ru/tehnologii/377645-chto-stoit-za-zayavleniem-rossiyskogo-uchenogo-o-geneticheskom-redaktirovani> (дата обращения: 20.08.2024).

современной евгеники при открытии новых горизонтов по селекции людей на основе современных достижений науки в сфере биомедицины и генетики.

Новые вызовы евгеники сложно поддаются регулированию и зачастую не охватываются каким-либо запретом или правовым регулированием в целом. Очевидной угрозой является то, что занятия евгеникой в целях селекции людей, чему способствует развитие новейших

биотехнологий, может стать инициативой гражданского общества без каких-либо государственных программ и политических курсов и основываться на деятельности негосударственных акторов или убеждениях частных лиц. Кроме того, современные евгенические практики, вторгающиеся в целостность личности, охватывают не только и не столько ущемление в репродуктивных правах, сколько касаются ограничения генетических прав человека.

Список литературы

1. Игнатенко Г.В. 2003. Международный уголовный суд как субъект международного права. – *Российский ежегодник международного права*. Спец. выпуск. С. 8-16.
2. Калиниченко П.А., Пономарева Д.В. 2019. Этико-правовые аспекты регулирования геномных исследований в международной и российской практике. – *Медицинская радиология и радиационная безопасность*. № 5(64). С. 69-70.
3. Кей А. 2024. Империя истребления. История массовых убийств, совершенных нацистами. Москва: Альпина нон-фикшн. 528 с.
4. Малиновский А.А. 2004. Система международного уголовного права. – *Московский журнал международного права*. № 4. С. 246-255.
5. Матта А., Нузбан Ю. 2014. Международный уголовный суд. – *Институты международного правосудия. Учебное пособие*. Москва: Международные отношения. С. 431-445.
6. Россиянов К. 2000. Цена прогресса и ценности науки: новая книга по истории евгеники. Размышления над книгой "Eugenics and the Welfare State: Sterilization Policy in Denmark, Sweden, Norway, and Finland". Ed. by Gunnar Broberg and Nils Roll-Hansen. East Lansing: Michigan State U. Pr., 1996. – *Вопросы истории естествознания и техники*. № 1. С. 178-186.
7. Торкунова Е.А., Щербакова А.И. 2020. Правовое оформление евгеники и современные правовые тенденции в свете новейших биотехнологий. – *История государства и права*. № 11. С. 51-80.
8. Armstrong C. 1997. Thousands of women sterilised in Sweden without consent. – *British Medical Journal*. No. 315 (Sept 6). P. 563-568.
9. Boot M., Dixon R., Hall C.K. 2008. Article 7: Crimes Against Humanity. – *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers' Notes*. Ed. O. Triffterer, K. Ambos. München: C.H. Beck. P. 166-174.
10. Cyranoski C. 2019. China Set To Introduce Gene-Editing Regulation Following CRISPR-Baby Furore. – *Nature*. (May 20). URL: <https://www.nature.com/articles/d41586-019-01580-1> (дата обращения: 20.08.2024).
11. Drouard A. 1998. À propos de l'eugénisme scandinave. Bilan des recherches et travaux récents. – *Population*. 53^e année, n°3. P. 633-642.
12. *Eugenics and the welfare state: sterilization policy in Denmark, Sweden, Norway, and Finland*. 1996. Eds. G. Broberg, N. Roll-Hansen. Michigan: Michigan State University Press. 294 p.

13. Galton F. 1883. *Inquiries into the Human Faculty and its Development*. London: Macmillan. 305 p.
14. Haave P. 2007. Sterilization Under the Swastika: The Case of Norway. – *International Journal of Mental Health*. Vol. 36(1). P. 45-57.
15. Lieser H., Sroka R., Falkenstein S., Endlich St. 2014. *Tiergartenstraße 4. Geschichte eines schwierigen Ortes*. Berlin: Metropol Verlag. 144 s.
16. Mattila M. 1999. *Kansamme parhaaksi: Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti*. Helsinki: Suomen Historialinen Seura. 429 p.

References

1. Armstrong C. Thousands of women sterilised in Sweden without consent. – *British Medical Journal*. 1997. No. 315 (Sept 6). P. 563-568.
2. Boot M., Dixon R., Hall C.K. Article 7: Crimes Against Humanity. – *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers' Notes*. Ed. O. Triffterer, K. Ambos. München: C.H. Beck. 2008. P. 166-174.
3. Cyranoski C. China Set To Introduce Gene-Editing Regulation Following CRISPR-Baby Furore. – *Nature*. 2019. (May 20). URL: <https://www.nature.com/articles/d41586-019-01580-1> (дата обращения: 20.08.2024).
4. Drouard A. À propos de l'eugénisme scandinave. Bilan des recherches et travaux récents. – *Population*. 1998. 53^e année, n°3. P. 633-642.
5. *Eugenics and the welfare state: sterilization policy in Denmark, Sweden, Norway, and Finland*. Eds. G. Broberg, N. Roll-Hansen. Michigan: Michigan State University Press. 1996. 294 p.
6. Galton F. *Inquiries into the Human Faculty and its Development*. London: Macmillan. 1883. 305 p.
7. Haave P. Sterilization Under the Swastika: The Case of Norway. – *International Journal of Mental Health*. 2007. Vol. 36(1). P. 45-57.
8. Ignatenko G.V. Mezhdunarodnyj ugolovnyj sud kak subekt mezhdunarodnogo prava [International Criminal Court as a Subject of International Law]. – *Rossijskij ezhegodnik mezhdunarodnogo prava. Spec. vypusk [Russian Yearbook of International Law. Special. issue]*. 2003. S. 8-16. (In Russ.)
9. Kalinichenko P.A., Ponomareva D.V. Jetiko-pravovye aspekty regulirovanija genomnyh issledovanij v mezhdunarodnoj i rossijskoj praktike [Ethical and legal aspects of regulating genomic research in international and Russian practice]. – *Medicinskaja radiologija i radia-*

- cionnaja bezopasnost'* [Medical Radiology and Radiation Safety]. 2019. № 5(64). S. 69-70. (In Russ.)
10. Kej A. *Imperija istreblenija. Istorija massovyh ubijstv, sovershennyh nacistami* [Empire of Extermination. The History of Mass Murders Committed by the Nazis]. Moscow: Al'pina non-fikshn. 2024. 528 s. (In Russ.)
 11. Lieser H., Sroka R., Falkenstein S., Endlich St. *Tiergartenstraße 4. Geschichte eines schwierigen Ortes*. Berlin: Metropolis Verlag. 2014. 144 s.
 12. Malinovskij A.A. Sistema mezhdunarodnogo ugolovnogo prava [The System of International Criminal Law]. – *Moskovskij zhurnal mezhdunarodnogo prava* [Moscow Journal of International Law]. 2004. No. 4. P. 246-255. (In Russ.)
 13. Matta A., Nuzban Ju. Mezhdunarodnyj ugolovnyj sud [International Criminal Court]. – *Instituty mezhdunarodnogo pravosudiva: uchebnoe posobie* [Institutions of International Justice: A Textbook]. Moscow: Mezhdunarodnye otnoshenija. 2014. S. 431-445. (In Russ.)
 14. Mattila M. *Kansamme parhaaksi: Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti*. Helsinki: Suomen Historialinen Seura. 1999. 429 p.
 15. Rossijanov K. Cena progressa i cennosti nauki: novaja kniga po istorii evgeniki. Razmyshlenija nad knigoj "Eugenics and the Welfare State: Sterilization Policy in Denmark, Sweden, Norway, and Finland". Ed. by Gunnar Broberg and Nils Roll-Hansen. East Lansing: Michigan State U. Pr., 1996 [The Price of Progress and the Values of Science: A New Book on the History of Eugenics. Reflections on the Book "Eugenics and the Welfare State: Sterilization Policy in Denmark, Sweden, Norway, and Finland". Ed. by Gunnar Broberg and Nils Roll-Hansen. East Lansing: Michigan State U. Pr., 1996]. – *Voprosy istorii estestvoznaniya i tehniki* [Questions of the History of Natural Science and Technology]. 2000. № 1. S. 178-186. (In Russ.)
 16. Torkunova E.A., Shherbakova A.I. Pravovoe oformlenie evgeniki i sovremennye pravovye tendencii v svete novejsih biotekhnologij [Legal registration of eugenics and modern legal trends in light of the latest biotechnologies]. – *Istorija gosudarstva i prava* [History of the state and law]. 2020. № 11. S. 51-80. (In Russ.)

Информация об авторе

Екатерина Анатольевна ТОРКУНОВА,

Адвокат, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры интеграционного права и прав человека, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел России

Вернадского пр-т, д. 76, Москва, 119454, Российская Федерация

etorkunova@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-7965-715X

About the Author

Ekaterina A. TORKUNOVA,

Attorney, Cand Sci. (Law), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Integration and Human Rights Law, Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

76, Vernadskogo Ave., Moscow, Russian Federation, 119454

etorkunova@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-7965-715X



DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-57-69>

Исследовательская статья
УДК: 341
Поступила в редакцию: 19.08.2024
Принята к публикации: 05.10.2024

Валерия Викторовна ПЧЕЛИНЦЕВА

Московский государственный институт международных отношений (университет)

Министерства иностранных дел России

Вернадского п-т, д. 76, Москва, 119454, Российская Федерация

lintseva.l@gmail.com

ORCID: 0000-0003-2231-0598

ЗАЩИТА ПРАВА РЕБЕНКА НА РОДОСЛОВНУЮ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЗАМЕНЫ УХОДА ГОСУДАРСТВАМИ – ЧЛЕНАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ВВЕДЕНИЕ. Согласно Венской декларации и программе действий 1993 г., в ходе международного сотрудничества в области защиты и поощрения прав человека необходимо иметь в виду значение национальной и региональной специфики и различных исторических, культурных и религиозных особенностей государств. Принятые под эгидой Организации исламского сотрудничества (далее – ОИС, Организация) международно-правовые акты закрепляют взаимосвязь между защитой и поощрением прав человека и охраной социальных систем государств – членов Организации. Цель данной статьи – выявить влияние исторических, культурных и религиозных особенностей государств – членов ОИС, лежащих в основе «права на родословную», закрепленного в решениях данной Организации, на международную защиту прав ребенка и применение механизмов замены ухода за детьми, лишенными семейного окружения, данными государствами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Автор применяет системный и сравнительный метод к исследованию положений универсальных международно-

правовых актов, решений ОИС и национального законодательства государств-членов Организации. Предметом исследования являются международные отношения государств – членов ОИС, связанные с защитой права ребенка на родословную и применением механизмов замены ухода за детьми, лишенными семейного окружения. В результате исследования установлено влияние национального и международно-правового регулирования защиты родословной ребенка на толкование и применение универсальных норм о защите и поощрении прав ребенка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исламское право закрепляет правовые основы защиты родословной ребенка, под которой понимается его постоянная правовая связь с биологическими родителями. Государства – члены ОИС применяют доктринальную концепцию «родословной» при помощи нормативных терминов “نَسَب” и “بَنُوَّة”, которые переводятся на английский язык при помощи понятий “lineage”, “descent”, “filiation” и “parentage”. Государства – члены ОИС указывают на необходимость защиты родословной ребенка в своих международно-

правовых позициях, однако недостаточная координация их внешней политики в сфере защиты прав ребенка не позволяет государствам эффективно защищать данные позиции в международных организациях и органах системы ООН. Термин «право на родословную», закрепленный в Декларации о правах и заботе о ребенке в исламе 1994 г. и проекте Джиддской Конвенции ОИС о правах ребенка, означает право на постоянную правовую связь ребенка с его биологическим отцом. Данное право неизвестно Конвенции о правах ребенка 1989 г. и не совпадает по содержанию ни с одним из закрепленных в ней прав.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ. Защиту родословной ребенка следует считать исторической, культурной и религиозной особенностью некоторых, но не всех государств – членов ОИС. Не существует единого подхода к имплементации права ребенка на родословную. Позиции государств – членов ОИС по вопросам защиты родословной ребенка влияют на правовое регулирование механизмов замены ухода за детьми, временно или постоянно лишенных семейного окружения. Следует различать государства, допускающие полное усыновление, простое усыновление или несколько форм усыновления, а также государства, запрещающие усыновление. Государства – члены ОИС придерживаются

различных международно-правовых позиций по вопросам толкования и применения универсальных норм международного права о защите права ребенка, насколько это возможно, знать своих родителей и получать их заботу, а также права ребенка, лишенного семейного окружения, на замену ухода. Поскольку подходы государств к толкованию и применению положений универсальных международных договоров о защите прав ребенка, касающихся института усыновления, различны, их имплементацию следует считать делом, по существу относящимся к внутренней компетенции государства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: права человека, права ребенка, Организация исламского сотрудничества, исламское право, право на родословную, замена ухода, усыновление

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Пчелинцева В.В. 2024. Защита права ребенка на родословную и применение механизмов замены ухода государствами – членами Организации исламского сотрудничества. – *Московский журнал международного права*. № 4. С. 57–69. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-57-69>

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-57-69>

Research article

UDC: 341

Received 19 August 2024

Approved 5 October 2024

Valeria V. PCHELINTSEVA

Moscow State Institute of International Relations (University)
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
76, Vernadskogo Ave., Moscow, Russian Federation, 119454
lintseva.l@gmail.com
ORCID: 0000-0003-2231-0598

PROTECTION OF THE RIGHT OF THE CHILD TO LINEAGE AND APPLICATION OF ALTERNATIVE CARE MECHANISMS BY THE MEMBERS OF THE ORGANISATION OF ISLAMIC COOPERATION

INTRODUCTION. According to the 1993 Vienna Declaration and Programme of Action, during the international cooperation in the field of protection and promotion of human rights, national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds of States should be taken into account. The international law acts adopted under the auspices of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC, Organisation) enshrine the connection between protection and promotion of the rights of the child and the preservation of social systems of the Members of the Organisation. The present article aims to discover the effect of historical, cultural and religious backgrounds of OIC Members underlying “the right of the child to lineage”, as enshrined in the decisions of the Organisation, on the international protection of the rights of the child and application of mechanisms of alternative care for children deprived of family environment by these States.

MATERIALS AND METHODS. The article applies the system and comparative method to universal international legal acts, decisions of the OIC and national legislation of its Members. It focuses on legal measures taken by OIC Members aiming at protection of the right of the child to lineage and providing alternative care to children deprived of family environment. The research traces the impact of these measures on interpretation and application of the universal human rights norms.

RESEARCH RESULTS. Islamic law provides for protection of lineage which is defined as a permanent legal relationship between the child and his or her biological parents. The general doctrinal concept of “lineage” is applied in national legislation of OIC Members using the normative terms “نسب” and “بنوة” which are commonly translated as “lineage”, “descent”, “filiation” or “parentage”. OIC Members refer to protection of lineage in their international legal positions but lack coordination in assertion of their arguments in international organisations and organs of the UN system. The term “right to lineage”, as enshrined in the 1994 Declaration on the Rights and Care of the Child in Islam and the 2020 Draft Jeddah OIC Convention

on the Rights of the Child, indicates the right of the child to a permanent legal relationship of lineage towards his or her biological father. The right to lineage is unknown to the 1989 Convention on the Rights of the Child and differs in its scope from any right enshrined in the Convention.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS. Protection of lineage should be regarded as a national and regional particularity of certain, but not all, OIC Members. No uniform approach to its implementation exists among OIC Members. Their standpoints with regard to the protection of lineage affect the legal regulation of the mechanisms of alternative care for children deprived of family environment. One should distinguish States allowing full adoption, States allowing simple adoption, States allowing several forms of adoption and States prohibiting adoption. OIC Members assert different international legal positions concerning interpretation and application of universal treaty norms governing the right of the child, as far as possible, to know and be cared for by parents, as well as the right of a child temporarily or permanently deprived of the family environment to special protection and assistance. Given that the approach to interpretation and application of the provisions of universal treaties on the rights of the child concerning adoption differs from State to State, their implementation should be considered a matter within domestic jurisdiction of States.

KEYWORDS: human rights, rights of the child, Organisation of Islamic Cooperation, Islamic law, right to lineage, alternative care, adoption

FOR CITATION: Pchelintseva V.V. Protection of the Right of the Child to Lineage and Application of Alternative Care Mechanisms by the Members of the Organisation of Islamic Cooperation. – *Moscow Journal of International Law*. 2024. No. 4. P. 57–69. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-57-69>

The author declares the absence of conflict of interest.

1. Introduction

According to para 14 art. 1 of the 2008 Charter of the OIC, the objectives of the Organisation include protection and promotion of human rights and fundamental freedoms, including the rights of children, as well as the preservation of Islamic family values¹. The Article enshrines the connection between protection and promotion of human rights and preservation of the social systems of States, the importance of which is outlined by Russian international law scholars [Kurs mezhdunarodnogo prava... 1992:166]. The 2008 Charter of the OIC takes into consideration the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds of States in accordance with the 1993 Vienna Declaration and Programme of Action². The present article aims to discover the impact of historical, cultural and religious backgrounds of OIC Members underlying “the right of the child to lineage”, as enshrined in the decisions of the Organisation, on protection of the rights of the child and application of mechanisms of alternative care for children deprived of family environment.

The article applies comparative method to universal international legal acts, decisions of the OIC and national legislation of its Members. It focuses on the provisions concerning protection of the child's lineage and their correlation with the universal human rights norms. Section 2 of the Article defines the notion of lineage in Islamic legal doctrine, compares it to the normative terms applied in the national legislation of OIC Members, and establishes the connection between the protection of lineage and the prohibition of adoption. Section 3 analyses the universal treaty norms governing legal relationship between the child and his or her parents and alternative care for children deprived of family environment as interpreted and applied by OIC Members. Section 4 compares the scope of the right to lineage enshrined

in the decisions of the OIC with the scope of the rights of the child provided for in the 1989 Convention on the Rights of the Child. Section 5 analyses the national legislation of OIC Members and classifies their approaches to the right to lineage and the prohibition of adoption.

2. Notion of Lineage in Islamic Law

The Islamic legal term “lineage” (نَسَب) refers to the relationship of affiliation that connects an individual to his or her ancestors, as well as the attachment of a child to his or her parents [Aissaoui et al. 2024:126; Sabreen 2013:21]. It also designates a fundamental principle organising the Arab society according to which “genealogy provides the historical validation of kinship and all that it involves” [The Encyclopaedia of Islam 1993:967]. Islamic law recognises only the lineage of children born to a mother lawfully married to a father, while direct recognition (اقرار) of a child born out of wedlock may result in the legal status of a biological child [Rohe 2019:115; Yassari 2015:937, 939]. Without direct recognition by the father, a child shall not inherit from him [Baderin 2001:299-300]. Nowadays, most States applying Shari'a law to personal status follow the same approach [Rohe 2019:247].

Among OIC Members, Saudi Arabia³ and the State of Bahrain⁴ apply the Arabic term “lineage” (نَسَب) to the legal relationship between the child and his or her parents and the term “filiation” (بِنُوَّة) to the legal relationship of paternity. Article 99 of the Family Code of the Union of the Comoros of 2005 (Family Code of the Comoros) defines filiation as “attributing the child to the parentage of his father”⁵. Some other States use the Arabic term “بِنُوَّة” in the same meaning as “نَسَب” and *vice versa*. According to art. 142 of the Family Code of the Kingdom of Morocco of 2004 as modified in 2010 and 2016 (Family Code of Morocco), “parental filiation results from the birth of a child to his or her parents”⁶. Article 150 of the

¹ OIC: Charter of the Organisation of Islamic Cooperation done at the city of Dakar (Republic of Senegal) on March 14, 2008. URL: <https://ww1.oic-oci.org/english/charter/OIC%20Charter-new-en.pdf> (accessed date: 09.08.2024).

² UN: Vienna Declaration and Programme of Action URL: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/vienna-declaration-and-programme-action> (accessed date: 09.08.2024).

³ Government of Saudi Arabia: Law of Personal Status of the Kingdom of Saudi Arabia Promulgated by the Royal Decree No. M/73 of March 9, 2022 (in Arabic). URL: <https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/f4a877fb-bd67-4f87-92c4-ae5900d38387?lawId=4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2> (accessed date: 08.09.2024).

⁴ Ministry of Legal Affairs of Bahrain: Law No. 19 of July 19, 2017, with Respect to the Promulgation of the Family Law. URL: <https://www.mola.gov.bh/MediaManager/Media/Documents/Laws/Batch3/L1917.pdf> (accessed date: 06.08.2024).

⁵ Droit Afrique: Loi du 3 juin 2005 portant Code de la famille. URL: <https://www.droit-afrique.com/upload/doc/comores/Comores-Code-2005-de-la-famille.pdf> (accessed date: 05.08.2024).

⁶ Officielle du Bulletin Officiel du Royaume du Maroc datant 6 octobre 2005. P. 683.

Act defines “paternal filiation” (النسب) as legal relationship uniting the father and his child and transferring from the father to his descendants. The Family Code of Morocco uses the term “filiation towards the mother” (البنوة بالنسبة للأم) in art. 147 but does not define it. The Family Code of the Federal Republic of Senegal of 1972, as modified in 1999 (Family Code of Senegal), distinguishes “maternal” and “paternal filiation” (la filiation maternelle; la filiation paternelle)⁷. The Family Code of the People’s Democratic Republic of Algeria of 1984⁸ (Family Code of Algeria) does not define the term “filiation” and, therefore, by virtue of art. 222 of the Code, jurists rely on the provisions of Sharia law governing its interpretation and application [Aissaoui et al. 2024:127].

As Dr. J.J.A. Nasir describes it, the establishment of parentage is one of the most important rights emanating from marriage [The Islamic Law... 2009:145]. It creates a set of rights and duties, including the right to fosterage, custody, maintenance, guardianship, and inheritance [Assim, Sloth-Nielsen 2017:327; The Islamic law... 1990:167; Sabreen 2013:21]. According to art. 99 of the Family Code of the Comoros “filiation serves as the basis of inheritance rights and produces obstacles for the marriage as well as rights and duties of the father, the mother and the child”. At the same time, no legal paternity exists between a father and his unlawfully born child [Ibrahim 1979:163]. According to art. 148 of the Family Code of Morocco and art. 100 of the Family Code of the Comoros, the birth of a child in an unlawful marriage does not produce any effects of lawful parental filiation with regard to the father.

According to Islamic legal doctrine, a child’s lineage is established through marriage, acknowledgement, or evidence. [The Islamic Law... 2009:145-146]. According to art. 67 of the 2022 Law of Personal Status of the Kingdom of Saudi Arabia, paternal lineage is established through birth in a lawful marriage, acknowledgement or evidence while maternal lineage is established through the fact of birth. National legislation of OIC Members enshrines similar circumstances for the establishment of the child’s filiation. Article 152 of the Family Code of Morocco

and art. 1158, 1161 and 1164 of the 1928 Civil Code of the Islamic Republic of Iran⁹ name conjugal relations, recognition by the father and erroneous sexual relationship as circumstances upon which parental filiation (parentage) is established. According to art. 86 of the Law of the State of Qatar no. 22 promulgating the Family Law as of June 29, 2006, parentage (النسب) shall be established by the existence of a conjugal relationship, admission or testimony¹⁰. As enshrined in art. 40 of the Family Code of Algeria, filiation is established upon lawful marriage, recognition of paternity and evidence. The above analysis demonstrates that “lineage” is a general doctrinal concept applied in national legislation of certain OIC Members using the normative terms “نسب” and “بنوة” which are commonly translated as “lineage”, “descent”, “filiation” or “parentage”.

Adoption (تبنى), which was widespread among the Arabs before Islam, is prohibited by virtue of verses 4 and 5 of surah “Al-Ahzab” of the Quran [Assim, Sloth-Nielsen 2017:326-327; The Islamic law... 1990:166]. According to verse 4 of the Surah, “Allah does not... regard your adopted children as your real children. These are only your baseless assertions”. Verse 5 of the Surah declares “Let your adopted children keep their family names. That is more just in the sight of Allah”. The prohibition of adoption applies to children of unknown parentage and orphans [Aissaoui et al. 2024:129; Afrat 2013:302]. Islamic law scholars draw connection between the protection of lineage and prohibition of adoption under the provisions of Sharia law [Religious Dimensions... 1996:19].

Instead of adoption, Islamic law provides for a system of guardianship known as kafalah (كفالة) which is considered a form of religious duty and an act of piety on behalf of a Muslim [Baderin 2001:300; Ishaque 2008:401]. The legal term “kafalah” originates from Islamic law of obligations and applies to a contract by which a person undertakes certain obligations in favour of another person provided that the latter has a material or moral interest in such undertaking [Assim, Sloth-Nielsen 2017:329]. According to the definitions given in the national acts of the

⁷ Ministère de la Justice de la République du Sénégal: Loi n°72-61 du 12 juin 1972, telle que modifiée en dernier lieu par la Loi n°99-82 du 3 septembre 1999. URL: <https://justice.sec.gouv.sn/publications/textes/droit-civil-et-procedure-civile/droit-de-la-famille/> (accessed date: 05.08.2024).

⁸ Journal Officiel de la République Algérienne du 12 juin 1984. P. 614.

⁹ The Civil Code of the Islamic Republic of Iran adopted on May 23, 1928. URL: <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1928/en/102142> (accessed date: 08.09.2024).

¹⁰ Official Journal of the State of Qatar as of June 30th, 2006. P. 53.

Kingdom of Morocco¹¹ and the People's Democratic Republic of Algeria¹², in family law the term denotes the voluntary commitment to protect, educate and maintain an abandoned child in the same way as a father would do for his son. No filiation arises from the establishment of kafalah. Islam prohibits considering children under guardianship as the actual children of their guardians or attributing them by name or otherwise to the lineage of the guardian [Aissaoui et al. 2024:129; Ishaque 2008:400]. The child under guardianship may not be denied the right to know his or her lineage or biological parents as well as the choice to maintain a relationship with them [Afrat 2013:302; Ishaque 2008:401]. Islamic law does not put restrictions upon marriages between the child under guardianship and biological children of the guardian [Ishaque 2008:402]. As shown by U.M. Assim and J. Sloth-Nielsen, the legal status of kafalah children differs from that of children in other universally recognised forms of alternative care [Assim, Sloth-Nielsen 2017:331-336].

Thus, Islamic law provides for protection of lineage as a permanent legal relationship between the child and his or her biological parents established upon factual circumstances recognised by law. The establishment of lineage results in a set of rights and duties on behalf of biological parents and the child. The prohibition of adoption and legal regulation of alternative care for children deprived of family environment in Islamic law aim at protecting the lineage of the child.

3. International Law Norms Governing Protection of the Rights of the Child by the Members of the Organisation of Islamic Cooperation

Universal and Regional treaties on protection of the rights of the child enshrine the concept of adoption implying the formation of a permanent legal relationship between the adoptive parents and the child. According to art. 3 of the 1993 Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, the treaty “covers only adoptions which create a permanent parent-child relationship”¹³. Thirteen OIC Members are parties to the Convention. By virtue of art. 1 of the 1984 Inter-American Convention on Conflict of Laws Concerning the Adoption of Minors the Treaty “shall apply to ... institutions that confer on the adoptee a legally established filiation”¹⁴. The European conventions on the adoption of children of April 24, 1967¹⁵, and November 27, 2008¹⁶, define the scope of their application *rationae materiae* as “legal institutions of adoption which create a permanent child parent relationship” and specify that upon adoption the legal relationship between the child and his or her father, mother and family of origin shall terminate¹⁷.

Universal international law acts recognise the Islamic legal institution of kafalah. According to the Preamble of the 1986 Declaration on Social and Legal Principles Relating to the Protection and Welfare of Children, with special reference to foster placement

¹¹ Dahir n. 1-02-172 du 1^{er} rabii II 1423 (13 juin 2002) portant promulgation de la loi n. 15-01 relative a la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés. Edition de Traduction Officielle du Bulletin Officiel du Royaume du Maroc datant de 5 septembre 2002. P. 914.

¹² Art. 116 of the Family Code of Algeria.

¹³ Hague Conference on Private International Law. URL: <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70> (accessed date: 12.07.2024).

¹⁴ Organisation of American States. URL: <https://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-48.html> (accessed date: 12.07.2024).

¹⁵ Council of Europe: European Convention on the Adoption of Children of April 24, 1967. URL: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=058> (accessed date: 12.07.2024).

¹⁶ Council of Europe: European Convention on the Adoption of Children (revised) of November 27, 2008. URL: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=202> (accessed date: 12.07.2024).

¹⁷ Article 10 of the 1967 European Convention on the Adoption of Children and art. 11 of the 2008 European Convention on the Adoption of Children (revised).

and adoption nationally and internationally, kafalah is an institute providing substitute care to children who cannot be cared for by their own parents¹⁸. Article 20 of the 1989 Convention on the Rights of the Child defines kafalah as a form of alternative care for a child temporarily or permanently deprived of his or her family environment¹⁹. Article 3 of the 1996 Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Cooperation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children qualifies kafalah as a measure directed to the protection of the person or property of the child²⁰. Among OIC Members, the Kingdom of Saudi Arabia, the Republic of Mauritania, and the Republic of Sudan, qualify kafalah as a form of adoption according to art. 21 of the 1989 Convention on the Rights of the Child in the reports submitted to the Committee on the Rights of the Child (CRC). The approach is inconsistent with the universal international law acts as they consider adoption and kafalah as different forms of alternative care for children deprived of their family environment.

The institution of kafalah is not recognised by certain States not following Islamic legal tradition, which in practice results in denial of access to the territory of State for the purposes of kafalah children's reunification with their guardians [Assim, Sloth-Nielsen 2017:339]. In 2013, however, the Italian Court of Cassation issued a decision according to which completely excluding Italian citizens from the range of subjects entitled to achieve reunification with foreign children under kafalah would be incompatible with Italian constitutional values and international law obligations. A. Marotta describes the decision of the Court as launching "a new judicial course,

laying the foundations for both understanding and accepting a different legal and cultural institution" [Marotta 2016:201, 210].

All 57 OIC Members are parties to the 1989 Convention on the Rights of the Child. Undertaking commitments enshrined in the Convention, 16 of them made reservations to art. 20 and 21 of the Treaty excluding from the scope of their obligations measures with regard to adoption²¹. The States' reservations fall into two groups, first being general reservations to all provisions of the Convention incompatible with Sharia law²², and second being reservations to the above-mentioned articles in particular²³. Some States, like the Kingdom of Morocco and the People's Democratic Republic of Algeria, made neither reservations nor interpretative declarations to the provisions of the Treaty concerning adoption in spite of the prohibition of the legal institution by their national legislation. Thus, OIC Members' reservations do not directly indicate their recognition or prohibition of the institution of adoption.

The reservations made by OIC Members were countered by objections, all of them on behalf of European States. The practice of States' objections is inconsistent. For instance, nine States objected to the reservation made by the Islamic Republic of Iran cited above while none objected to the reservation of the Islamic Republic of Mauritania "to articles or provisions which may be contrary to the beliefs and values of Islam, the religion of the Mauritanian People and State". The reservation receiving most objections was made by the Federative Republic of Somalia. According to the reservation, the State "does not consider itself bound by art. 14, 20, 21 of the above stated Convention and any other provisions of the

¹⁸ United Nations Digital Library. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/124232?ln=en&v=pdf> (accessed date: 12.07.2024).

¹⁹ UN: Convention on the Rights of the Child. New York, 20 November 1989. URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtmsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en (accessed date: 12.07.2024).

²⁰ Hague Conference on Private International Law. URL: <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70> (accessed date: 12.07.2024).

²¹ UN: Convention on the Rights of the Child. New York, 20 November 1989.

²² E.g. according to the reservation made by the Islamic Republic of Iran upon ratification of the Convention, the State reserves the right not to apply any provisions or articles of the Convention that are incompatible with Islamic Laws and the international legislation in effect. See also the reservations made by Brunei Darussalam, the Islamic Republic of Mauritania, the Islamic Republic of Pakistan (withdrawn), the Kingdom of Saudi Arabia, the Republic of Djibouti (withdrawn), the State of Kuwait and the State of Qatar.

²³ E.g. according to the reservation to article 21 made by the United Arab Emirates upon accession to the Convention, the State, 'given its commitment to the principles of Islamic law, ... does not permit the system of adoption, it has reservations with respect to this article and does not deem it necessary to be bound by its provisions. See also the reservations made by the Arab Republic of Egypt (withdrawn), the Federal Republic of Somalia, the Hashemite Kingdom of Jordan, the Republic of Bangladesh, the Republic of Indonesia (withdrawn), the Sultanate of Oman (withdrawn) and the Syrian Arab Republic (withdrawn).

Convention contrary to the General Principles of Islamic Sharia”. The objecting States qualify art. 14, 20 and 21 as the “essential element of the treaty”, the reservations to which are incompatible with its object and purpose. As K. Hashemi outlines, art. 21 excludes the States that do not recognise adoption from its scope *ratione personae* [Hashemi 2007:219]. Thus, hardly could it be considered as an article non-application of which would be incompatible with the object and purpose of the treaty. Although some States claim that art. 20 and 21 are “an essential element of the treaty”, the OIC Members’ reservations and arguments presented therein demonstrate the absence of universal recognition of the obligatory nature of the norms governing adoption enshrined in these articles.

The OIC Members did not refer to protection of lineage neither in their reservations, nor in their responses to the objections of other States. The communication received by the UN Secretary General from the Government of the Syrian Arab Republic with regard to the objection by the Government of the Federative Republic of Germany is an exception in that it mentions the notion of lineage in the description of the forms of alternative care applied by the State. According to the 1998 Periodic report of the Hashemite Kingdom of Jordan submitted to the CRC, “God abolished the system of adoption..., it being more just and proper for people to be known by their true lineages”²⁴. According to the 1995 Initial Report of the Libyan Arab Jamahiriya submitted to the Committee, the Holy Quran prohibits adoption because it is “a form of dishonesty used to assert false claims of filiation”²⁵. As outlined in the 2003 Periodic Report of the Republic of Yemen, adoption is prohibited “to ensure that there is no confusion over kinship and that the child, once adult, is not forbidden from marrying whomsoever he or she is permitted to marry, or does not, as may occur, marry a person

to whom marriage is not permitted”²⁶. The legal positions cited demonstrate the connection between protection of lineage and prohibition of adoption in national legislation of OIC Members.

One should agree that Islamic law strongly influences the foreign policy of OIC Members notwithstanding the lack of uniformity in application of its provisions [Baderin 2001:266]. However, the reluctance of States to enter into a comprehensive legal discussion, as outlined by S.V. Chernichenko with regard to the principle of non-intervention in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of a State [Chernichenko 2021:71], is also notable in cases concerning national and regional particularities and historical, cultural and religious backgrounds of States. OIC Members refer to protection of lineage in their international legal positions but lack coordination in assertion of their arguments with regard to protection of the rights of the child under the auspices of the UN.

4. Right to Lineage in the Acts of the Organisation of Islamic Cooperation

Neither the Dhaka Declaration of Human Rights in Islam of 1983²⁷, nor the Cairo Declaration of Human Rights in Islam of 1990²⁸ enshrine the notion of lineage. Para 4 of the 1994 Declaration on the Rights and Care of the Child in Islam is dedicated to “the right to lineage” (الحق في النسب)²⁹. According to the Declaration, “Islam has given every child the inalienable right to a relationship of lineage to his or her father and, therefore, Islam prohibits adoption because it deprives the child of this right”. The Declaration enshrines the prohibition of adoption as a legal consequence of protection of the right of the child to lineage. S. Afrat describes the right to lineage as a right that arises before the birth of the child, the scope of which includes the right to be born from

²⁴ Jordan. Periodic Reports of States Parties due in 1998 to the Committee on the Rights of the Child (CRC). Para 63.

²⁵ Libyan Arab Jamahiriya. Initial Reports of States Parties due in 1995 to the CRC. Para 92.

²⁶ Yemen. Third Periodic Report of States Parties due in 2003 to the CRC. Para 147.

²⁷ OIC: Resolution No. 3/14-Org The Adoption of the Draft Document on Human Rights in Islam adopted by the Fourteenth Islamic Conference of Foreign Ministers held in Dhaka, Peoples Republic of Bangladesh, on 6-11 December 1983. URL: <https://ww1.oic-oci.org/english/conf/fm/14/14%20icfm-org-en.htm#RESOLUTION%20No.%203/14-ORG> (accessed date: 26.07.2024).

²⁸ OIC: Annex to Resolution No. 49/19-P The Cairo Declaration on Human Rights in Islam adopted by Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers held in Cairo, Arab Republic of Egypt, on 31 July – 5 August 1990. URL: <https://ww1.oic-oci.org/english/conf/fm/19/19%20icfm-political-en.htm> (accessed date: 26.07.2024).

²⁹ OIC: Annex I to Resolution No. 16/7-C (IS) adopted by the Seventh Islamic Summit Conference held in Casablanca, Kingdom of Morocco, on 13-15 December, 1994. URL: [https://ww1.oic-oci.org/english/conf/is/7/7th-is-sum\(cultural\).htm#RESOLUTION%20NO.16/7-C\(IS\)](https://ww1.oic-oci.org/english/conf/is/7/7th-is-sum(cultural).htm#RESOLUTION%20NO.16/7-C(IS)) (accessed date: 26.07.2024).

legally married parents [Afrat 2013:302]. S. Ishaque outlines that responsibility towards future generations is a particularity of the concept of human rights in Islam, which influences the interpretation and application of the rights of the child [Ishaque 2008:397-398]. Such interpretation, however, is not enshrined in the decisions of the OIC concerning the right to lineage.

The Covenant on the Rights of the Child in Islam of 2004 does not enshrine the right to lineage, which demonstrates lack of persistency in recognition of this right by OIC Members³⁰. In line with art. 8 the 1989 Convention on the Rights of the Child, art. 7 of the Covenant confers upon State Parties the obligation to “safeguard the elements of the child’s identity, including his or her ... family relations in accordance with their domestic laws”. According to para 3 of the Article, “the child of unknown descent or who is generally assimilated to this status shall have the right to guardianship and care but without adoption”. The Arabic text of the Article applies the term “نسب” instead of the English term “descent”³¹. The Covenant has not entered into force lacking the necessary number of accessions.

According to the Independent Permanent Human Rights Commission, the Intergovernmental Group of Experts is finalising the treaty entitled Jeddah OIC Convention on the Rights of the Child (Jeddah Convention)³². The scope of para “a” art. 7 of the 2020 draft of the Convention is similar to the scope of art. 7 of the 1989 Convention on the Rights of the Child, the only difference being that the former enshrines the child’s “right to a descent”³³. The Arabic text of the Article uses the term “الحق في النسب”, which suggests that the authors of the Draft meant to apply the Islamic notion of lin-

eage as enshrined in the 1994 Declaration on the Rights and Care of the Child in Islam³⁴. The Article stipulates that all children shall, from birth, have a right to descent, whether they are born in or out of wedlock. Article 8 of the Draft enshrines the right of a child separated from his parents “to continue links with them” and the right of the child deprived of his or her family environment to the care of a foster family. It does not mention the institution of adoption.

Article 7 of the 1989 Convention on the Rights of the Child enshrines the right of a child to a name and the right, as far as possible, to know and be cared for by his or her parents. According to para 1 art. 7 of the Convention, the child shall from birth have the right to a name. Russian legal scholars define this right as an absolute subjective right to have and to use the name attributed at birth, to change it in cases defined by law as well as to demand the termination of unlawful use thereof [Korol’ 2007:31; Temnikova 2011:200; Shershen’ 2007:97]. Although the right is vested in the child, the obligation to give a name is attributed to his or her parents, adoptive parents, State organs or medical or social organisations depending on the case [Temnikova 2011:200]. Legal scholars consider the establishment of paternity a legal ground for attribution of the name of the father (patronymic) to the child [Temnikova 2011:201-202]. The amendments to art. 58 of the 1995 Family Code of the Russian Federation adopted in 2017 prohibit using symbols other than letters as well as abusive words and words defining rank, post or title in the name of the child³⁵. The measure aims at ensuring the child’s right to a decent name and preventing parents’ abuse of their obligation to give a name to the child [Ruzakova 2017:88].

³⁰ Covenant on the Rights of the Child in Islam adopted by the Thirty Second Islamic Conference of Foreign Ministers held in Sanaa, Republic of Yemen, on 28-30 June 2005. Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC). URL: https://oic-iphr.org/docs/en/legal_instruments/OIC_HRRIT/327425.pdf (accessed date: 26.07.2024).

³¹ IPHRC: عهد حقوق الطفل في الإسلام. URL: https://oic-iphr.org/ar/data/docs/legal_instruments/OIC_HRRIT/756174.pdf (accessed date: 26.07.2024).

³² OIC Holds Fourth Meeting to Discuss OIC Jeddah Convention on the Rights of the Child. OIC. URL: <https://new.oic-oci.org/SitePages/NewsDetail.aspx?Item=5431> (accessed date: 06.12.2024).

³³ OIC: Annex II “OIC Convention on Human Rights” to Resolution No. 1/47-IPHRC on Matters Pertaining to the Work of the OIC Independent Permanent Human Rights Commission adopted by the Forty Seventh Session of the Council of Foreign Ministers of the Organization of Islamic Cooperation held in Niamey, Republic of Niger, on 27-28 November 2020. URL: <https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=6638&refID=3255> (accessed date: 06.09.2024).

³⁴ OIC: Annex II “OIC Convention on Human Rights” to Resolution No. 1/47-IPHRC on Matters Pertaining to the Work of the OIC Independent Permanent Human Rights Commission adopted by the Forty Seventh Session of the Council of Foreign Ministers of the Organization of Islamic Cooperation held in Niamey, Republic of Niger, on 27-28 November 2020 (in Arabic). URL: <https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=6615&refID=3255> (accessed date: 06.09.2024).

³⁵ The Federal Law of May 1, 2017, No. 94-FZ ‘On Amending Article 58 of the Family Code of the Russian Federation and Article 18 of the Federal Law on Acts of Civil Status’. – *Legal Reference System “Consultant Plus”* (accessed date: 05.08.2024).

Research into Islamic legal doctrine demonstrates the importance of giving a decent name to the child in this legal tradition [Ishaque 2008:398]. The name of the lineage forms a part of the child's name and it cannot be given to a child unless he or she is born in a lawful marriage or acknowledged as a biological child by the father [Ishaque 2008:399]. Article 7 of the 2020 Cairo Declaration of the OIC on Human Rights enshrines the child's right to a name³⁶, while the 2004 Covenant on the Rights of the Child in Islam and the 2020 Draft of the Jeddah Convention proclaim the child's "right to a good name". However, the exercise of the right to lineage results not only in the right to be attributed the name of the lineage but also in the right to fosterage, custody, maintenance, guardianship, and inheritance. Although the right to a name and the right to lineage are connected, their scope and the legal consequences of their implementation differ significantly.

The right of the child to know his or her parents before adulthood is considered a novelty of the 1989 Convention on the Rights of the Child [Besson 2007:139]. The formula "as far as possible" limits the scope of obligations of States with regard to this right. Several States (the United Kingdom, the Czech Republic, the Grand Duchy of Luxembourg and the Republic of Poland) insisted on including the formula into the Article in order to allow national derogations from its provisions. They also supported the broad interpretation of the term "parents", which in some cases applies to "social" or "legal" parents, not "biological" ones [Besson 2007:143]. The right to lineage as enshrined in the 1994 Declaration on the Rights and Care of the Child in Islam implies not only unqualified right of the child to know and be cared for by his or her biological parents but also the right to keep a permanent legal relationship with them. In line with this approach, the 2004 Covenant on the Rights of the Child in Islam does not restrict the exercise of the child's right to know his or her parents. Article 7 of the 2020 Draft of the Jeddah Convention contains the formula "to the extent possible" which limits the child's right to know his or her "parents, relatives and foster mother".

The procedure of establishment of paternity is considered a measure protecting the child's right to know and be cared for by his or her parents [Krasitskaya 2011:110]. However, Russian legal scholars

express the position according to which the principle of primary consideration of the best interests of the child limits the judicial enforcement of establishment of paternity. As M.V. Antokol'skaya outlines, "the considerations of biological paternity should not so heavily prevail upon the social dimension of the establishment of paternity" [Krasitskaya 2011:107]. This approach differs significantly from the standpoint of the 1994 Declaration on the Rights and Care of the Child in Islam and Islamic legal doctrine in general as they assign primary importance to legal and social relationship between the biological parent and the child.

The secret of adoption restricts the right of the child to know and be cared for by his or her parents. In the Russian Federation, the secret of adoption may be disclosed to the child or to third parties only upon the consent of adoptive parents. Besides, the 1995 Family Code of the Russian Federation allows changing the name and the date of birth of an adopted child, which is considered a measure protecting the secret of adoption [Kornakova, Chigrina 2018:820]. The complex analysis of the Islamic legal doctrine and national legislation of OIC Members allows concluding that States applying Sharia law provisions to personal status consider concealing any information on the child's origin and biological parents unacceptable as a violation of the right to know and be cared for by the child's parents and the right to lineage.

The above analysis demonstrates that the right to lineage as enshrined in the decisions of the OIC is unknown to the 1989 Convention on the Rights of the Child as the main treaty aiming at codification and progressive development of international law norms in this area. At the same time, the right to lineage differs significantly in its scope from the right to a name and right, as far as possible, to know and be cared for by the child's parents which are enshrined in the above-mentioned Treaty.

5. Right to Lineage in National Legislation of the Members of the Organisation of Islamic Cooperation

Research into national legal systems of OIC Members demonstrates that their approaches to the right to lineage and the institution of adoption differ. The laws of several OIC Members enshrine the

³⁶ IPHRC: The Cairo Declaration of the Organization of Islamic Cooperation on Human Rights adopted by the Forty-Seventh Council of Foreign Ministers of the Organization of Islamic Cooperation on 28 November 2020. URL: https://oic-iphrc.org/ckfinder/userfiles/files/FINAL%20OHRD%20CLEAN%20%20VERSION%2024_12_2020.pdf (accessed date: 30.07.2024).

right of the child similar in its scope to the right to lineage. According to art. 11 of the 2014 Child Law of the Sultanate of Oman, “the child shall have the right to be attributed to and be cared for by his or her parents, and may not be attributed to other parents”³⁷. According to art. 16 of the Federal Law of the United Arab Emirates No. 3 of March 8, 2016, on Child Rights, “taking in consideration applicable law, the child shall have the right to meet his or her natural parents and family and receive their care and to maintain personal relationship and direct contact with both of them”³⁸. One should conclude that since its proclamation under the auspices of the OIC in 1994, the right to lineage has not received wide recognition in the national legislation of the Members of the Organisation.

As regards the institution of adoption, N. Yassari divides Muslim jurisdictions in three groups, first allowing adoption generally or to all confessions except Muslims, second explicitly prohibiting adoption, and third being silent on the issue in their statutory law [Yassari 2015:944]. Among OIC Members, one should distinguish States allowing full adoption, States allowing simple adoption, States allowing several forms of adoption and States prohibiting adoption. Certain OIC Members consider adoption the most preferable form of alternative care, like the Kyrgyz Republic³⁹, the Republic of Turkmenistan⁴⁰ and the Republic of Tajikistan⁴¹. The national legislation of these Republics, as well as that of the Republic of Azerbaijan, the Republic of Kazakhstan and the Republic of Uzbekistan, considers adopted children equal to biological children of the adoptive family in legal status and terminates legal relationship between the adoptive child and his or her biological parents upon adoption. The other OIC Members allowing full adoption are Malaysia, the Republic of

Cameroon, the Republic of Chad, the Republic of Côte d’Ivoire, the Republic of Gabon, the Republic of the Gambia, the Republic of Guinea, the Republic of Guinea-Bissau, the Republic of Indonesia, the Republic of Lebanon, the Republic of Niger, the Federal Republic of Nigeria, the Republic of Sierra Leone, the Federal Republic of Somalia, the Republic of Suriname, the Republic of Togo, the Republic of Türkiye and the Republic of Uganda. The Union of Comoros recognises the institution of simple adoption. Article 2 of the Family Code of the Comoros stipulates that “the adopted child retains his or her rights in the family of origin, including inheritance rights”.

The national legislation of the Federative Republic of Senegal, the Republic of Burkina-Faso and the Republic of Mali enshrine two forms of adoption, full adoption and limited adoption. Article 223 of the Family Code of Senegal and art. 470 of the 1989 Code on the Individual and the Family of the Republic of Burkina-Faso⁴² stipulate that “the adoption creates, by virtue of law, a relationship of filiation independent of the origin of the child”. According to art. 241 of the Family Code of Senegal, the full adoption results in the change of filiation of the child who is attributed to the adoptive family in all except prohibition on marriage. According to art. 247 of the Code, in cases of limited adoption the child retains his or her legal relationship with the biological family, including inheritance rights. The 2011 Personal Status and Family Code of the Republic of Mali⁴³ and the 2004 Civil Code of the Republic of Mozambique⁴⁴, distinguish two types of adoption as well. Article 34 of the former stipulates that adoption in the form of filiation confers upon the child the name of the adoptive parents, while adoption in the form of protection allows the child to retain his or her filiation. The 1977 Civil Code of Afghanistan⁴⁵ and the 1992

³⁷ Royal Decree No. 22/2014 of May 19, 2014, Promulgating the Child Law. – *The Official E-Government Services Portal of the Sultanate of Oman*. URL: https://oman.om/docs/default-source/default-document-library/child-lawe08c75f29e-404631be4b408bde1861e7.pdf?sfvrsn=5a3bbfdf_4 (accessed date: 05.08.2024).

³⁸ Government of the United Arab Emirates: Federal Law No. 3 of March 8, 2016 on Child Rights Law (Wadeema). URL: <https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/1176/download> (accessed date: 05.08.2024).

³⁹ Para 5 of the Regulation Concerning the Procedure of Adoption by the Citizens of the Kyrgyz Republic and Foreign Citizens adopted by the Decree of the Government of the Kyrgyz Republic No 733 of October 27, 2015.

⁴⁰ Para 2 Article 106 of the Family Code of the Republic of Turkmenistan of January 10, 2012.

⁴¹ Para 1 Article 125 of the Family Code of the Republic of Tajikistan of November 13, 1998.

⁴² Zatu an VII 13 du 16 novembre 1989 portant institution et application d'un code des personnes et de la famille du Burkina Faso. URL: <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1989/fr/103276> (accessed date: 05.08.2024).

⁴³ Secrétariat Général du Gouvernement de la République du Mali: Loi No.°2011 – 087 du 30 Décembre 2011 portant Code des personnes et de la famille. URL: <https://sgg-mali.ml/codes/mali-code-2011-personnes-famille-2.pdf> (accessed date: 05.08.2024).

⁴⁴ Suplemento. Boletim da República de Moçambique de 8 de Dezembro de 2004. P. 535.

⁴⁵ FAOLEX: Republic of Afghanistan Ministry of Justice. Official Gazette No. 353 in 4 Volumes of January 5, 1977. Unofficial Translation by Afghanistan Legal Education Project. URL: <https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC204715/> (accessed date: 05.08.2024).

Personal Status Act of Yemen distinguish adoption of the child of known lineage and the child of the unknown lineage. According to art. 228 of the Civil Code of Afghanistan, the former shall not have the effects resulting from the proof of parentage, such as alimony, custodial remuneration, inheritance and prohibition of marriage.

Article 149 of the Family Code of Morocco declares adoption legally void and producing no legal effects of lawful parental filiation. According to art. 46 of the Family Code of Algeria, adoption is prohibited by Sharia and the law. Article 4 of 1996 Child Law of the Arab Republic of Egypt⁴⁶ and art. 80 of the 2002 Family Code of the Republic of Djibouti⁴⁷ prohibit adoption as well. According to art. 70 of the 2017 Family Law of the Kingdom of Bahrain, “paternal filiation may not be established through adoption. Adoption does not produce legal effects of paternal filiation enshrined in Sharia law”. According to the initial reports submitted to the CRC, the national legislation of the Hashemite Kingdom of Jordan, the Islamic Republic of Pakistan, the Republic of Iraq, the Republic of Mauritania, the United Arab Emirates, the Kingdom of Saudi Arabia, the Sultanate of Oman, the State of Palestine, the State of Kuwait, and the Republic of Yemen prohibits adoption.

The above analysis demonstrates that the approaches of the OIC Members to the right to lineage and its legal effects vary significantly and only allows

concluding that protection of lineage and application or prohibition of adoption remain a matter within domestic jurisdiction of States.

6. Conclusion

The OIC unites 57 countries in Africa, Asia and Europe. The present article demonstrates the variety of their approaches to the protection of lineage which affect the legal regulation of the mechanisms of alternative care for children deprived of family environment, including adoption. Protection of lineage should be regarded as a national and regional particularity of certain, but not all, OIC Members originating in their historical, cultural and religious backgrounds. The analysis above does not allow concluding that a uniform approach to implementation of the right to lineage exists among OIC Members. It demonstrates, however, that States assert different international legal positions concerning interpretation and application of the universal treaty norms governing the right of the child, as far as possible, to know and be cared for by his or her parents, as well as the right of a child temporarily or permanently deprived of the family environment to special protection and assistance provided by the State. The evidence suggests that interpretation and application of such norms governing adoption remain a matter within domestic jurisdiction of States.

References

1. Afrat S. Islamic Perspective of Children's Right: an Overview. – *Asian Journal of Social Sciences and Humanities*. 2013. Vol. 2. No. 1. P. 299-307.
2. Aissaoui F. et al. Protection of the Child of Unknown Lineage: the Convention on the Rights of the Child and Algerian Legislation. – *Russian Law Journal*. 2024. Vol. 12. No. 2. P. 124-135.
3. Assim U.M., Sloth-Nielsen J. Islamic Kafalah as an Alternative Care Option for Children Deprived of a Family Environment. – *African Human Rights Law Journal*. 2014. Vol. 14. No. 2. P. 322-345.
4. Baderin M.A. A Macroscopic Analysis of the Practice of Muslim State Parties to International Human Rights Treaties: Conflict or Congruence? – *Human Rights Law Review*. 2001. Vol. 1. No. 2. P. 265-303.
5. Besson S. Enforcing the Child's Right to Know her Origins: Contrasting Approaches under the Convention on the Rights of the Child and the European Convention on Human Rights. – *International Journal of Law, Policy and the Family*. 2007. Vol. 21. No. 2. P. 137-159.
6. Chernichenko S.V. *Prava cheloveka, imperativnyie normy i bazovyye printsipy mezhdunarodnogo prava.: zapiski iurista mezhdunarodnika [Human Rights, Peremptory Norms and Fundamental Principles of International Law.: Notes of an International Lawyer]*. Moscow: Nauchnaia Kniga Publ. 2021. 424 p. (In Russ.)
7. Hashemi K. Religious Legal Traditions, Muslim States and the Convention on the Rights of the Child: An Essay on the Relevant UN Documentation. – *Human Rights Quarterly*. 2007. Vol. 29. No. 1. P. 194-227.
8. Ibrahim A. Blood relationship as a ground of inheritance under Islamic Law – *Journal of Malaysian and Comparative Law*. 1979. Vol. 6. No. 2. P. 163-238.
9. Ishaque S. Islamic Principles on Adoption: Examining the Impact of Illegitimacy and Inheritance Related Concerns in Context of a Child's Right to an Identity. – *International Journal of Law, Policy and the Family*. 2008. Vol. 22. No. 3. P. 393-420.

⁴⁶ Egypt: Law No. 12 of 1996 Promulgating the Child Law Amended by Law No. 126 of 2008. URL: <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1996/en/119718> (accessed date: 06.08.2024).

⁴⁷ Ministère de la Femme et de la Famille de la République du Djibouti: Loi n°152/AN/02/4ème L portant Code de la Famille de 31 janvier 2002. URL: <https://famille.gouv.dj/uploads/Textes/49887676991fe80ad479afa3fac8f9cf.pdf> (accessed date: 06.08.2024).

10. Kornakova S.V., Chigrina E.V. Razglasheniye tayny usynovleniya: problemy realizatsii kompleksnogo pravovogo mekhanizma v Rossiskoi Federatsii [The Disclosure of the Secret of Adoption: the Issues of Realisation of the Complex Legal Mechanism in the Russian Federation]. – *Vserossijskij kriminologicheskij zhurnal [Russian Journal of Criminology]*. 2018. Vol. 12. No. 6. P. 817-825. (In Russ.)
11. Korol' I.G. O prave rebenka na imya [On the Right of the Child to a Name]. – *[Rossijskaja justiciya] Russian Justice System*. 2007. Vol. 19. No. 11. P. 31-38.
12. Krasitskaya L.V. Priznaniye (ustanovleniye) ottsovstva po resheniiu suda kak sposob zashchity prava rebenka znat' svoikh roditel'ei [Recognition (Establishment) of Paternity as a Means of Protection of the Rights of the Child to Know his or her Parents]. – *Vlast' Zakona [The Rule of Law]*. 2011. Vol. 6. No. 2. P. 101-110.
13. *Kurs mezhdunarodnogo prava: otrasli mezhdunarodnogo prava. V VII tomakh: Tom V. [Course of International Law: Branches of International Law. In VII Volumes. Volume V]*. Otv. red. V. S. Vereshchetin. Moscow: Nauka Publ. 1992. 336 p. (In Russ.)
14. Marotta A. Italy and Kafalah: Reinventing Traditional Perspectives to Accomodate Diversity. – *Italian Law Journal*. 2016. Vol. 2. P. 191-211.
15. Religious dimensions of child and family life: Reflections on the UN convention on the rights of the child. Eds. Coward H.G., Cook P.H. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press. 1996. 207 p.
16. Rohe M. *Islamskoe pravo: istoriya i sovremennost' [Islamic Law: History and Modernity]*. Obshch. red. D. Mukhetdinovoi Moscow: Medina Publ. 2019. 576 p. (In Russ.)
17. Ruzakova O.A. Pravo rebenka na dostoinoye imya: sovremennyye problemy, voprosy sovershenstvovaniya rossiyskogo zakonodatel'stva [The right of a child to a decent name: modern problems, issues of improving Russian legislation]. – *Aktual'nye problemy rossiyskogo prava [Actual Problems of Russian Law]*. 2017. Vol. 78. No. 5. P. 87-91. (In Russ.)
18. Sabreen M. Parentage: A Comparative Study of Islamic and Pakistani Law. – *Frontiers of Legal Research*. 2013. Vol. 1. No. 2. P. 21-36.
19. Shershen' T.V. O prave rebenka na imya i uchete yego interesa pri prisvoenii imeni [On the Child's Rights to the Name and Consideration of his Interests When Attributing a Name]. – *Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki [Perm University Herald. Juridical Sciences]*. 2007. No. 8. P. 97-101. (In Russ.)
20. Temnikova N.A. Pravo rebenka na imya i protsedura ustanoveniya ottsovstva [The Rights of the Child to a Name and the Procedure of Establishment of Paternity]. – *Вестник Омского университета [Herald of Omsk University]*. 2011. Vol. 60. No. 2. P. 200-202. (In Russ.)
21. The Encyclopaedia of Islam. Vol. VII. Eds. Bosworth C.E., Van Donzel E., Heinrichs W.P. and the late Ch. Pellat. Leiden: Brill. 1993. 1113 p.
22. The Islamic Law of Personal Status. Ed. Nasir J.J. Leiden: Brill. 1990. 358 p.
23. The Islamic Law of Personal Status. Third Revised and Updated Edition. Ed. Nasir J.J. Leiden: Brill. 2009. 272 p.
24. Yassari N. Adding by Choice: Adoption and Functional Equivalents in Islamic and Middle Eastern Law. 1990. – *American Journal of Comparative Law*. 2015. Vol. 63. No. 4. P. 927-962.

Информация об авторе

Валерия Викторовна ПЧЕЛИНЦЕВА,

аспирант, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел России

Вернадского пр-т, д. 76, Москва, 119454, Российская Федерация

lintseva.l@gmail.com

ORCID: 0000-0003-2231-0598

About the Author

Valeria V. PCHELINTSEVA,

Postgraduate student, Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

76, Vernadskogo Ave., Moscow, Russian Federation, 119454

lintseva.l@gmail.com

ORCID: 0000-0003-2231-0598



DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-70-84>

Исследовательская статья
УДК: 341
Поступила в редакцию: 20.08.2024
Принята к публикации: 21.10.2024

Виталия Валерьевна ТКАЧЁВА

Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации
Вернадского п-т, д. 76, Москва, 119454, Российская Федерация
vitaliya.tkachyova@yandex.ru
ORCID: 0009-0002-7513-5797

АКТУАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ИНСТИТУТА ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО УБЕЖИЩА

ВВЕДЕНИЕ. *Использование помещений дипломатических представительств с целью предоставления в них убежища лицам, подвергающимся преследованию со стороны властей государства пребывания по политическим мотивам, прослеживается в практике разных стран на протяжении многих столетий. Тем не менее институт дипломатического убежища остается одним из дискуссионных и малоизученных вопросов международного права. Это обусловлено рядом причин. В первую очередь общее международное право исходит из неправомерности предоставления убежища в зарубежных органах внешних сношений. Кроме того, отсутствие единообразия в правовой регламентации рассматриваемого института неизбежно приводит к расхождениям в позициях государств в отношении оснований, порядка и сроков предоставления дипломатического убежища. Непосредственная в связи с этим практика государств служит основанием для возникновения потенциальных международных споров, а также случаев нарушения неприкосновенности дипломатических представительств государством пребывания, злоупотребления иммунитетами и привилегиями и вмешательства во внутренние дела со стороны аккредитующего государства. Несмотря на наличие договорной*

базы, регулирующей порядок предоставления данного вида убежища, практика стран латиноамериканского региона в равной степени противоречива. В статье проведен анализ актуальных международно-правовых вопросов института дипломатического убежища, включая его роль и место в международном праве, а также особенности процедуры его предоставления как в странах Латинской Америки, так и в государствах других регионов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. *Проведение настоящего исследования осуществлялось на основе универсальных международных соглашений, а также актов регионального характера, применимых к институту дипломатического убежища. При подготовке статьи автор также опирался на работы ведущих российских и зарубежных специалистов в области международного права и дипломатии. Кроме того, источником послужили судебные решения, вынесенные в результате рассмотрения споров, возникших в ходе реализации рассматриваемого института. В рамках работы среди общенаучных и специальных методов познания использовались следующие: диалектический метод, методы анализа и синтеза, дедукции и индукции, сравнительно-правовой и историко-правовой методы.*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В статье проведен комплексный анализ правовой основы института дипломатического убежища, а также рассмотрена специфика регионально-го подхода стран Латинской Америки к праву предоставления убежища в помещениях дипломатических представительств. Особое внимание уделено практическим аспектам института дипломатического убежища, включая имеющуюся судебную практику, что способствовало выявлению существующих коллизий универсальных и региональных международно-правовых норм, применимых к рассматриваемому институту, в частности, в отношении неприкосновенности помещений дипломатических представительств и недопустимости вмешательства во внутренние дела государства пребывания.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ. По итогам проведенного исследования автор приходит к выводу, что отсутствие всеобщего международно-правового признания института дипломатического убежища, единообразной практики государств, а также универсального международного договора, регламентирующего вопросы его предоставления, способствует формированию опасной тенденции: государства пребывания применяют противоправные меры

в отношении загранучреждений и нарушают, таким образом, не только неприкосновенность их помещений, но и нормы международного права, оправдывая свои действия необходимостью преследования неугодных лиц, укrywшихся в них, чем подрывают основы безопасности самих государств. Возникающие в связи с этим межгосударственные споры обуславливают необходимость дальнейшей регламентации института дипломатического убежища с целью выработки единого правового подхода к нему.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дипломатическое право, дипломатическое убежище, дипломатическое представительство, дипломатический иммунитет, органы внешних сношений, латиноамериканский регион

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Ткачёва В.В. 2024. Актуальные международно-правовые вопросы института дипломатического убежища. – Московский журнал международного права. № 4. С. 70–84. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-70-84>

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-70-84>

Research article

UDC: 341

Received 20 August 2024

Approved 21 October 2024

Vitaliya V. TKACHEVA

Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
76, Vernadskogo Ave., Moscow, Russian Federation, 119454
vitaliya.tkachyova@yandex.ru
ORCID: 0009-0002-7513-5797

CURRENT INTERNATIONAL LEGAL ISSUES OF THE INSTITUTE OF DIPLOMATIC ASYLUM

INTRODUCTION. The granting of asylum to people persecuted by the host State on political grounds in the premises of diplomatic missions can be traced in the practice of different countries for many centuries.

Nevertheless, the institution of diplomatic asylum remains one of the most controversial issues of international law and diplomatic practice primarily due to the lack of international legal regulation, which leads

to divergent positions of states on the admissibility of granting diplomatic asylum. In practice, inconsistent practice in this regard serves as a basis for potential international disputes, as well as violation of the inviolability of diplomatic missions by the host State, abuse of immunities and privileges and interference in internal affairs by the accrediting State. Despite the existence of a treaty framework governing the procedure for granting this type of asylum, the practice of Latin American countries is also inconsistent and contradictory. In this regard, the article analyzes the current international legal issues of the institution of diplomatic asylum, including its role and place in international law, along with the peculiarities of the procedure for granting it both in Latin American countries and in states of other regions.

MATERIALS AND METHODS. The present study was carried out on the basis of universal international agreements, as well as regional acts applicable to the institution of diplomatic asylum. In preparing the article, the author also took into account works of leading Russian and foreign experts in the field of international law and diplomacy. In addition, for the purposes of the research court decisions rendered on the disputes arising in the course of the implementation of the institution in question were analysed. The following general scientific and special methods of cognition were used in the work: dialectical method, methods of analysis and synthesis, deduction and induction, comparative-legal and historical-legal methods.

RESEARCH RESULTS. The article provides a comprehensive analysis of diplomatic asylum institution legal basis, including the inherent characteristics of Latin American regional approach to the right of asylum in premises of legations. Special attention was paid to the practical aspects of the question under con-

sideration, based on existing case law, that facilitated the identification of conflicts of universal and regional legal norms applicable to the institution of diplomatic asylum. In particular, legal uncertainty was revealed regarding the correlation between the sovereignty of the host State and the inviolability of the premises of the diplomatic mission of the accrediting State.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS. Based on the conducted research, the author concludes that the absence of universal international legal recognition of the diplomatic asylum institution, uniform practice of states and universal international treaty regulating the issues of its granting contribute to the formation of a dangerous trend: host states apply illegal measures against foreign diplomatic missions thus infringing not only the inviolability of its premises, but also the provisions of international law, justifying their wrongful acts by the need to prosecute undesirable persons who have taken refuge on the foreign state's territory, thereby undermining the foundations of international security. The interstate disputes arising in this regard necessitate further reclamation of the institute of diplomatic asylum to develop a unified legal approach to the matter at issue.

KEYWORDS: Diplomatic law, diplomatic asylum, diplomatic mission, diplomatic immunity, foreign relations authorities, Latin American region

FOR CITATION: Tkacheva V.V. Current International Legal Issues of the Institute of Diplomatic Asylum. – *Moscow Journal of International Law*. 2024. No. 4. P. 70–84. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-70-84>

The author declares the absence of conflict of interest.

1. Введение

На протяжении многих столетий начиная с образования древнейших государств, лица, спасавшиеся от преследования со стороны местных властей, обращались за убежищем в храмы, святость которых наделяла их неприкосновенностью, а впоследствии с развитием международных отношений и появлением первых постоянных посольств в середине

XV века – в дипломатические представительства иностранных государств, расположенные на территории государства пребывания [Галенская 1968:5].

Практика предоставления убежища в помещениях или на территории дипломатических представительств продолжает развиваться по пути все более широкого применения и в XXI в. Подтверждением этому служит ряд резонансных случаев, включая предоставление убежища Дж. Ассанжу в посольстве Эквадора в Лондоне

в 2012 г., а также бывшему вице-президенту Эквадора Х. Гласу в посольстве Мексики в г. Кито, Эквадор, в апреле 2024 г.

При этом институт дипломатического убежища остается одним из наиболее дискуссионных и малоизученных вопросов международного права. Отсутствие единообразия в правовом регулировании рассматриваемого вопроса, признание дипломатического убежища в отдельных государствах и регионах в противовес недопустимости его предоставления в контексте положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. (далее – Венская конвенция 1961 г., Конвенция) создают основание для межгосударственных споров.

2. Роль и место института дипломатического убежища в международном праве

Несмотря на сложившуюся практику применения института дипломатического убежища, мировым сообществом так и не был разработан унифицированный проект универсального международного договора, который регламентировал бы порядок реализации данного механизма защиты [Ястребова 2023:60].

Одна из первых попыток кодификации института дипломатического убежища была принята Институтом международного права, по итогам сессии которого в 1950 г. была принята резолюция «Убежище в международном публичном праве» [Тюренкова 2017:117].

Согласно ст. 2 указанного документа, под убежищем подразумевается «покровительство, предоставляемое государством на своей территории или в каком-либо другом месте, находящемся под контролем его органов, лицу, которое его ищет»¹.

При этом в п. 1 ст. 3 резолюции перечислены места, которые можно использовать для указанных целей. В частности, наряду с военными кораблями, военно-воздушными судами и иными

местами, подконтрольными органам государства пребывания, к ним были отнесены помещения дипломатических представительств и консульских учреждений.

По сути, вышеизложенные положения служат подтверждением правомерности экстерриториального убежища, в том числе против актов насилия, исходящих от местных властей. Тем не менее в документе не были учтены нормы, применяемые государствами в их практике предоставления убежища, а также отсутствие его признания со стороны большинства стран мирового сообщества. В связи с этим резолюция Института международного права не внесла значительных изменений в практику государств и скорее представляла собой попытку развития рассматриваемого института, нежели кодификации в вопросе предоставления убежища [Heijer 2012:118].

Еще один шаг в направлении разработки правовых начал института дипломатического убежища был предпринят Комиссией международного права Организации Объединенных Наций (далее – КМП ООН, Комиссия) в рамках работы над проектом Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.²

В частности, в *travaux préparatoires* Комиссии был отражен ряд предложений о включении в статью о неприкосновенности помещений дипломатических представительств специальной оговорки, которая предусматривала бы запрет на их использование для укрытия общеуголовных преступников. Предполагалось в порядке исключения допустить возможность предоставления убежища в отношении лиц, обвиненных в совершении правонарушений, если только при выдвигании последних явно наличествовали политические мотивы. Претендовать на подобную защиту могли также беженцы в обстоятельствах непосредственной угрозы жизни или чрезвычайной ситуации. В остальных лица, обратившиеся за таким убежищем, подлежали немедленной выдаче по запросу местных властей³.

¹ Institut de Droit International. Session de Bath 1950 (Resolution I). 'L'asile en droit international public (à l'exclusion de l'asile neutre)'. URL: https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1950_bath_01_fr.pdf (accessed date: 12.05.2024).

² UN General Assembly: Question of Diplomatic Asylum. Report of the Secretary-General. 2 September 1975. A/10150 (Part II). Para. 173. URL: https://www.unhcr.org/protection/historical/3ae68bf10/question-diplomatic-asylum-report-secretary-general.html?__cf_chl_tk=llrNyxVihX.XJkBiEX9lztq73737drbWu8_m_AGkxrA-1672926591-0-gaNycGzNGeU#_ftn8 (accessed date: 12.05.2024).

³ UN General Assembly: Question of Diplomatic Asylum. Report of the Secretary-General. 2 September 1975. A/10150 (Part II). Para. 172.

Член КМП ООН от СССР профессор Г.И. Тункин выступал за исключение из статьи помимо прочего ссылки на политические мотивы в качестве правомерного основания для укрытия лиц в помещениях представительств при условии, если в отношении них компетентными государственными органами уже был выдан ордер на арест или задержание [Behrens 2017:179].

В целом большинство членов Комиссии придерживались концепции сохранения неприкосновенности дипломатических представительств при любых обстоятельствах. Даже их использование в целях, прямо не относящихся к функциям зарубежных органов внешних сношений, включая укрытие лиц, преследуемых властями, не снимает с государства обязанности уважать неприкосновенность их помещений⁴.

Однако в силу неоднозначности и сложности вопроса закрепление соответствующего положения в проекте конвенции без предварительного изучения означало бы действие *ultra vires* со стороны Комиссии, в результате чего дипломатическое убежище было отнесено к отдельному предмету исследования.

Тем не менее несмотря на то что рассматриваемый институт так и не нашел отражения в Венской конвенции 1961 г., ряд ее положений затрагивает некоторые аспекты, связанные с его реализацией.

В частности, в особом мнении, приложенном к решению Международного Суда ООН по Делу об убежище 1950 г. относительно укрытия перуанского политика Виктора Рауля Айя де ла Торре в посольстве Колумбии в Лиме, судья Рид отметил, что обоснованием правомерности предоставления убежища в дипломатических представительствах служит их иммунитет⁵.

Так, п. 1 ст. 22 Венской конвенции 1961 г. закрепляет принцип неприкосновенности помещений загранучреждений [Denza 2016:6]. Согласно данному положению «власти государства пребывания не могут вступать в эти помещения иначе, как с согласия главы представительства»⁶.

При этом п. 2 также возлагает на государство пребывания обязанность защищать помещения представительства «от всякого вторжения или нанесения ущерба, нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства»⁷. В соответствии со ст. 45 Конвенции данное требование должно соблюдаться даже в случае «разрыва дипломатических сношений между двумя государствами либо окончательного или временного отозвания представительства»⁸.

Сфера применения п.1 уточняется п. 3 ст. 22 Венской Конвенции 1961 г., в котором закреплено, что «предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество, а также средства передвижения представительства, пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий»⁹.

Хотя упомянутая статья прямо не предусматривает допустимость предоставления дипломатического убежища, тем не менее, защищая неприкосновенность дипломатических помещений от юрисдикции принимающего государства, она, по сути, препятствует вмешательству иностранных государств в процедуру предоставления убежища.

Учитывая абсолютный характер неприкосновенности дипломатических представительств, даже при злоупотреблении этим иммунитетом со стороны аккредитуемого государства путем укрытия преследуемых лиц в их помещениях, на территорию посольства нельзя вступать без согласия его главы. *De facto* это приводит к принудительному признанию рассматриваемого института.

Кроме того, Конвенция также вводит ряд ограничений на практику применения данного механизма защиты.

Так, согласно п. 1 ст. 41 Венской конвенции 1961 г. «лица, пользующиеся привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания», а также «не вмешиваться во внутренние дела этого государства»¹⁰. Документ, однако, не дает никаких

⁴ UN General Assembly: Question of Diplomatic Asylum. Report of the Secretary-General. 2 September 1975. A/10150 (Part II). Para. 174.

⁵ Colombian-Peruvian Asylum Case (Colombia v Peru). Judgment of 20 November 1950. – *ICJ Reports*. 1950. No. 7. Dissenting Opinion by Judge Read. P. 317. URL: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/7/007-19501120-JUD-01-03-EN.pdf> (accessed date: 26.04.2024).

⁶ Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml (дата обращения: 26.04.2024).

⁷ Там же.

⁸ Там же.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же.

разъяснений относительно концепции вмешательства и того, подпадает ли под ее действие предоставление убежища в помещениях представительства [Behrens 2014:325].

Международный Суд ООН в своем решении по Делу об убежище 1950 г. постановил, что предоставление убежища в помещениях зарубежных органов внешних сношений, расположенных на территории государства, в котором было совершено правонарушение, способствует уклонению преследуемого лица от правосудия, что, в свою очередь, является вмешательством во внутренние дела этого государства. По мнению Суда, подобное нарушение неприемлемо, если только государство пребывания не придерживается такой же практики и, соответственно, признает институт дипломатического убежища¹¹.

Однако представленная Международным Судом ООН впоследствии в рамках Дела Айя де ла Торре 1951 г. интерпретация Гаванской конвенции об убежище 1928 г., по сути, предусматривает обратное, так как закрепляет возможность укрытия политических правонарушителей в дипломатических представительствах [Зинченко 2011:258].

В отношении принципа невмешательства представляется целесообразным также отметить, что Венская конвенция 1961 г. не содержит каких-либо положений, обеспечивающих принудительное исполнение п. 1 ст. 41 Конвенции. В совокупности с абсолютным характером неприкосновенности помещений дипломатических представительств, закрепленной в ст. 22 Венской конвенции, ст. 41, наоборот, в определенной степени способствует реализации этой практики.

Более того, включение формулировки «без ущерба для их привилегий и иммунитетов» в п. 1 ст. 41 четко указывает на то, что даже в случаях нарушения упомянутой статьи со стороны дипломатических агентов аккредитующего государства, обязанность государства пребывания уважать привилегии и иммунитеты указанных лиц остается незатронутой.

Тем не менее в современной дипломатической практике обеспечение убежищем лица, преследуемого по политическим основаниям, в поме-

щениях зарубежных органов внешних сношений, рассматривается в качестве нарушения суверенитета государства, на территории которого они располагаются. И.П. Блищенко в связи с этим охарактеризовал его как «институт вмешательства во внутренние дела государства» [Блищенко 1990:75].

Положения Венской конвенции 1961 г. также имеют отношение к институту дипломатического убежища в части основных направлений деятельности представительств. Так, п. 3 ст. 41 нацелен на предотвращение потенциальных случаев злоупотребления их неприкосновенностью путем ограничения использования помещений представительств «в целях, несовместимых с его функциями»¹².

Следует, однако, отметить, что перечень последних, закрепленный в ст. 3 документа, не является исчерпывающим. Хотя предоставление дипломатического убежища политическим правонарушителям, бесспорно, не относится к функциям представительства, Конвенция также не содержит положений, запрещающих использовать его помещения именно таким образом. Более того, необходимо учитывать, что оговорка, содержащаяся в ст. 41, по сути, предусматривает возможность закрепления иных функций представительств, включая предоставление дипломатического убежища, в других нормах общего международного права или в специальных соглашениях, действующих между аккредитующим государством и государством пребывания [Värk 2012:251]. Вместе с тем для отнесения практики предоставления дипломатического убежища к признанным международным сообществом функциям представительств она должна отвечать всем требованиям нормы обычного права, включая последовательность и общность государственной практики, а также наличие *opinio juris*, т. е. убежденности государств в юридической обязательности таких правил поведения¹³. Однако подобные доказательства трудно представить, по крайней мере, в отношении утверждения о том, что предоставление дипломатического убежища в целом и без каких-либо дополнительных оговорок должно приниматься в качестве дипломатической функции *sui generis* [Behrens 2014:328].

¹¹ Colombian-Peruvian Asylum Case (Colombia v. Peru). Judgment of 20 November 1950.

¹² Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.

¹³ Вылегжанин А.Н. *Международное право*. В 2-х частях. Часть 1. Учебник для вузов. А.Н. Вылегжанин [и др.]. Отв. ред. А.Н. Вылегжанин. 4-е изд. М.: Издательство Юрайт. 2021. С. 60.

Кроме того, нарушение обязанности, налагаемой п. 3 ст. 41, само по себе не является достаточным основанием для применения государством пребывания мер, нарушающих неприкосновенность помещений дипломатического представительства [Denza 2016:385]. Международный Суд ООН в Деле о дипломатическом и консульском персонале США в Тегеране 1980 г., в частности, отметил, что при разработке Венской конвенции 1961 г. в ее положениях были предусмотрены средства, позволяющие государствам противостоять потенциальным злоупотреблениям иммунитетом и привилегиями¹⁴. В частности, государства могут прибегнуть к разрыву дипломатических отношений либо признать лицо *persona non grata*.

Тем не менее предоставление убежища в принадлежащих дипломатическому представителю помещениях расценивается как злоупотребление дипломатическими иммунитетом, функциональный характер которых закреплен в Венской конвенции 1961 г.¹⁵

3. Особенности регионального подхода стран Латинской Америки к институту дипломатического убежища

Латиноамериканские государства в силу историко-политических особенностей их развития традиционно отводят дипломатическому убежищу более значимое место, чем это принято в других регионах мира.

Присущая региональному подходу к институту специфика находит свое отражение в выходящем за рамки Венской конвенции 1961 г. международно-правовом обычае предоставления убежища не только в посольствах и консульствах, но и на военных кораблях, военно-воздушных судах, а также в военных лагерях [Ястребова 2023:68].

Кроме того, практическая реализация данного механизма защиты основывается на собственной региональной международно-правовой регламентации рассматриваемого института¹⁶.

Основополагающими международными договорами в этой области являются Гаванская конвенция об убежище 1928 г., Конвенция о политическом убежище, подписанная в Монтевидео в 1933 г., а также Каракасская конвенция о дипломатическом убежище 1954 г.

Порядок предоставления дипломатического убежища, установленный вышеупомянутыми региональными конвенциями, обладает рядом отличительных черт.

В первую очередь страны Латинской Америки и Карибского бассейна исходят из нераспространения принципа взаимности на правоотношения, связанные с практической реализацией института дипломатического убежища [Гуляева 2023:29]. Иначе говоря, решение об убежище, как форма выражения суверенитета аккредитующего государства, не должно согласовываться с позицией государства, на территории которого планируется его предоставить. Более того, опираясь на концепцию так называемой местной терпимости, государства имеют возможность реализовывать данную практику на территориях стран, официально не признающих рассматриваемый институт, с молчаливого согласия последних. Безусловно, это способствует распространению дипломатического убежища за пределы латиноамериканского региона. Так, государства, не являющиеся участниками региональных конвенций, могут применять их положения в качестве обычно-правовых норм при предоставлении убежища.

Закрепляя право каждого человека, вне зависимости от его гражданской принадлежности, обращаться за защитой в помещения зарубежных органов внешних сношений, государства, таким образом, подтверждают применимость к случаям предоставления дипломатического убежища принципа недискриминации, что отражает гуманитарный характер, присущий данной практике (ст. 20 Каракасской конвенции).

Для латиноамериканского региона также характерно нормативное ограничение сферы применения рассматриваемого института по кругу

¹⁴ Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v Iran). Judgment of 24 May 1980. – *ICJ Reports*. 1980. No. 64. P. 38. Para. 83-87. URL: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/64/064-19800524-JUD-01-00-EN.pdf> (accessed date: 13.04.2024).

¹⁵ Киселева Е.В. *Международно-правовое регулирование миграции*. Учебное пособие для вузов. 3-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во Юрайт. 2024. С. 100.

¹⁶ Ястребова А.Ю., Анисимов И.О., Гуляева Е.Е. 2024. *Право внешних сношений*. Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт. С. 50-51.

лиц. Так, в соответствии с историческим развитием практики, нашедшим отражение в ст. 3 упомянутой Конвенции, предоставление дипломатического убежища допустимо только в отношении лиц, преследуемых по политическим основаниям. Данное право не распространяется на лиц, обвиняемых или осужденных за совершение общеуголовных преступлений, а также лиц, дезертировавших из сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил. Обеспечение их укрытием в помещениях представительств является незаконным и влечет за собой требование покинуть территорию представительства или, в зависимости от обстоятельств, их немедленную выдачу по запросу местных властей.

При этом необходимо учитывать, что в современном международном праве отсутствует общепризнанное определение понятия «политического преступления». Квалификация осуществляется в каждом конкретном деле. В контексте данного вопроса Международный Суд ООН при рассмотрении Дела об убежище в 1950 г. исходил из правомерности предоставления дипломатического убежища только в тех случаях, когда правосудие больше не подчиняется верховенству закона. Иными словами, политический мотив может иметь место, когда отправление правосудия подрывается мерами, явно обусловленными политическими целями¹⁷.

С целью усиления гарантии справедливости процесса предоставления убежища за аккредитующим государством было закреплено право в одностороннем порядке осуществлять квалификацию деяния беженца¹⁸ в качестве политического или уголовного (ст. 2 Гаванской конвенции об убежище 1928 г.).

В отношении данного вопроса Международный Суд ООН в решении по вышеупомянутому делу, напротив, признал данную норму неприменимой к правоотношениям, связанным с предоставлением дипломатического убежища.

Как следствие, односторонняя квалификация преступного деяния, осуществленная государством, оказывающим такого рода покровительство, не должна порождать каких-либо обязательств для государства пребывания.

Тем не менее позднее рассматриваемый вопрос был детально регламентирован ст. 3 Каракасской конвенции 1954 г., в частности, закрепившей за страной убежища право односторонней квалификации преступлений беженца.

Примечательно, что там, где Международный Суд ООН проявил осторожность и склонность в пользу государства пребывания, страны Латинской Америки предприняли смелые шаги, направив закон в противоположное русло [Värk 2012:248].

Еще одна ключевая региональная характеристика института проявляется в использовании дипломатического убежища в качестве временного экстерриториального механизма защиты индивидов. Особого внимания в данном контексте заслуживает концепция «крайней меры», которая отражает попытки латиноамериканских государств ограничить практику предоставления убежища, предпринятые с целью устранения угрозы суверенитету государства пребывания, путем установления требования предоставления убежища только в чрезвычайных ситуациях и тех случаях, когда это абсолютно необходимо [Hughes-Gerber 2021:119]. Подтверждением данной позиции также служит решение Международного Суда ООН по Делу об убежище 1950 г., согласно которому убежище должно носить кратковременный характер и служить средством обеспечения безопасности данного лица, ограждая его от самосуда противника¹⁹.

Анализ вышеупомянутых стандартов предоставления дипломатического убежища позволяет отслеживать тенденцию, выражающуюся в наделении государств убежища дискрецией в вопросах квалификации, будь то правонарушение или степени чрезвычайности ситуации, что, безусловно, сопряжено с определенным риском злоупотребления с их стороны.

Подобная двойственность, сложившаяся в международном праве в отношении института дипломатического убежища, не только влечет за собой появление определенных коллизий универсальных и региональных международно-правовых норм, но и является предметом потенциальных споров между государствами.

¹⁷ Colombian-Peruvian Asylum Case (Colombia v. Peru). Judgment of 20 November 1950.

¹⁸ В данном контексте термин «беженец» используется в значении, закрепленном в региональных соглашениях, действующих в Латинской Америке (Гаванская конвенция об убежище 1928 г., Конвенция Монтевидео о политическом убежище 1933 г. и Каракасская конвенция о дипломатическом убежище 1954 г.) и регламентирующих институт дипломатического убежища, а не по смыслу Конвенции о статусе беженцев 1951 г.

¹⁹ Colombian-Peruvian Asylum Case (Colombia v. Peru). Judgment of 20 November 1950.

4. Практика предоставления дипломатического убежища в латиноамериканском регионе и за его пределами

Отсутствие всеобщего международно-правового признания института дипломатического убежища обусловлено также различиями в подходах государств к его практической реализации.

В частности, Ю.Г. Демин отмечал следующую тенденцию: «Если одни западные государства (Бельгия, Франция) действительно допускают предоставление дипломатического убежища, но только в признающих его латиноамериканских странах, то другие (например, США, Великобритания), укрывая местных граждан в помещениях дипломатических представительств, официально заявляют о том, что не признают этого института» [Демин 1992:95].

Вместо этого в случаях, когда возникает необходимость в предоставлении защиты лицу в помещениях дипломатических представительств в государствах, отрицающих правомерность практики, вторая категория стран, как правило, руководствуется институтом временного укрытия.

В отличие от дипломатического убежища, временное укрытие состоит в оказании помощи беженцам в условиях чрезвычайных обстоятельств и от непосредственной расправы. При этом он не изымается из-под юрисдикции государства пребывания, как в случае с дипломатическим убежищем. Предполагается, что после получения соответствующих гарантий справедливого судебного разбирательства, лицо подлежит выдаче местным властям.

Тем не менее в практике США последнее требование нередко нарушалось. Например, в 1899 г. гражданин Гаити У. Дювивье, спасаясь от ареста за причастность к сговору с целью свержения правительства, обратился в консульство США за убежищем, но был вскоре насильно задержан отрядом солдат, проникшим на его территорию. По требованию американского посла беженец был возвращен в консульство.

Штаты были убеждены, что У. Дювивье не будут предоставлены гарантии справедливого судебного разбирательства, пока у власти находится нынешний режим, даже если он получит соответствующие заверения в безопасности от президента Гаити. Руководствуясь этими соображениями, Государственный департамент США заявил о том, что даже в случае запроса о выдаче со стороны государства пребывания, он не будет исполнен [Ronning 1965:117-118].

Данный случай демонстрирует характерную для стран, придерживающихся концепции временного укрытия (США, Канада, Великобритания), практику отнесения вопроса определения степени восстановления закона в государстве пребывания к дискреции государств, предоставляющих такую защиту. Соответственно, принятие решения о выдаче лица для судебного преследования также относится к прерогативе таких государств [Демин 1992:96].

Кроме того, несмотря на отсутствие признания правомерности практики дипломатического убежища, многие государства тем не менее предусматривают возможность его предоставления в исключительных случаях в инструкциях для дипломатических и консульских сотрудников [Heijer 2013:410]. Например, в Руководстве по иностранным делам 2024 г., изданном Государственным департаментом США, закреплено, что, учитывая широкий спектр обстоятельств, которые могут возникнуть, запросы иностранных граждан о предоставлении защиты в помещениях дипломатических представительств должны рассматриваться в индивидуальном порядке. При этом в документе уточняется, что возможности правительства США по оказанию такой помощи будут зависеть от места и обстоятельств запроса²⁰. Из этого следует, что государства в вопросе целесообразности предоставления тому или иному лицу дипломатического убежища преимущественно руководствуются политическими интересами [Хабриева 2019:209]. В частности, в годы «холодной войны» США неоднократно укрывали в стенах своих дипломатических представительств, в том числе в Москве, разных антисоветчиков²¹.

²⁰ US Department of State Foreign Affairs Manual. 2 FAM 227.1(a) and 227.2(b). URL: <https://fam.state.gov/FAM/02FAM/02FAM0220.html> (accessed date: 09.10.2024).

²¹ Содиков Ш.Д. 2024. *Дипломатическая защита граждан и юридических лиц*. Учебное пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во Юрайт. С. 66.

Также в 2012 г. китайский диссидент Чэнь Гуаньчэн, занимавшийся адвокатской деятельностью, был обвинен в публикации сведений о нарушении прав человека в КНР. После отбытия наказания и побега из-под домашнего ареста он получил дипломатическое убежище в представительстве США в Пекине. Китай потребовал от США официальных извинений, назвав их действия неприемлемым вмешательством во внутренние дела государства и нарушением международного права. Тем не менее, согласно официальным заявлениям правительства США, допуск китайского гражданина на территорию американского посольства являлся законным, поскольку носил временный характер и был обусловлен необходимостью оказания медицинской помощи. Впоследствии Чэнь Гуаньчэн с разрешения китайских властей покинул здание американского посольства и беспрепятственно вылетел в США с целью прохождения обучения за рубежом [Chisholm 2014:544].

В контексте исследования актуальных международно-правовых проблем института дипломатического убежища практический интерес представляет дело Дж. Ассанжа, связанное с предоставлением Эквадором убежища основателю WikiLeaks, обвиняемому в публикации секретных данных американской разведки, на территории своего дипломатического представительства в Лондоне в 2012 г. [Vázquez 2017:216].

Одновременно с началом расследования США по подозрению в нарушении закона о шпионаже 1917 г. шведскими правоохранительными органами в 2010 г. против Дж. Ассанжа были выдвинуты обвинения в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух граждан Швеции. Опасаясь последствий исполнения выданного в отношении него европейского ордера на арест в виде возможной экстрадиции в США, где, по его мнению, он мог подвергнуться пыткам или бесчеловечному обращению, основатель WikiLeaks уехал в Лондон [Ambos 2013:117]. Исчерпав все доступные средства правовой защиты, в 2012 г. Дж. Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, где

находился на протяжении следующих семи лет [Restrepo 2021:141].

Однако правомерность распространения покровительства со стороны латиноамериканского государства в отношении Дж. Ассанжа была оспорена Великобританией на том основании, что она не является участницей какого-либо международно-правового документа, обязывающего признать данный принцип и, как следствие, уважать предоставление дипломатического убежища²². В связи с этим Соединенное Королевство заявило о праве лишить его убежища в одностороннем порядке, ссылаясь на Закон о дипломатических и консульских помещениях 1987 г.²³, положения которого предусматривают возможность ограничивать неприкосновенность дипломатических помещений в случае злоупотребления при их использовании со стороны аккредитующего государства с целью обеспечения доступа для властей страны пребывания на территорию представительства и проведения обыска [Heijer 2013:415].

Тем не менее, по мнению К.К. Сандровского, несмотря на то что дипломатической практике известен ряд прецедентов, связанных с нарушением неприкосновенности дипломатических представительств государством пребывания вплоть до изъятия укрывшихся с применением силы, местные власти, как правило, воздерживаются от применения подобного рода мер [Демин 1992:99].

Позиция Великобритании иллюстрирует, как национальные правовые системы могут интерпретировать и применять нормы и принципы международного права в соответствии с собственными правовыми нормами и интересами. Ее отказ признать дипломатическое убежище Дж. Ассанжа отражает суверенное право принимающего государства определять условия, на которых оно признает статус беженцев или другие формы международной защиты. Однако несмотря на нормы действующего законодательства, Великобритания не стала арестовывать Дж. Ассанжа в нарушение неприкосновенности посольства Эквадора.

²² Foreign Secretary Statement on Ecuadorian Government's Decision to Offer Political Asylum to Julian Assange. URL: <https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-statement-on-ecuadorian-government-s-decision-to-offer-political-asylum-to-julian-assange#:~:text=News%20story-,Foreign%20Secretary%20statement%20on%20Ecuadorian%20Government's%20decision,political%20asylum%20to%20Julian%20Assange&text=%22We%20are%20determined%20to%20carry,Foreign%20Secretary%20William%20Hague%20today.> (accessed date: 15.05.2024).

²³ Diplomatic and Consular Premises Act 1987. URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1987/46> (accessed date: 10.05.2024).

Кроме того, учитывая абсолютный характер неприкосновенности помещений дипломатических представительств, потенциальная попытка арестовать Дж. Ассанжа на территории посольства Эквадора без согласия его главы представляла бы собой нарушение норм международного права.

Дело Дж. Ассанжа также затрагивает вопрос права лица, получившего убежище, покинуть территорию государства пребывания, обеспечиваемое, согласно Каракасской конвенции 1954 г., так называемой охранной грамотой с предоставлением соответствующих гарантий со стороны государства пребывания, что жизнь, свобода или личная неприкосновенность лица, преследуемого по политическим мотивам, не подвергнутся опасности [Heijer 2013:416]. Так, при попытке перевезти Дж. Ассанжа из Великобритании на территорию своего государства власти Эквадора заявляли о намерении предпринять все доступные законные средства, включая возможность передать дело в Международный Суд ООН, если Соединенное Королевство продолжит отказывать Дж. Ассанжу в безопасном выезде из страны. Тем не менее Великобритания придерживалась позиции о нераспространении в отношении нее обязанности предоставить охранную грамоту, поскольку укрытие Дж. Ассанжа в посольстве Эквадора являлось вторжением во внутренние дела Соединенного Королевства. Подтверждением этому также служит решение Международного Суда ООН по Делу об убежище 1950 г., в рамках которого при рассмотрении возникших у Колумбии и Перу разногласий в отношении толкования п. 3 ст. 2 Гаванской конвенции об убежище 1928 г., регулирующего вопрос о выдаче охранной грамоты, Суд постановил, что, поскольку условия этого положения не были соблюдены, а именно отсутствовал запрос со стороны правительства государства пребывания о выдворении беженца со своей территории, требование гарантий не имеет юридического основания, из чего следует, что государство пребывания не обязано выдавать охранную грамоту²⁴. Поэтому в случае выхода Дж. Ассанж за пределы посольства столичная полиция имела бы право арестовать его.

Случай с предоставлением дипломатического убежища Дж. Ассанжу интересен в том числе тем, что при попытке урегулирования возникших разногласий были задействованы правозащитные механизмы ООН. Так, в 2016 г. во Мнении № 54/2015 Рабочая группа по произвольным задержаниям, функционирующая в рамках Совета по правам человека ООН, пришла к выводу, что тюремное заключение, а также домашний арест, которому подвергся Дж. Ассанж после очередного задержания в Лондоне, включая его вынужденное пребывание в посольстве, являются не чем иным, как произвольным задержанием²⁵. Однако и шведское, и британское правительства выступили против его прекращения с тем обоснованием, что Мнение Рабочей группы не подлежит обязательному исполнению [Arredondo 2017:136]. По сути, предложение о пересмотре выводов Группы со стороны государств, позиционирующих себя в ООН приверженцами прав и свобод человека, не только подрывает ее мандат, но и служит подтверждением того, что мнения этих же правозащитных механизмов Организации ничего не значат, если они вступают в противоречие с их политическими интересами [Абашидзе, Черных 2016:88].

Тем не менее в 2019 г. по инициативе президента Эквадора Л. Морено Дж. Ассанж был лишен права на дипломатическое убежище в связи с неоднократным нарушением условий пребывания в посольстве и вмешательством во внутренние дела государства. Впоследствии с согласия главы дипломатического представительства он был задержан британской полицией на территории посольства и помещен в тюрьму в Соединенном Королевстве.

В период с 2020 г. в британских судах прошел ряд слушаний, по результатам которых было принято решение об экстрадиции основателя WikiLeaks в США, где ему грозило 175 лет лишения свободы за раскрытие секретной информации. Процесс его оспаривания продолжался с 2022 по 2024 г. В частности, 20 мая 2024 г. Высокий суд в Лондоне разрешил Дж. Ассанжу подать апелляцию на решение о его выдаче в связи с неудовлетворительным характером гарантий соблюдения его прав, представленных

²⁴ Colombian-Peruvian Asylum Case (Colombia v. Peru). Judgment of 20 November 1950.

²⁵ Human Rights Council. Working group on Arbitrary Detention: Opinion No. 54/2015 concerning Julian Assange. (A/HRC/WGAD/2015). 4 of Dec. 2015. P. 14.

Вашингтоном. 24 июня 2024 г. Дж. Ассанж был освобожден под залог из британской тюрьмы Белмарш после более чем пяти лет заключения и покинул Великобританию. Двумя днями позже основатель WikiLeaks в рамках сделки с министром США признал вину в разглашении секретной информации, за которое он уже отбыл срок, в обмен на отказ от требования его экстрадиции со стороны США. 26 июня решением федерального окружного суда Северных Марианских островов дело в отношении Дж. Ассанжа было официально прекращено, а сам основатель WikiLeaks освобожден.

Таким образом, дело Дж. Ассанжа является классическим примером, отражающим присущую институту дипломатического убежища правовую неопределенность в вопросе соотношения суверенитета государства пребывания и неприкосновенности помещений дипломатического представительства аккредитующего государства. В связи с этим в условиях отсутствия единообразного подхода к рассматриваемому институту в целях предотвращения или разрешения международных споров наиболее приемлемым является урегулирование подобных ситуаций дипломатическим путем.

Непоследовательна практика и латиноамериканских государств, признающих институт дипломатического убежища. Несмотря на его довольно подробную регламентацию, в странах Латинской Америки продолжают возникать споры о его применении.

Показательным примером является беспрецедентный случай, связанный со штурмом посольства Мексики в г. Кито 5 апреля 2024 г., осуществленным с целью ареста бывшего вице-президента Эквадора Х. Гласа. Нападение Эквадора было расценено мировым сообществом в качестве нарушения норм Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и Каракасской конвенции о дипломатическом убежище 1954 г.

Власти Эквадора обосновывали вторжение необходимостью «защиты суверенитета», апеллируя к тому, что потенциальный побег преступника нес в себе угрозу национальной безопасности. В Кито заявили, что предоставление убежища Х. Гласу составляет прямое вмешательство во внутренние дела государства. Действия

Мексики также были признаны нарушающими положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. в части злоупотребления неприкосновенностью помещений дипломатического представительства.

На фоне произошедших событий Мексика объявила о разрыве дипломатических отношений с Эквадором и 11 апреля 2024 г. подала заявление в Международный Суд ООН с просьбой распорядиться об обеспечительных мерах в отношении Эквадора, в том числе обязать власти Эквадора предпринять соответствующие и немедленные шаги для обеспечения полной защиты и безопасности дипломатического представительства Мексики в государстве пребывания.

Решением от 23 мая 2024 г. Международный Суд отказал Мексике во введении мер против Эквадора, обосновав это недостаточностью представленных обстоятельств для требования осуществления полномочий Суда в соответствии со ст. 41 Статута для вынесения обеспечительных мер²⁶. Председатель Суда Наваф Салам также заявил, что обещание защитить помещения мексиканских дипломатических представительств, данное ранее Эквадором, исключает необходимость вынесения дополнительных решений со стороны Суда. При этом Международный Суд ООН подтвердил фундаментальную важность принципов, закрепленных в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., касающихся неприкосновенности дипломатических помещений.

Несмотря на то, что разбирательство по делу еще не завершено, президент Мексики выразил уверенность в том, что решение Суда будет вынесено в пользу страны и создаст прецедент, предотвращающий последующие потенциальные случаи вторжений в посольства с нарушением норм международного права.

Действия Эквадора также получили осуждение со стороны большинства государств. В частности, МИД России выразил обеспокоенность в связи с вооруженным проникновением представителей эквадорских силовых структур в мексиканское посольство, подтвердив безусловную важность соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., являющейся незыблемой основой поддержания отношений между государствами.

²⁶ Embassy of Mexico in Quito (Mexico v. Ecuador). The ICJ Order of 23 May 2024. URL: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/194/194-20240523-sum-01-00-en.pdf> (accessed date: 15.04.2024).

В том, что касается практики нашей страны, следует отметить последовательность занимаемой как СССР, так и Россией в качестве его продолжателя позиции по вопросу дипломатического убежища. Традиционно правомерность реализации рассматриваемого института оспаривается. В отношении же последствий использования помещений дипломатических представительств с целью предоставления убежища российская сторона исходит из того, что подобная практика не должна служить поводом к нарушению неприкосновенности последних.

Существующая тенденция по оправданию применения противоправных мер в отношении заграничных учреждений с целью преследования неугодных, со ссылкой на нормы национального законодательства, не только ставит под угрозу дальнейшую практику предоставления дипломатического убежища, но и в целом подрывает основы миропорядка.

Подобный случай нарушения неприкосновенности помещений дипломатического представительства не является исключением в международной практике. В частности, Международный Суд ООН в рамках Дела о дипломатическом и консульском персонале США в Тегеране 1980 г. оценил правовые последствия вооруженного нападения иранских студентов на посольство США в Тегеране с захватом заложников в 1979 г.²⁷

В своем решении Суд подтвердил обязанность государства пребывания обеспечивать защиту, привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и их сотрудников, а также фундаментальный характер принципа неприкосновенности.

Список литературы

1. Абашидзе А.Х., Черных И.А. 2016. Свобода слова, понимаемая Организацией Объединенных Наций и некоторыми государствами-членами. – *Вестник Российского университета дружбы народов*. Серия: Юридические науки. № 3. С. 76-89.
2. Блищенко И.П. 1990. *Дипломатическое право*. Москва: Высшая школа. 284 с.
3. Галенская Л.Н. 1968. *Право убежища*. Москва: Международные отношения. 128 с.

5. Заключение

По итогам проведенного анализа правовых основ института дипломатического убежища можно утверждать, что, невзирая на древние истоки зарождения права на убежище, в международном праве так и не удалось выработать единый, общеприемлемый подход к вопросу о допустимости предоставления убежища в помещениях зарубежных органов внешних сношений. Практика государств по рассматриваемому вопросу сильно расходится, а необходимая правовая регламентация института дипломатического убежища имеется только в странах латиноамериканского региона. Но, как выяснилось, даже государствам Латинской Америки не удалось достичь взаимно согласованной позиции в отношении ряда теоретических аспектов рассматриваемого института. По-прежнему требуют уточнения вопросы, касающиеся определения оснований, порядка и сроков предоставления дипломатического убежища, а также иных теоретических аспектов, что на деле приводит к некоторым расхождениям в практике государств с последующей вероятностью возникновения международного спора. Упомянутые в статье судебные разбирательства являются наглядным тому доказательством.

Таким образом, существующий двойственный подход к институту дипломатического убежища провоцирует многочисленные случаи злоупотреблений как со стороны государства пребывания, так и со стороны аккредитующего государства, что обуславливает необходимость его дальнейшей регламентации с целью создания единой правовой базы, применимой к вопросам дипломатического убежища.

4. Гуляева Е.Е. 2023. Институт дипломатического убежища в региональном международном праве на примере стран Латинской Америки. – *Евразийский юридический журнал*. № 6 (181). С. 24-28.
5. Демин Ю.Г. 1992. Современные тенденции в предоставлении убежища и укрытия в помещениях дипломатических представительств. – *Московский журнал международного права*. № 4. С. 94-103.
6. Зинченко Н.Н. 2011. *Международное миграционное право: основы теории и практики*. Москва: Научная книга. 344 с.

²⁷ Case concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran 1979. – *I.C.J. Reports*. P. 31. URL: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/64/6293.pdf>. (accessed date: 15.04.2024).

7. Тюрenkova К.А. 2017. Право убежища как международно-правовой институт. – *Гуманитарные исследования*. № 1 (61). С. 116-121.
8. Хабриева Т.Я. 2019. *Миграционное право: сравнительно-правовое исследование*. Монография. Москва: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. 400 с.
9. Ястребова А.Ю. 2023. Отдельные формы региональной международно-правовой регламентации института убежища. – *Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература: ИАЖ. Сер. 4: Государство и право*. № 2. С. 59-71.
10. Ambos K. 2013. El caso de Julian Assange: orden de detención europea versus asilo diplomático. – *Revista Nuevo Foro Penal*. Vol. 9. Issue 81. P. 116-138.
11. Arredondo R. 2017. WikiLeaks, Assange y el Futuro del Asilo Diplomático. – *Revista Española de Derecho Internacional*. Vol. 69. Issue 2. P. 119-144.
12. Behrens P. 2014. The law of diplomatic asylum – a contextual approach. – *Michigan Journal of International Law*. Vol. 35. Issue 2. P. 319-367.
13. Chisholm J.T. 2014. Chen Guancheng and Julian Assange: The Normative Impact of International Incidents on Diplomatic Asylum Law. – *The George Washington Law Review*. Vol. 82. Issue 2. P. 528-555.
14. Denza E. 2016. *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*. Oxford: Oxford University Press. 472 p.
15. Heijer M. 2012. *Europe and extraterritorial asylum*. Hart Publishing. 342 p.
16. Heijer M. 2013. Diplomatic Asylum and the Assange Case. – *Leiden Journal of International Law*. Vol. 26. Issue 2. P. 399-425.
17. Hughes-Gerber L. 2021. *Diplomatic Asylum. Exploring a Legal Basis for the Practice under General International Law*. Cham: Springer. 230 p.
18. Restrepo D.J. 2021. Modern Day Extradition Practice: A Case Analysis of Julian Assange. – *Notre Dame Journal of International & Comparative Law*. Vol. 11. Issue 1. P. 138-157.
19. Ronning C.N. 1965. *Diplomatic Asylum: Legal Norms and Political Reality in Latin American Relations*. The Hague: Martinus Nijhoff. 239 p.
20. Värk R. 2012. Diplomatic asylum: Theory, Practice and the Case of Julian Assange. – *Sisekaitseakadeemia Toimetised*. Vol. 11. P. 240-257.
21. Vázquez A.N. 2017. El Asilo Diplomático: de Haya de la Torre a los Asilados del Caso "WikiLeaks". – *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos*. Vol. 28. Issue 2. P. 213-226.
3. Arredondo R. WikiLeaks, Assange y el Futuro del Asilo Diplomático. – *Revista Española de Derecho Internacional*. 2017. Vol. 69. Issue 2. P. 119-144.
4. Behrens P. The law of diplomatic asylum – a contextual approach. – *Michigan Journal of International Law*. 2014. Vol. 35. Issue 2. P. 319-367.
5. Blishchenko I.P. *Diplomatičeskoe pravo [Diplomatic Law]* Moscow: Vysshaya shkola Publ. 1990. 284 p. (In Russ.)
6. Chisholm J.T. Chen Guancheng and Julian Assange: The Normative Impact of International Incidents on Diplomatic Asylum Law. – *The George Washington Law Review*. 2014. Vol. 82. Issue 2. P. 528-555.
7. Demin Yu.G. Sovremennye tendencii v predostavlenii ubezhihha i ukrytija v pomeshhenijah diplomatičeskikh predstavitel'stv [Current Trends in Asylum and Refuge in the Premises of Diplomatic Missions]. – *Moskovskij zhurnal mezhdunarodnogo prava [Moscow Journal of International Law]*. 1992. №4. P. 94-103. (In Russ.).
8. Denza E. *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*. Oxford: Oxford University Press. 2016. 472 p.
9. Galenskaja L.N. *Pravo ubezhihha [The Right of Asylum]*. Moscow: International relations. 1968. 128 p. (In Russ.).
10. Guljaeva E.E. Institut diplomatičeskogo ubezhihha v regional'nom mezhdunarodnom prave na primere stran Latinskoj Ameriki [The Institute of Diplomatic Asylum in Regional International Law on The Example of Latin American Countries]. – *Evrazijskij juridičeskij zhurnal [Eurasian Law Journal]*. 2023. № 6 (181). P. 24-28. (In Russ.)
11. Heijer M. *Europe and extraterritorial asylum*. Hart Publishing. 2012. 342 p.
12. Heijer M.D. Diplomatic Asylum and the Assange Case. – *Leiden Journal of International Law*. 2013. Vol. 26. Issue 2. P. 399-425.
13. Hughes-Gerber L. *Diplomatic Asylum. Exploring a Legal Basis for the Practice under General International Law*. Cham: Springer. 2021. 230 p.
14. Khabrieva T.Y. *Migracionnoe pravo: sravnitel'no-pravovoe issledovanie. [Migration Law: Comparative Legal Research]. Monografija*. Moscow: The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation. 2019. 400 p. (In Russ.)
15. Restrepo D.J. Modern Day Extradition Practice: A Case Analysis of Julian Assange. – *Notre Dame Journal of International & Comparative Law*. 2021. Vol. 11. Issue 1. P. 138-157.
16. Ronning C.N. *Diplomatic Asylum: Legal Norms and Political Reality in Latin American Relations*. The Hague: Martinus Nijhoff. 1965. 239 p.
17. Tyurenkova K.A. Pravo ubezhihha kak mezhdunarodno-pravovoj institut [The Right of Refuge: International Legal Institution]. – *[Gumanitarnye issledovanija] Humanitaria Studia*. 2017. №1 (61). P. 116-121. (In Russ.)
18. Värk R. Diplomatic asylum: Theory, Practice and the Case of Julian Assange. – *Sisekaitseakadeemia Toimetised*. 2012. Vol. 11. P. 240-257.
19. Vázquez A.N. El Asilo Diplomático: de Haya de la Torre a los Asilados del Caso "WikiLeaks". – *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos*. 2017. Vol. 28. Issue 2. P. 213-226.
20. Yastrebova A.Yu. Otdel'nye formy regional'noj mezhdunarodno-pravovoj reglamentacii instituta ubezhihha [Particular Forms of International Legal Regulation of

References

Asylum on Regional Level]. – [Social'nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaja i zarubezhnaja literatura: IAZh. Ser. 4: Gosudarstvo i pravo] Information and analytical journal «Social and Humanitiien Sciences: Domestic and Foreign Literature». Series 4. "State and law". 2023. № 2. P. 59-71. (In Russ.)

21. Zinchenko N.N. *Mezhdunarodnoe migracionnoe pravo: osnovy teorii i praktiki*. [International Migration Law: fundamentals of theory and practice]. Moscow: The Scientific Book. 2011. 344 p. (In Russ.)

Информация об авторе

Виталия Валерьевна ТКАЧЁВА,

соискатель кафедры международного права, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации

Вернадского пр-т, д. 76, Москва, 119454, Российская Федерация

vitaliya.tkachyova@yandex.ru
ORCID: 0009-0002-7513-5797

About the Author

Vitaliya V. TKACHEVA,

Applicant of the International Law Department, Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

76, Vernadskogo Ave., Moscow, Russian Federation, 119454

vitaliya.tkachyova@yandex.ru
ORCID: 0009-0002-7513-5797

DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-85-105>

Исследовательская статья

УДК: 341

Поступила в редакцию: 19.07.2024

Принята к публикации: 26.11.2024

Екатерина Александровна МАРТЫНОВА

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Мясницкая ул., д. 20, Москва, 101000, Российская Федерация

eamartynova@hse.ru

ORCID: 0000-0002-8995-4462

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОСЛЕЗАВТРА»: РЕГУЛИРОВАНИЕ КИБЕРОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КОНТЕКСТЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ

ВВЕДЕНИЕ. Искусственный интеллект (далее – ИИ) может значительно укрепить системы информационной безопасности государств, а также послужить дополнительным техническим средством совершения злонамеренных действий в так называемом киберпространстве. Стремясь получить конкурентное преимущество в цифровой сфере, государства начали инвестировать в оборонительные и наступательные автономные кибервозможности для защиты своих интересов и сдерживания потенциальных противников, что подстегнуло рост числа межгосударственных киберопераций. Статья посвящена не только проблемам применения существующих норм международного права в ситуациях злонамеренного использования ИИ государствами, но и процессу интерпретации этих норм различными субъектами и через эту интерпретацию кристаллизации общего (или, по крайней мере, сближающегося) понимания их применимости. Таким образом, в данной работе рассматривается путь к пониманию того, как нормы международного права о применении силы действуют в отношении киберопераций с использованием ИИ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Настоящее исследование основано на работах как российских, так и зарубежных специалистов в области права международной информационной безопасности, а также на анализе документов и материалов групп правительственных экспертов под эгидой Организации Объединенных Наций и позиций государств. Помимо общенаучных методов (анализ, синтез, индукция и дедукция), в исследовании применяется теория транснационального правового процесса, которая рассматривает текущие дискуссии по соответствующим вопросам на различных площадках и в целом кооперацию различных акторов в процессе формирования правил ответственного использования ИИ государствами посредством взаимодействия, толкования и интернализации интерпретированных правовых идей и практик во внутренние правовые системы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Международные усилия по разработке универсального свода правил ответственного поведения государств в киберпространстве пока не увенчались успехом. Проанализированная история обсуждения допустимых действий государств

в киберпространстве позволяет предположить, что дискуссия, посвященная ИИ, в обозримом будущем будет развиваться вне контекста разработки всеобъемлющего международного договора. Вместо этого правовой ландшафт применения ИИ, судя по всему, будет формироваться на основе инструментов «мягкого права» и инициатив частного сектора, что повлечет за собой фрагментацию толкования и практики государств.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ. Усложнение межгосударственных киберопераций технологиями ИИ поднимает дополнительные вопросы о действии международного права, в частности его норм о применении силы, в отношении киберинцидентов с использованием ИИ. Поскольку государства стремятся разработать и приобрести смертоносные автономные системы вооружений для поддержания стратегического паритета, что может дестабилизировать глобальную безопасность и повысить риск эскалации конфликтов, развертывание подобных систем и участие государств в кибероперациях с использованием ИИ способно привести к очередной гонке вооружений — на этот раз с применением ИИ. Это и другие политические и этические соображения говорят о целесообразности ограничения свободы действий государств в использовании ИИ. Однако на сегодняшний день стимулы для стран НАТО, Китая и России договориться о международном юридически обязательном документе, пресекающем использование ИИ в злонамеренных целях, представляются иллюзорными. Исходя из истории дискуссий о применении международного права в киберпространстве и разработке правил ответственного поведения государств, использующих информационно-коммуникационные технологии,

можно предположить, что соответствующие дискуссии об ИИ, скорее всего, будут проходить вне рамок разработки международного договора. Таким образом, дальнейший анализ развития этого вопроса потребует изучения того, как транснациональные нормы, например те, что возникают из инструментов «мягкого права», практики государств и инициатив частного сектора, будут формировать международно-правовой ландшафт применения ИИ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: искусственный интеллект, присвоение поведения, кибероперации, киберпространство, применение силы, ответственность государства, транснациональный правовой процесс

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Мартынова Е.А. 2024. «Путешествие в послезавтра»: регулирование киберопераций с использованием искусственного интеллекта в контексте применения силы. – *Московский журнал международного права*. № 4. С. 85–105. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-85-105>

Данная работа подготовлена в рамках стипендии для молодых ученых в области международного права, предоставленной Центром международных и сравнительно-правовых исследований, Москва, Россия.

Название статьи «Путешествие в послезавтра» отсылает к одноименному научно-фантастическому роману Роберта Шекли (1962).

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

CYBERSPACE AND INTERNATIONAL LAW

DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-85-105>

Research article
UDC: 341
Received 19 July 2024
Approved 26 November 2024

Ekaterina A. MARTYNOVA

National Research University Higher School of Economics
20, Myasnitskaya St., Moscow, Russian Federation, 101000
eamartynova@hse.ru
ORCID: 0000-0002-8995-4462

“JOURNEY BEYOND TOMORROW”: NAVIGATING REGULATION OF AI-POWERED CYBER OPERATIONS IN THE REALM OF THE USE OF FORCE

INTRODUCTION. *Artificial intelligence (AI) can significantly strengthen cybersecurity systems of States, as well as serve an additional technical means for malicious actions in the so-called cyberspace. Recognizing this, States have started investing in defensive and offensive autonomous cyber capabilities to protect their interests and deter potential adversaries; this has further fuelled the increase in inter-State cyber operations as nations seek to gain a competitive edge in the digital realm. This paper focuses not only on the problems of applying existing norms of international law to situations of malicious use of AI by States, but also on the process of these norms' interpretation by different actors and, through this interpretation, crystallization of a common (or at least converging) understanding of their applicability. More specifically, this paper examines the path to understanding of how the norms on the use of force apply to AI-enabled cyber operations.*

MATERIALS AND METHODS. *The present study is based on the works of both Russian and foreign specialists on the law of international information security, as well as analysis of documents and materials of groups of governmental experts under the auspices of the United Nations and the positions of States. In addition to general scientific methods (analysis, synthesis, induction and deduction), the theory of transnational legal process is applied to this study, which considers ongoing discussions of relevant issues on various platforms, and, more generally, the interaction of various actors regarding the formation of a pool of rules for responsible use of AI by States through interaction, interpretation and internalization of the interpreted legal ideas and practices into the domestic legal systems.*

RESEARCH RESULTS. *The international efforts to develop a universal set of rules for responsible State behaviour in cyberspace have enjoyed rather modest success. The analysed history of cyber-related debate suggests that the AI-focused discussion for the foreseeable future will progress outside the area of developing a comprehensive treaty framework. Instead, the legal landscape of AI applications will appear to emerge*

from soft law instruments and private sector initiatives, which would lead to fragmentation of interpretation and State practice.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS. *The complication of inter-State cyber operations by AI technology raises additional questions about the application of international law, in particular its norms on the use of force, to AI-powered cyber incidents. The deployment of lethal autonomous weapons systems and commitment of AI-powered cyber operations could potentially lead to another – this time, AI – arms race, as nations seek to develop and acquire these systems to maintain strategic parity. This could destabilize global security and increase the risk of conflict escalation. This and other political and ethical considerations argue in favor of limiting the discretion of States in the use of AI. However, to date, the incentives for NATO States, China and Russia to agree on an international binding instrument limiting the use of AI for malicious purposes appear illusory. One could argue that corresponding discussions on AI will probably take place outside of the development of an international treaty, given the historical debate surrounding the application of international law in cyberspace and the development of norms governing responsible States behaviour in the use of information and communication technologies. Further analysis of this development, thus, will require examining how transnational norms, such as those emerging from soft law instruments, customary practices, and private sector initiatives, will shape the international legal landscape of the AI application.*

KEYWORDS: *artificial intelligence, attribution, cyber operation, cyberspace, use of force, State responsibility, transnational legal process*

FOR CITATION: Martynova E.A. “Journey Beyond Tomorrow”: Navigating Regulation of AI-Powered Cyber Operations in the Realm of the Use of Force. – *Moscow Journal of International Law*. 2024. No. 4. P. 85–105. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-85-105>

This paper was prepared within the framework of the Scholarship for Young International Law Researchers provided by the International and Comparative Law Research Center, Moscow, Russia.

The “Journey Beyond Tomorrow” in the title of this paper refers to the science fiction novel (1962) of the same name by Robert Sheckley.

The author declares the absence of conflict of interest.

1. Introduction

Over the last two decades, there has been a notable upsurge in the number of inter-State cyber operations taking place worldwide¹. Most of them are classified as acts of espionage² as traditional methods of intelligence gathering have been enhanced by cyber capabilities, but some incidents (and their number is increasing as technology advances) have consequences in the physical space, including causing damage to individuals³, companies⁴, infrastructure facilities⁵ and computer

networks⁶. The relative anonymity and deniability offered by cyberspace make it an attractive operational domain for States to gain strategic advantages without the fear of immediate retaliation. Amid the growing reliance on digital techniques and interconnectedness of cyber infrastructure systems States' vulnerability to cyberattacks is increasing. This vulnerability is not limited to military or government networks but extends to sectors such as energy, finance, transportation, and healthcare.

The introduction of artificial intelligence (AI) technology⁷ and the increased autonomy (and therefore, unpredictability and unreliability [Stroppa

¹ According to the Council of Foreign Relations that has tracked significant cyber operations since 2005 starting with one cyber operation perpetrated by China that year, following with at least 30 State-sponsored cyber operations in 2015, 76 cyber operations sponsored by States in 2019, and 125 incidents in 2022. URL: www.cfr.org/cyber-operations/ (accessed date: 15.07.2024).

² One of the recent cases is phishing campaign reportedly conducted in March 2023 by the Pakistani cyberespionage group APT 36 against the Defence Research and Development Organisation – Indian governmental agency involved in research and development of sensitive defence technologies used by the Indian Armed Forces. See: Notorious SideCopy APT Group Sets Sights on India's DRDO – *Cyble*. 21 March 2023. URL: <https://cyble.com/blog/notorious-sidecopy-apt-group-sets-sights-on-indias-drdo> (accessed date: 15.07.2024).

³ E.g., attacks of targeted individuals – human rights activists and university professors by APT37 (aka RedEyes, ScarCruft, and Reaper), a hacking group allegedly sponsored by North Korea. See: RedEyes Group Wiretapping Individuals (APT37) – *ASEC*. 21 June 2023. URL: <https://asec.ahnlab.com/en/54349/> (accessed date: 15.07.2024).

⁴ E.g., attacks against subsidiary companies of multinational corporations based in the US and East Asia, including industrial, technology, media, electronics, and telecommunications companies, with further access to the parent companies' network by BlackTech – cyber actors linked to the People's Republic of China. See: Press release “CISA, NSA, FBI and Japan Release Advisory Warning of BlackTech, PRC-Linked Cyber Activity” – *CISA*, 27 September 2023. URL: www.cisa.gov/news-events/news/cisa-nsa-fbi-and-japan-release-advisory-warning-blacktech-prc-linked-cyber-activity (accessed date: 15.07.2024).

⁵ E.g., targeting from late 2021 to mid-2022 of US critical infrastructure including seaports, energy companies, transit systems, and a major US utility and gas entity by Mint Sandstorm – a group associated with the Iranian government. See: Microsoft Threat Intelligence. “Nation-State Threat Actor Mint Sandstorm Refines Tradecraft to Attack High-Value Targets”. 18 April 2023. URL: www.microsoft.com/en-us/security/blog/2023/04/18/nation-state-threat-actor-mint-sandstorm-refines-tradecraft-to-attack-high-value-targets/ (accessed date: 15.07.2024).

⁶ E.g., an attack by a North Korean hacking group of the networks of Seoul National University Hospital in 2021 as a result of which hackers gained access to the personal medical records of hundreds of thousands patients. See: Reddy S., “North Korean Hackers Stole 830K People's Data in Attack on Seoul Hospital: ROK” – *NK News*. 10 May 2023. URL: www.nknews.org/2023/05/north-korean-hackers-stole-830k-peoples-data-in-attack-on-seoul-hospital-rok/ (accessed date: 15.07.2024).

⁷ Despite the ubiquitous nature of AI discussions lately, there is no consistent ‘official’ definition of AI. In some cases, the technical descriptions offered by computer scientists are not suitable for legal analysis, for example when AI is defined in terms of an ‘algorithm’, which in turn requires a separate definition and understanding of the social meaning and legal content. For the review of different approaches to define AI for the purposes of legal studies, refer, e.g. to [Lee 2022:6-8]. This paper does not aim to go deeper into the search for a correct definition of AI; the now traditional approach to define AI in the narrow and broad senses suits the purposes of this study: “More specifically, that there is a key difference between narrow AI such as translation services, chatbots, and autonomous vehicles and general AI – “self-learning systems that can

2023:3]) of inter-State cyber operations further enhances this vulnerability. One can assume with a certain degree of confidence that the use of AI by States will expand. This is evidenced by numerous forecasts by cybersecurity experts⁸, and direct declarations of States⁹, coupled with an unprecedented increase in investments in research and development of AI-powered capabilities¹⁰.

The advancement of AI and machine learning (ML) technologies¹¹ has given rise to a discourse surrounding the potential risks posed by autonomous (including, AI-driven) cyber operations to international peace and security, as well as the right to self-defence against such actions. The corpus of research that has emerged in recent years addresses how current international legal norms are applied to novel circumstances involving employment of AI technologies by States, including concerns such as violation by autonomous cyber capabilities of the principles of sovereignty and non-intervention [Schmitt 2020:554-558]; interpretation of the precautionary principle of international law with respect to “lethal AI” [Garcia 2018:335, 338]; unilateral and collective autonomous measures of self-help against malicious cyber-enabled activities¹². The Russian doctrine in this area focuses mainly on the challenges for international humanitarian law (hereinafter, the IHL) related to robotisation and autonomisation of weapon

systems [e.g., Morkhat 2017; Proskurina, Khokhlova, Safin 2020] and the application of AI in the context of armed conflict [Chernyavsky, Sibileva 2020].

The focus of this paper, however, is not only on the problems of applying existing norms of international law to situations of malicious use of AI by States, but also on the process of these norms’ interpretation by different actors and, through this interpretation, crystallization of a common (or at least converging) understanding of their applicability. More specifically, this paper examines the path to understanding of how the norms on the use of force apply to AI-enabled cyber operations and why States might agree to obey them in this context. The theory of transnational legal process is applied to this study, which considers ongoing discussions of relevant issues on various platforms, and, more generally, the interaction of various actors regarding the formation of a pool of rules for responsible use of AI by States.

The scope of research needs to be specified according to the aims defined. First, the application of AI and specifically cyber operations based on the AI technology will not be analyzed from the standpoint of international human rights law and IHL. Thus, this study focuses on *jus ad bellum* body of international law. Second, with respect to the question of AI employment in cyber operations, the scope *ratione personae* is limited to the activities that are conducted or

learn from experience with humanlike breadth and surpass human performance on all tasks”. General AI raises broader existential concerns, such as how to align the goals of such a system with our own to prevent catastrophic outcomes, but general AI remains a technology still to be developed in the distant future.’ (Meltzer J.P. The Impact of Artificial Intelligence on International Trade – *Brookings*. 13 December 2018. URL: www.brookings.edu/research/the-impact-of-artificial-intelligence-on-international-trade/#footnote-1 (accessed date: 15.07.2024)).

⁸ UNIDIR: The Weaponization of Increasingly Autonomous Technologies: Autonomous Weapon Systems and Cyber Operations. Report No. 7. 2017. URL: <https://unidir.org/files/publication/pdfs/autonomous-weapon-systems-and-cyber-operations-en-690.pdf> (accessed date: 15.07.2024).

⁹ Thus, the Cyber Security Strategy for Germany of 2021 indicates the aim to achieve ‘the highest possible level of IT security for AI systems’ and examine continually “the opportunities for using AI systems to protect (government) IT systems”. See: Cyber Security Strategy for Germany 2021, at 46-47. URL: www.bmi.bund.de/EN/topics/it-internet-policy/cyber-security-strategy/cyber-security-strategy-node.html (accessed date: 15.07.2024). In a similar mode, the US National Cybersecurity Strategy of 2023 sets forth as a strategic objective focus on technologies “that will prove decisive for U.S. leadership in the coming decade” including AI, and states that such effort “will facilitate the proactive identification of potential vulnerabilities, as well as the research to mitigate them”. See: The White House: Fact Sheet: Biden-Harris Administration Announces National Cybersecurity Strategy at 25 (2 March 2023). URL: www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/03/02/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-national-cybersecurity-strategy/ (accessed date: 15.07.2024).

¹⁰ The projected growth of the AI market is up to 1.8 trillion US dollars by 2030: “Artificial Intelligence (AI) Market Size Worldwide in 2021 with a Forecast until 2030 (in million U.S. dollars)”. – *Statista*. URL: www.statista.com/statistics/1365145/artificial-intelligence-market-size/ (accessed date: 15.07.2024).

¹¹ Machine learning is either classified as a subfield of AI or a distinct field and refers to the creation of digital systems that become more proficient at a particular task over time through experience. See: Brundage M. et al. *The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation*. Oxford: Future of Humanity Institute. 2018. URL: <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1802/1802.07228.pdf> (accessed date: 15.07.2024).

¹² Stroppa M. 2023. Autonomous Cyber Capabilities and Unilateral Measures of Self-Help against Malicious Cyber Operations. – *NATO CCDCOE Publication*. URL: <https://ccdcoe.org/library/publications/autonomous-cyber-capabilities-and-unilateral-measures-of-self-help-against-malicious-cyber-operations/> (accessed date: 15.07.2024).

sponsored by States. This entails analyzing the problem of attribution of malicious activities using AI to the allegedly sponsoring State.

This paper is structured as follows. Section Two provides a brief overview of the development of the international debate on autonomous weapon systems and cyber operations. Section Three describes key characteristics of AI-powered malicious cyber operations relevant for further legal analysis and discusses application of the UN Charter norms on the use of force and self-defence to such cyber incidents; the matter of attribution of such activities to the organizing State is also discussed. In Section Four, the focus shifts from an analysis of the possible application of the *lex lata* international law to looking at the process of forming relevant norms on inter-State AI-enabled cyber operations; an attempt is made to get a view of this 'journey beyond tomorrow' through the prism of transnational legal process theory. The final Section summarizes the discussion.

2. Evolution of the international debate on autonomous weapons and cyber operations

Concerns about autonomous weapons systems, also known as lethal autonomous weapons systems (hereinafter, the **LAWS**) and lethal autonomous robotic systems (hereinafter, the **LARS**), or "killer robots", have been addressed since 2014 under the auspices of the Convention on Certain Conventional Weapons (hereinafter, the **CCW**). With States, international organizations, and civil society participating,¹³ the CCW formed a Group of Governmental Experts (hereinafter, the **GGE on LAWS**) in 2016 with the express purpose of debating and resolving issues pertaining to LAWS. Enhancing knowledge of the technical, legal, ethical, and operational facets of

LAWS is the goal of the discussions. Its focus is on the potential impact of these systems on armed conflicts, including questions of human control, accountability, compliance with IHL, and the potential consequences for civilians. In 2019 the GGE on LAWS adopted Guiding Principles¹⁴ reaffirming the application of IHL to all weapon systems, including autonomous ones¹⁵, underlining human responsibility for decisions on the use of LAWS "since accountability cannot be transferred to machines"¹⁶, emphasizing consistently and in relation to several aspects of the development, testing and use of LAWS the need for analysis of compliance with international law, in particular IHL¹⁷, and pointing out that LAWS should not be anthropomorphized in domestic policies¹⁸.

Although a legally binding agreement on LAWS has yet to be reached, the GGE on LAWS has facilitated significant discourse among States and non-State actors, and has contributed to raising awareness at the international level about the necessity for regulation in this domain. It can be argued that settling of the principles that are quite general in nature is "costless" for States in the sense that no firm obligations are assumed in contrast to a universal legally binding instrument, reaching agreement on which in the nearest future seems to be an almost impossible task. That said, the approach of the GGE on LAWS is to foster transparency of discussion, promote dialogue, and build consensus among States on how best to address the challenges posed by autonomous weapons systems. As will be shown further in this paper, the repeated interaction between actors, during which the interpretation of legal norms and concepts occurs, is an essential part of the transnational legal process and can have norm-forming potential even in the absence of the conclusion of an international treaty as a result of such interaction.

¹³ Thus, in the latest session of the GGE on LAWS in May 2023, apart from representatives of the States – contracting parties to the CCW, participated representatives of the ICRC, UNIDIR, non-governmental organizations including Amnesty International, Future of Life Institute and Human Rights Watch, as well as members of the academic community representing Universität Bremen, University of Cambridge, University of Oxford, University of Queensland and some other institutions. See: Report of the 2023 session of the Group of Governmental Experts on Emerging Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems. 24 May 2023. CCW/GGE.1/2023/2. URL: [https://docs-library.unoda.org/Convention_on_Certain_Conventional_Weapons_-_Group_of_Governmental_Experts_on_Lethal_Autonomous_Weapons_Systems_\(2023\)/CCW_GGE1_2023_2_Advance_version.pdf](https://docs-library.unoda.org/Convention_on_Certain_Conventional_Weapons_-_Group_of_Governmental_Experts_on_Lethal_Autonomous_Weapons_Systems_(2023)/CCW_GGE1_2023_2_Advance_version.pdf) (accessed date: 15.07.2024).

¹⁴ Annex III to the Final report of the Meeting of the High Contracting Parties to CCW. 13 December 2019. CCW/MSP/2019/9. URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/343/64/PDF/G1934364.pdf?OpenElement> (accessed date: 15.07.2024).

¹⁵ Ibid. P. 10. Para (a).

¹⁶ Ibid. P. 10. Para (b).

¹⁷ Ibid. P. 10. Paras (c), (d), (e), and (h).

¹⁸ Ibid. P. 10. Para (i).

The development and deployment of LAWS has also given rise to significant debates and concerns within the international scientific and humanitarian community. These have included calls for a complete ban on LAWS for ethical and legal reasons [Asaro 2012:694-703]. Thus, expanding the use of killer robots could lead to dehumanization of war and erosion of moral accountability in warfare by allowing machines to make life and death decisions without human involvement [Sassòli 2014]. These voices, however, are becoming weaker as the use of LAWS and LARS nestle down as an integral part of any armed conflict involving a State with a sufficient level of technological development and cyber capabilities. At the same time, proponents of a balanced approach to the use of LAWS by States raise concerns about their compliance with IHL, in particular the principles of distinction, proportionality and military necessity: LAWS may not possess the ability to differentiate between combatants and civilians, potentially leading to unlawful attacks [Anderson, Reisner, Waxman 2014:401]. The question of legal responsibility also is complicated with autonomy of weapons if humans are not directly involved in decision-making processes and, thus, requires preventive security framework based on the precautionary principle of international law [Garcia 2018: 338; Chernyavsky, Sibileva 2020:235].

That said, States' interest in autonomy is not limited to LAWS and LARS – autonomisation of technology is becoming ubiquitous and is also penetrating the field of cyber operations. Technological advancements in strengthening autonomy in digital and physical systems are happening rapidly. As was already mentioned, the international discussions on autonomous weapons systems and autonomous cyber capabilities are taking place independently of each other and asynchronously. It is in some ways ironic that the issue of regulating autonomy-enhancing technologies is discussed primarily in relation to conventional weapons in the context of the CCW, while the operation of such technologies and their consequences manifest themselves on a significant scale in the digital space, and not (only) in the real

world, and in peacetime, not (only) in time of armed conflict. Consequently, the issue of autonomous (in particular, AI-powered) cyber operations, which is of paramount importance in evaluating the influence of AI on international security, is frequently either overlooked or dismissed. While there is significant focus on systems like LARS and LAWS, these represent only a fraction of the various potentially hostile applications that can be enabled by AI.

The international discussion under the UN aegis about the risks of inter-State cyber operations for the international security began long before the discussion of LAWS in the context of the CCW. The use of information and communication technologies (hereinafter, the **ICTs**) in the context of international security is addressed since 1998, when Russia introduced a draft resolution on “information security” in the First Committee of the UN General Assembly. The potential threats to global security and stability posed by the development of cyber capabilities have been examined by six Groups of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security (hereinafter, the **UN GGE**) since 2004–2005 . “International law and in particular the United Nations Charter, is applicable and is essential to maintaining peace and stability and promoting an open, secure, peaceful and accessible ICT environment”, the UN GGE confirmed in its 2013 milestone report²⁰. Although there were ups and downs in the further work of the UN GGE (in particular, the group was unable to adopt a consensus report in 2015 due to differences in the positions of States on the issues of the application of IHL and the right to self-defence to cyber incidents), the sixth and final GGE, which met between 2019 and 2021, reached a consensus on report²¹ that further contributed to the understanding of responsible behaviour of States in cyberspace. In December 2018, the General Assembly established an Open-Ended Working Group (hereinafter, the **OEWG**) to address the existing and emerging threats in the ICTs environment and the application of international law in cyberspace²². The OEWG, open to all UN Member States, held meet-

¹⁹ See the factsheet: Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security. URL: <https://disarmament.unoda.org/ict-security/> (accessed date: 16.07.2024).

²⁰ UNGA: Report of the Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security. 24 June 2013. UN Doc A/68/98 (GGE Report 2013).

²¹ UNGA: Report of the Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security. 14 July 2021. UN Doc A/76/135 (GGE Report 2021).

²² UNGA: Resolution “Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security”. 11 December 2018. UN Doc A/RES/73/27.

ings with various stakeholders including industry, civil society and academia and adopted a consensus report in March 2021, which was endorsed by the General Assembly²³. In 2020, a new five-year OEWG was established to continue addressing ICTs security²⁴, and in 2022, a resolution entitled “Programme of action to advance responsible State behaviour in the use of information and communications technologies in the context of international security” was adopted by the General Assembly requesting a report from the Secretary-General on advancing responsible State behaviour in the use of ICTs²⁵. The use of AI in the malicious actions of States in cyberspace is outside the mandate of the UN GGE and OEWG, but has received some, albeit limited, attention in the scientific literature in connection with the discussion of so-called autonomous cyber capabilities²⁶.

Interestingly, in the GGEs on LAWS and the UN GGEs there was practically no overlap of technical and legal specialists among the participants. The discussions have been held in different formats, most conversations within the GGEs on LAWS and the UN GGEs have been centred around a particular technology as though the technologies in question are developing independently. The conceptual apparatus used by the groups also differs. Accordingly, a few terminological clarifications are in order. Unlike relatively established terminology of LARS and LAWS in the studies of the warfare robotization, definitions in the field of studying inter-State cyber operations are just being coined. In the studies under the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) auspices, the term ‘autonomous cyber capabilities’ is used with clarification that autonomy means, in the first place, autonomy from a human operator²⁷, which can technically be provided by both AI and other programming means such as

pre-defined tasks or sequences of actions. Such capabilities can function without AI, but incorporating AI can further enable them to make independent decisions or adjust behavior in changing circumstances; moreover, AI can be used in an assistance role in software operated by humans. In this context, the element of AI application is taken out of the analysis: “AI is an enabler for autonomy but neither synonymous with it nor a prerequisite for it”²⁸.

François Delerue in his seminal *Cyber Operations and International Law* employs the term “autonomous cyber operations” describing them as those which “once activated, can select and engage targets without further intervention by a human operator” [Delerue 2020:158]. He comes to the conclusion that the autonomy of a cyber operation does not affect its attribution to a State, since ultimately every cyber operation is created, programmed and launched by human operators [Delerue 2020:162].

Empirical studies of cases where AI has been used to carry out cyber operations also use different terminology and are based on different methods for assessing the role of AI in the cyber incident. The literature review conducted by the Swedish Defence Research Agency revealed 19 cases of reported “artificially intelligent cyberattacks” as of March 2020²⁹. In accordance with the division of the cyberattack anatomy into stages, introduced by the authors of the study, AI was used and there is technical readiness for its use at all five stages: reconnaissance, access and penetration, internal reconnaissance and lateral movement, command and control, as well as exfiltration and sanitation³⁰, but primarily on the early phases³¹. A more recent study shows that the majority of “AI-driven cyberattack” techniques were identified in the access and penetration phase, followed by the use in exploitation and command and

²³ UNGA: Open-ended working group on developments in the field of information and telecommunications in the context of international security. Final Substantive Report. 10 March 2021. A/AC.290/2021/CRP.2 (OEWG Report 2021).

²⁴ UNGA: Resolution “Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security”. 4 January 2021. UN Doc A/RES/75/240.

²⁵ UNGA: Resolution “Programme of action to advance responsible State behaviour in the use of information and communications technologies in the context of international security”. 12 December 2022. UN Doc A/RES/77/37.

²⁶ Liivoja R., Naagel M. and Väljataga A. 2019. Autonomous Cyber Capabilities under International Law. – *NATO CCDCOE Publications*. URL: <https://ccdcoe.org/library/publications/autonomous-cyber-capabilities-under-international-law/> (accessed date: 10.07.2024).

²⁷ Ibid. P. 9.

²⁸ Ibid. P. 10.

²⁹ Zouave E. et al. 2020. Artificially Intelligent Cyberattacks. – FOI-R-4947—SE. URL: www.statsvet.uu.se/digitalAssets/769/c_769530-l_3-k_rapport-foi-vt20.pdf at 8 (accessed date: 10.07.2024).

³⁰ Ibid. P. 17.

³¹ Ibid. P. 37.

control phases³². It is worth emphasizing that there is very little empirical data in relation to inter-State AI-enabled incidents due to the predominantly classified status of such information.

To date, fully autonomous AI-enabled cyber operations have not been recorded. However, many of those phenomena that were previously the figment of imagination of science fiction writers are now reality. The rapid development of technology and the associated threats to international security require proactive analysis, particularly taking into account that cyber operations are increasingly driven by AI³³. Accordingly, the next section of this paper describes the key characteristics of the AI-powered inter-State cyber operations and provides a general overview of the application of the norms on use of force to them.

3. AI-powered cyber operations from the use of force perspective

For the purposes of further discussion, the term 'AI-powered cyber operation' (hereinafter, the AIpCO) is used, referring to the cases when a State or a non-State actor whose conduct is attributed to a State employs AI capabilities to execute a cyber-attack or defensive cyber-enabled actions without direct human intervention at least at some stages of the relevant activity. The AIpCOs range from simple, predefined actions to complex decision-making processes based on AI algorithms. An AIpCO might have the ability to spread itself through autonomous decision-making, adapting its tactics based on the specific characteristics of the infected system, similar to the WannaCry worm attack but with a more intelligent and adaptable approach³⁴. AI-powered malware is potentially able to learn from contextual information, imitate trustworthy system components,

exploit vulnerabilities, and evade detection, thus enabling it to cause extensive harm³⁵. AIpCOs can expand the existing threats of spear phishing attacks, which is obtaining data or initiating action from the attack's target by deceiving them with a seemingly reliable front³⁶. Moreover, they empower novel types of malicious cyber activities, involving for instance deepfakes or voice mimicking. Among the most extreme scenarios, an AIpCO in conjunction with social engineering techniques, such as fabricating a military order, is carried out or AI in another form is abused to enable nuclear weapons if nuclear control systems were digitalized and inadequately secured³⁷.

Among the well-known and thoroughly studied inter-State cyber incidents, the Stuxnet attack can be classified (with some degree of caution) as an early AIpCO. Discovered in June 2010, Stuxnet was a highly sophisticated cyberattack that specifically targeted industrial control systems and programmable logic controllers (PLCs) used in Iran's nuclear facilities. Stuxnet utilized advanced techniques, including the use of multiple zero-day vulnerabilities and root-kit capabilities, to infect its targets and remain undetected³⁸. It also employed complex algorithms and AI techniques to make decisions based on the specific characteristics of the targeted systems. Once inside the system, Stuxnet would manipulate the PLCs, causing them to malfunction and operate outside of their intended parameters. This resulted in physical damage to centrifuges used for uranium enrichment, leading to a significant slowdown in Iran's nuclear program. The level of complexity suggests that the Stuxnet worm was likely developed and deployed by a nation-State with significant resources. It has been widely speculated that the United States and Israel collaborated on the development of Stuxnet³⁹, although the attack was not attributed legally to any of

³² Guembe B. et al. 2022. The Emerging Threat of AI-driven Cyber Attacks: A Review. – *Applied Artificial Intelligence*. Vol. 36. Issue 1. e2037254. URL: <https://doi.org/10.1080/08839514.2022.2037254> (accessed date: 10.07.2024).

³³ Miller M. NATO Prepares for Cyber War. – *Politico*. 3 December 2022. URL: www.politico.com/news/2022/12/03/nato-future-cyber-war-00072060 (accessed date: 10.07.2024).

³⁴ The Next Paradigm Shift AI-Driven Cyber-Attacks. – *DarkTrace Research White Paper*. 2021. URL: www.oixio.ee/sites/default/files/the_next_paradigm_shift_-_ai_driven_cyber_attacks.pdf, at 2 (accessed date: 10.07.2024).

³⁵ *Ibid.* P. 3.

³⁶ Brundage et al (n 11). P. 18.

³⁷ For the description of cyber-nuclear conflicts scenarios refer, e.g., to Stoutland P. O. and Pitts-Kiefer S. Nuclear Weapons in the New Cyber Age. – *Nuclear Threat Initiative*. 26 September 2018. URL: www.nti.org/analysis/reports/nuclear-weapons-cyber-age (accessed date: 10.07.2024).

³⁸ Kaspersky. Stuxnet Explained: What It Is, Who Created It and How It Works. URL: www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-stuxnet (accessed date: 10.07.2024).

³⁹ Kushner D. The Real Story of Stuxnet. – *IEEE Spectrum*. 19 January 2024. URL: <https://spectrum.ieee.org/the-real-story-of-stuxnet> (accessed date: 15.07.2024); Council on Foreign Relations. Stuxnet. URL: www.cfr.org/cyber-operations/stuxnet (accessed date: 15.07.2024).

these States. Stuxnet was unique in its ability to sabotage physical infrastructure through cyber means. It demonstrated the potential for cyberattacks to cause real-world damage and highlighted the growing importance of cybersecurity in critical infrastructure protection. Stuxnet was widely regarded groundbreaking also as an example of a cyberattack able to conduct autonomously and carry out complex actions without human intervention⁴⁰. Stuxnet, thus, “appears to be the first autonomous weapon with an algorithm, not a human hand, pulling the trigger”⁴¹.

Before proceeding to the analysis of the norms on use of force potentially applicable to AIpCOs such as Stuxnet and more advanced ones, it is helpful to address their properties relevant for the analysis of the legal consequences of the AIpCOs commission, particularly those distinguishing AIpCOs from other types of cyber operations.

a. Certain characteristics of AIpCOs relevant for further discussion⁴²

The first characteristic that lies on the surface is that AI and ML technologies are employed to automate various aspects of an AIpCO. For the AIpCOs involved in the cybersecurity systems this includes tasks such as threat detection, incident response (including, automated “hack-back”), vulnerability management, and security analytics. Leveraging AI and ML algorithms enables analyzing large volumes of data in real-time, identifying patterns, and detecting anomalies that may indicate potential cyber threats or attacks. Additionally, these technologies can continuously learn and adapt to new threats and attack techniques, improving their effectiveness over time. The AIpCOs committed for malicious purposes leverage AI and ML to compromise security of the target and the integrity of its computer networks. In the

cases when a State is a target of an AIpCO, its digital security (e.g. provision of public services which are digitalized), physical security (if an AIpCO reaches the level of an armed attack) and political security (e.g., in the cases of interference in political processes including elections, or targeted disinformation campaigns) are put at risk⁴³.

This description also highlights the second characteristic of AIpCOs – their dual-use nature, that is applicability both for cybersecurity and hostile actions [Taddeo, McCutcheon, Floridi 2019:557]. Defensive AIpCOs focus on preventing, detecting, and responding to cyber threats and attacks employing AI. This includes activities such as implementing security controls, monitoring network traffic for anomalies, conducting vulnerability assessments, and incident response – “hack back”⁴⁴. Offensive operations, on the other hand, involve actively targeting and compromising adversary networks, systems, or data. Such operations can include activities such as reconnaissance, exploitation, and disruption of adversary’s capabilities⁴⁵. These operations are typically carried out in a controlled manner and may involve intelligence gathering, penetration testing, or even offensive cyber warfare in certain contexts. Both offensive and defensive AIpCOs are essential components of a comprehensive State cybersecurity strategy.

Finally, it is necessary to note such a feature of AIpCOs as autonomy which refers to the degree to which AI systems can independently make decisions and carry out actions within the cyber operation without human intervention. This level of autonomy can vary, ranging from systems that require human approval for every action (“human-in-the-loop”), then the systems operating autonomously but under human supervision (“human-on-the-loop”), to those that can operate with minimal or no human oversight (“human-out-of-the loop”)⁴⁶. Advances in ML

⁴⁰ Kaspersky (n 38).

⁴¹ Healey J. Stuxnet and the Dawn of Algorithmic Warfare. – *Huffington Post*. 16 April 2013. URL: www.huffingtonpost.com/jason-healey/stuxnet-cyberwarfare_b_3091274.html (accessed date: 11.07.2024).

⁴² Since the author is not a specialist in the field of computer science, the summary of characteristics given in the text does not claim to be a comprehensive and technically accurate description. The purpose of this section is to point out those features of AIpCOs that are important for further legal analysis.

⁴³ Brundage et al (n 11). P. 10.

⁴⁴ Tammet T. 2021. Autonomous Cyber Defence Capabilities. – *Autonomous Cyber Capabilities under International Law*. Livoja R., Väljataga A. (eds). (NATO CCDCOE Publications). At 39. 42-45. URL: <https://ccdcoe.org/uploads/2021/05/Autonomous-Cyber-Capabilities-under-International-Law.pdf> (accessed date: 11.07.2024).

⁴⁵ The Use of Artificial Intelligence in Cyber Attacks and Cyber Defense. 2 September 2023. URL: <https://secureops.com/blog/ai-offense-defense/> (accessed date: 15.07.2024).

⁴⁶ Garcia E.V. 2019. Artificial Intelligence, Peace and Security: Challenges for International Humanitarian Law. – *Cadernos de Política Exterior* n° 8. Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais (IPRI). Brasília. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3595340 (accessed date: 11.07.2024).

and AI algorithms have enabled cyber operations to become more autonomous allowing them to adapt and evolve their strategies based on real-time feedback and changing circumstances. The autonomy of AIpCOs offers several advantages, which might be especially relevant for defensive operations. In particular, it allows for faster response times, as AI can detect and mitigate threats in real time, without the need for human intervention, as well as adapts to the changing circumstances and corrects actions due to behaviour of adversaries without additional input from the human operator⁴⁷. It can also handle a larger volume of attacks, improving the overall security posture. Moreover, AI can identify complex attack techniques and vulnerabilities that may be difficult for humans to detect. However, there are challenges associated with the autonomy of AIpCOs, and the lack of human oversight raises concerns about liability and ethics. In situations where AI systems make decisions that have significant consequences, such as launching offensive operations or making critical infrastructure decisions, the potential for unintended consequences or malicious use due to lack of the situational awareness and political understanding of reality becomes a concern [Stroppa 2023:2].

b. Application of international law on the use of force to AIpCOs

The growing sophistication and autonomy of AIpCOs raise significant concerns about their potential impact, moral implications and legality, including in relation to the corpus of international law on the use of force. This calls for a review of the extent to which AIpCOs can be conducted in accordance with Article 2(4) of the UN Charter, which prohibits the use of force, and Article 51, which concerns the right of self-defence.

The two-threshold approach outlined in the UN Charter serves as the foundation for the implementation of international law principles pertaining to the use of force. This approach encompasses the duality

of the “use of force” and “an armed attack” (Article 2(4) of the UN Charter). Furthermore, the “scale and effects” doctrine, as articulated by the International Court of Justice (hereinafter, the ICJ) in the *Nicaragua* case⁴⁸, provides additional support for this approach. One of the most frequently cited sources on the application of the norms of international law in the context of cyberspace – the *Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations* [Schmitt 2017] (hereinafter, the ‘**Tallinn Manual 2.0**’) – suggests that a cyber operation constitutes a use of force, and thus its commission violates Article 2(4), if its “scale and effect” are comparable to a kinetic attack that rises to the level of the use of force⁴⁹. It is evident that the UN Charter lacks an appropriate definition of what would constitute force and (or) an armed attack, particularly, in cyberspace. Furthermore, there is a lack of clarity regarding the threshold of cyberattacks that would invoke Article 51.

It is sometimes claimed in the literature that the notion “force”, in line with the ICJ approach in the Dispute regarding *Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua)*⁵⁰ should have an evolving meaning, as other generic terms employed in international treaties of unlimited duration [Roscini 2014:46-47]. Thus, certain States have identified different approaches to the evolutionary interpretation of the term “force”, including the so-called “effects-based”, “instrument-based” and “target-based” approaches.

Those States that adopt the “effects-based” approach go so far as to apply the evolutionary interpretation of the term “force” in Article 2(4), thereby including cyber operations without physical effects within its scope. France suggested adopting a non-exhaustive list of criteria for the assessment of whether a ‘cyber operation without physical effects’ can be characterized as the use of force, which criteria include “the circumstances prevailing at the time of the operation, such as the origin of the operation and the nature of the instigator (military or not), the extent of intrusion, the actual or intended effects of

⁴⁷ McFarland T. 2021. *The Concept of Autonomy*. (n 44). P. 23.

⁴⁸ ICJ: *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*. Merits Judgment of 27 June 1986. – *I.C.J. Rep.* 1986. Para 195.

⁴⁹ Tallinn Manual 2.0. Rule 69.

⁵⁰ ICJ: *Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua)*. Judgment, 2009. – *ICJ Rep.* 213. Para 66: “[W]here the parties have used generic terms in a treaty, the parties necessarily having been aware that the meaning of the terms was likely to evolve over time, and where the treaty has been entered into for a very long period or is ‘of continuing duration’, the parties must be presumed, as a general rule, to have intended those terms to have an evolving meaning”.

the operation or the nature of the intended target”⁵¹. According to a declaration made by the Dutch Minister of Foreign Affairs, a cyber operation that has a substantial financial or economic impact could be considered a use of force⁵². The UK Cyber Primer, while acknowledging the necessity for a cyber operation to cause “the same or similar effects as a kinetic attack”, makes a clarification in a footnote that permits such a qualification for attacks, like “a sustained attack against the UK banking system, which could cause severe financial damage to the state leading to a worsening economic security situation for the population”⁵³. This may be indicative of a desire on the part of certain States (it should be noted that their number is limited) to extend the scope of the internationally prohibited “use of force” through the use of domestic efforts that could be considered an indication of State practice and *opinio juris*. Other States, while espousing the “effect-based” approach, are circumspect in applying it to cyber operations devoid of physical damage. For instance, Italy stated that “[w]hile it is generally accepted that cyber operations resulting in material damage can constitute a use of force”, it considers “the qualification of cyber operations which merely cause loss of functionality a controversial one”⁵⁴.

Another analytical approach involved for the assessment of the use of force prohibition to cyber-enabled activities is the “instrument-based” approach [Roscini 2014:47]. It is predicated on the general and broad acknowledgement in national perspectives that any use of force, regardless of the type of weapon, might violate the prohibition of the use of

force⁵⁵. It is underpinned by the permissibility of the consequential use of the analogy with kinetic attacks (causing deaths, injury or the destruction of physical objects). The applicability of this approach is questioned by some States, in particular by Germany, which “shares the view that with regard to the definition of “use of force”, emphasis needs to be put on the effects rather than on the means used”⁵⁶.

Finally, a “target-based” approach can be involved to substantiate that a cyberattack constitutes use of force if it is conducted against national critical infrastructure of a victim State [Roscini 2014:47]. This approach is endorsed by Estonia in combination with the “effects-based” approach: “A cyber operation that targets critical infrastructure and results in serious damage, injury or death, or a threat of such an operation, would be an example of use of force”⁵⁷. Israel extends it by providing practical examples: “Hacking into the computers of the railroad network of another State and programming the controls in a manner that is expected to cause a collision between trains can amount to use of force”⁵⁸, referring also to the effects of the attack alongside its target. Overall, the “target-based” approach, if employed in isolation, carries the risk of expansive application, as it labels any cyber operation targeting a critical national infrastructure as a use of force, even if it causes only nuisance or merely gathers information. Besides, there is no consensus on what exactly constitutes “critical national infrastructure”, which creates further ambiguity. The Russian national regulation, thus, broadens the definition of “critical information infrastructure objects” by listing the sectors in which

⁵¹ Ministère des Armées. France: International Law Applied to Operations in Cyberspace. P.7. URL: <https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/ministere-armees/Droit%20international%20appliqu%C3%A9%20aux%20op%C3%A9rations%20dans%20le%20cyberespace.pdf> (accessed date: 15.11.2024).

⁵² Letter from the Minister of Foreign Affairs to the President of the House of Representatives on the International Legal Order in Cyberspace. 5 July 2019. Appendix: International Law in Cyberspace. P. 4.

⁵³ UK Ministry of Defence: Cyber Primer. 2nd ed. 2016. Annex 1A – *International Law aspects*. P. 12.

⁵⁴ Italian Ministry for Foreign Affairs and International Cooperation: Italian position paper on “International law and cyberspace. 2021. P. 8. URL: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/11/italian_position_paper_on_international_law_and_cyberspace.pdf (accessed date: 15.11.2024).

⁵⁵ ICJ: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory Opinion. 1966. – *ICJ Rep.* 226. Para 39.

⁵⁶ Germany. On the Application of International Law in Cyberspace: Position Paper. P. 6. URL: <https://www.auswaertigesamt.de/blob/2446304/32e7b2498e10b74fb17204c54665bdf0/on-the-application-of-international-law-in-cyberspace-data.pdf> (accessed date: 15.11.2024).

⁵⁷ Official compendium of voluntary national contributions on the subject of how international law applies to the use of information and communications technologies by states submitted by participating governmental experts in the Group of Governmental Experts on Advancing Responsible State Behaviour in Cyberspace in the Context of International Security. 13 July 2021. UN Doc. A/76/136. P. 26.

⁵⁸ Schondorf R. Israel’s Perspective on Key Legal and Practical Issues Concerning the Application of International Law to Cyber Operations. – *EJIL:TALK!* 9 December 2020. P. 399. URL: <https://www.ejiltalk.org/israels-perspective-on-key-legal-and-practical-issues-concerning-the-application-of-international-law-to-cyber-operations> (accessed date: 15.11.2024).

relevant information systems and networks operate. These sectors include healthcare, science, transport, communications, energy, banking and other financial market sectors, the fuel and energy complex, nuclear energy, defence, rocket and space industry, mining, metallurgy and chemical industry⁵⁹. Thus, physical objects of information infrastructure and telecommunication networks used to organize interaction between them constitute the concept of “critical national infrastructure”, attack on which can potentially constitute use of force if Russia applied the “target-based” approach.

As shown by the various methods examined, the severity of the attack, its immediacy, directness, invasiveness, measurability of effects, military nature, State involvement and the alleged legality of the attack are just some of the quantitative and qualitative factors that can be used to determine whether a cyber operation crosses the line into the use of force. However, the assessment of certain of these qualitative factors, including intensity of the operation, is hardly possible by means of autonomous AI algorithms, which requires pre-programming or operator control to comply with restrictions on the use of force [Stroppa 2023:3]. Whether AI will in principle be able to assess the legality of an attack is a question that remains open. Furthermore, the potential consequences of autonomous cyber operations as a means of force extend beyond immediate physical damage. The interconnected nature of cyberspace means that attacks can have cascading effects, impacting critical infrastructure, economic stability, and even human lives. Evaluating the potential collateral damage and long-term consequences of such operations becomes essential in assessing their legality.

The notion of the ‘armed attack’ defined by the ICJ as “the most grave forms of the use of force”⁶⁰ requires a nuanced approach when applied for quali-

fication of actions in cyberspace. The international group of experts – authors of the Tallinn Manual 2.0 suggested that a cyber operation reaches the level of an armed attack if it kills or seriously injures several persons or significantly damages or destroys property⁶¹. In the context of cyber operations, this could theoretically mean situations where critical infrastructure, such as power grids or transport systems, is targeted, resulting in physical damage or significant disruption, or causing death, for example by an attack on a hospital network. However, the matter of qualification of hostile activities in cyberspace as an armed attack remains highly controversial, which is confirmed, inter alia, by the lack of uniformity in the States positions within the UN GGE working sessions and the fact that, as a consequence, this issue remained unresolved in the last report of the UN GGE⁶². The uncertainty of States as to whether a cyber operation can constitute an armed attack is manifested, for example, in the persistent mantra of analysing each incident “on a case-by-case basis”⁶³.

The issue of applicability of the right to self-defence against cyber operations became a bone of contention in the work of the UN GGEs. Both the 2013 and 2015 reports acknowledged the role of the UN Charter in promoting international peace, but the right to self-defence (Article 51) sparked intense arguments in every UN GGE session leading up to their adoption and reached its peak within the work of the UN GGE on the fifth report in 2016–2017. Western nations pushed to explicitly include self-defence as a response to cyberattacks, but some other countries resisted. Russia, China and Cuba were particularly opposed to this idea. Some expressed the concern that extending Article 51 of the UN Charter to cyberattacks could lead to a constant cycle of conflict in the digital realm. Particularly, the position of Cuba was based on the assertion that the draft text of

⁵⁹ Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» [Federal Law “On the Security of Critical Information Infrastructure of the Russian Federation”]. No. 187-FZ dated 26 July 2017. Art. 2(8). (In Russ.)

⁶⁰ *Nicaragua v US*. Para. 191.

⁶¹ Tallinn Manual 2.0. Rule 71. Para 8.

⁶² See Report of the Group of Governmental Experts on Advancing Responsible State Behaviour in Cyberspace in the Context of International Security. UN Doc A/76/135 (14 July 2021). Para. 71(f).

⁶³ See, e.g.: African Union Peace and Security Council: Common African Position on the Application of International Law to the Use of Information and Communication Technologies in Cyberspace. 29 January 2024. P. 6: “Whether a particular cyber operation constitutes a use of force or amounts to an armed attack should be determined on a case-by-case basis”; Compendium. P. 69–70. Position of Norway: “A cyber operation may constitute use of force or even an armed attack if its scale and effects are comparable to those of the use of force or an armed attack by conventional means. This must be determined based on a case-by-case assessment having regard to the specific circumstances”.

the UN GGE report “aimed to establish equivalence between malicious use of ICTs and the concept of ‘armed attack’, as provided for in Article 51”⁶⁴.

The content of measures constituting self-defence also raises the question of their nature. To date, consensus has been formed in the national positions of the States that have expressed themselves on this issue that self-defence in response to a cyberattack can be expressed by both cyber and kinetic means; conversely, cyber means can be used in self-defence against a kinetic attack⁶⁵. The logic behind this attitude was expressed by Poland which indicated that “[d]eprivation of the right to respond to such a cyberattack with kinetic means could render the self-defence right illusory when the perpetrator of an armed attack is little dependent on its functioning in cyberspace”⁶⁶.

In order for AI to exercise the right of self-defence under Article 51 of the UN Charter, it must be able, first, to classify hostile actions, whether kinetic or cyber, as an “armed attack” and, second, to respond within the predetermined parameters of self-defence, namely necessity and proportionality⁶⁷. Furthermore, a response in the form of hacking back necessitates an irrefutable attribution of the initial attack to the perpetrator to circumvent the potential for the deployment of force against a third State and the concomitant liability for the responding State. The use of various masking and mimicry technologies complicates technical attribution, not to mention the complexity of legal attribution of activities to a State, which is primarily a political decision, and therefore requires a broader contextual approach than that which can be provided by AI.

c. Attribution of AIpCOs to States

The question of the possibility and procedure for attributing actions committed during an AIpCO to a State is connected, on the one hand, with the limits of the autonomy of such an operation (which were discussed earlier), and on the other – with the broader and highly controversial issue of potential legal personality of AI.

Addressing the latter aspect, it is worth noting that the Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (hereinafter, the ARSIWA)⁶⁸ operates in terms “person”, “a group of persons” and “entity” listing the actors whose conduct can be attributed to a State⁶⁹. According to the ILC commentaries to ARSIWA⁷⁰, the term “person or entity”, although used in a broad sense, includes a natural or legal person⁷¹ but not a technology. The term “group of persons” is intended to emphasize the fact that the attributable conduct “may be that of a group lacking separate legal personality but acting on a *de facto* basis”⁷². In this paradigm centered on personality, it seems that actions committed within an AIpCO with a high level of autonomy cannot in principle be attributed to a State at least until AI technology is given legal personality. Two possible approaches can be preliminary discussed.

The first approach lies in the plane of recognizing the AI legal personality, whereupon the concept of “person” for the purposes of applying the law of State responsibility will include not only natural and legal persons, but also AI as a technology or algorithm, depending on how it is defined for the purposes of

⁶⁴ Declaration by Miguel Rodríguez, Representative of Cuba, at the Final Session of Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security. New York. 23 June 2017.

⁶⁵ See, e.g.: International law and cyberspace. Finland’s national positions. P. 7. URL: https://um.fi/documents/35732/0/KyberkannatPDF_EN.pdf/12bbbbbde-623b-9f86-b254-07d5af3c6d85?t=1603097522727 (accessed date: 15.11.2024).

⁶⁶ Ministry of Foreign Affairs of Poland, The Republic of Poland’s Position on the Application of International Law in Cyberspace at 5. 29 December 2022. URL: <https://www.gov.pl/web/diplomacy/the-republic-of-polands-position-on-the-application-of-international-law-in-cyberspace> (accessed date: 15.11.2024).

⁶⁷ *Nicaragua v US*. Paras. 176, 194. On proportionality in the *jus as bellum* for autonomous cyber capabilities see Margulies P. 2021. Autonomous Cyber Capabilities, Proportionality, and Precautions. (n 44). P. 162-165.

⁶⁸ UNGA: Res. 56/83. Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 12 December 2001. UN Doc. A/RES/56/83.

⁶⁹ Article 4(2) ARSIWA: “An organ includes any person or entity which has that status in accordance with the internal law of the State”. The term “person or entity” is also used in Article 5 and 7. The term “group of persons” is used in Articles 8 and 9.

⁷⁰ International Law Commission: Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries. 2001. UN Doc. A/56/10. (The ARSIWA w. Commentaries).

⁷¹ ARSIWA w. Commentaries, commentary (12) to Article 4.

⁷² *Ibid.* Commentary (9) to Article 8.

designating its personality. In this case, AI would be considered a person whose actions might, in theory, be attributed to a State under the general grounds for attributing conduct to a State, specifically as directed or controlled by a State under Article 8 ARSIWA. The discussion about the (im)practicability and (im)possibility of recognizing the legal personality of AI is by now quite robust and relates to the issues of liability of AI in general, for instance, in the context of self-driving cars, as well as in other areas, including intellectual property rights [Čerka, Grigienė, Sirbikytė 2017; Chesterman 2020]. In the context of the law of State responsibility, it can be advocated that at least limited personhood shall be accorded to AI once it reaches the level of autonomous decision making [Stahl 2006:211]. Curiously, in August 2022 the US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) imposed sanctions on the so-called virtual currency mixer "Tornado Cash"⁷³ which technically is a computer code, a set of smart contracts on the Ethereum blockchain, and does not fall under the definition of a "person" according to Executive Order No. 13694, on the basis of which the sanctions were applied. However, apart from this exception case, to date there is no evidence of State practice or *opinio juris* to support a supposition that AI or another technology can be treated as a legal subject from the international law perspective⁷⁴. This first approach, at the same time, introduces a wide range of ethical issues related to the anthropomorphization of technology, which cannot be resolved solely by the methods of legal and political science.

The second approach is perhaps more instrumental and consists in recognizing AI exclusively as a tool for performing AIpCOs, regardless of the degree of the algorithm autonomy in making decisions. In this case, the question of conduct attribution refers not to the "State – AI" relation, but to the relation 'State – natural or legal person' that programmed, launched or supervised an AIpCO, even if the degree of autonomy of such operation reached the level "human-out-of-the-loop". This approach brings the debate

about responsibility for inter-State AIpCOs closer to the discussion of responsibility for using LAWS. At the same time, with perhaps a simpler legal implementation compared to the first approach (as it does not create novel legal obstacles), it is associated with certain practical difficulties, some of which are already observed while attempting to attribute "old-fashioned" cyber operations without AI, and which get even more complicated with the addition of an AI element to them. These difficulties relate both to the application of specific grounds of attribution (particularly, the State control over the conduct of non-State actors under Article 8 ARSIWA) and a duty to reach any of the standards of proof applicable in international law [Roscini 2015:248]. Thus, starting with the early well-known cases of cyber operations targeted against States, such as a cyberattack against Estonia in 2007⁷⁵, States have been resorting quite willingly to accusations and condemnation. However, the transition from "naming and shaming" [Finnemore, Hollis 2020] to official attribution is complicated by legal and political reasons: namely, the need to prove the ground of attribution, that is the link between the attack perpetrator and the State, and to disclose evidence. Instead, States tend to use rather vague language about their belief in another State sponsoring malicious cyber activity: so, the UK rated the probability of the Russian military intelligence service (GRU) perpetrating a cyberattack against Georgia in 2019 as "almost certain" (95 % + probability)⁷⁶, though no evidence proving attribution was provided. Until recently, a situation in which a State would admit involvement in malicious actions in cyberspace against another State, much less proactively declare them, was unthinkable. However, since October 2023, the Main Intelligence Directorate of the Ukrainian Ministry of Defense has openly accepted responsibility for at least five episodes of cyberattacks, the most plausible of which was the statement about an attack on the Russian company IPL Consulting which develops and implements technological solutions for managing processes in heavy

⁷³ U.S. Department of the Treasury: Press release "Treasury Sanctions Notorious Virtual Currency Mixer Tornado Cash". 8 August 2022. URL: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0916> (accessed date: 11.11.2024).

⁷⁴ Liivoja, Naagel and Väljataga (n 26). P. 32.

⁷⁵ Estonian Links Moscow to Internet Attack. – *The New York Times*. 18 May 2007. URL: www.nytimes.com/2007/05/18/world/europe/18estonia.html (accessed date: 15.11.2024).

⁷⁶ Foreign & Commonwealth Office: Press Release "UK Condemns Russia's GRU over Georgia Cyber-Attacks". 20 February 2020. URL: www.gov.uk/government/news/uk-condemns-russias-gru-over-georgia-cyber-attacks (accessed date: 15.11.2024).

industry⁷⁷. Probably, official statements on behalf of a Ukrainian government agency are designed for some informational effect, and exclude the possibility of any real legal consequences in terms of responsibility, which once again emphasizes the highly politicized nature of the issue of attribution.

In case of AIpCOs, complications are added to the matter of attribution from both sides: substantive and evidentiary⁷⁸. The introduction of an additional element of AI into the process of establishing the connection between the individual or individuals responsible for the cyber operation and the State may present a significant challenge in determining the grounds for attribution, namely on the basis of State control over the conduct under Article 8 ARSIWA, if the perpetrator himself does not control the progress (in a worst case scenario, even the launch) of the operation due to the fact that decision-making is transferred to AI. The regime of objective responsibility can probably be applied to any malicious use by a State of AI technically attributable to that State, regardless of its degree of autonomy. However, for the practical application of such a regime, States should agree, not at the level of abstract principles, but in the form of concrete commitments to ensure transparency and traceability of the use of AI. The fundamental achievability of such agreements raises serious doubts, based, among other things, on the entire history of discussions between States about norms on responsible behavior in cyberspace, which shows a low level of trust among participants of this process in relation to each other. In the absence of such commitment on traceability, attribution of the malicious

use of AI will require provision of evidence, which in its turn potentially might lead to the disclosure of sensitive information about the victim-State's cyber defence capabilities, including AI systems employed for the task of national cybersecurity. This will lead to the same situation that already exists with regard to conventional cyber operations, where States are extremely reluctant to provide evidence of their accusations against alleged attackers for fear of compromising the secrecy of data about their own cyber capabilities⁷⁹.

4. "Journey beyond Tomorrow": formation of norms on responsible use of AI by States as transnational legal process

This section of the study is based on the methodology of Transnational Legal Process (hereinafter, the TLP), also known as the "New" New Haven School of International Law. TLP is a conceptual framework for understanding international law and a school of thought that provides a comprehensive approach to the study of how international legal norms are created by private and public actors, applied, interpreted, enforced and internalized in a globalized world [Koh 2001:313]. The applicability of this methodological approach to researching the process of formatting international (or transnational) legal regulation of AI application in general, and in the context of cyber operations in particular, can be justified by specific features of TLP as a mode of international legal scholarship. At the heart of this approach lies the idea that legal norms are internalized through repeated cycles

⁷⁷ Fornusek M. Military Intelligence Claims Cyberattack on IT Company Providing Services to Russian Defense Industry. – *The Kyiv Independent*. 27 January 2024. URL: <https://kyivindependent.com/military-intelligence-claims-powerful-cyberattack-on-russian-it-company> (accessed date: 11.11.2024).

⁷⁸ For a detailed discussion of applying possible grounds of attribution under ARSIWA refer, e.g., to Haataja S. 2021. Attribution in the Law of State Responsibility. – Liivoja and Väljataga (n 44). P. 260.

⁷⁹ The question of attribution became a subject matter of national contributions which certain States submitted within the work of UN GGE in 2019–2021. Most of the contributing States expressed quite a cautious position about the standard of attribution of malicious cyber-enabled activities to another State. E.g., Australia noted that "States are entitled, in their sole discretion, and based on their own judgement, to attribute unlawful cyber activities to another State. States should act reasonably when drawing conclusions based on the facts before them". The necessity to reveal evidence is not mentioned. Similar position was expressed by Estonia: "Attribution remains a national political decision based on technical and legal considerations regarding a certain cyber incident or operation. Attribution will be conducted on a case-by-case basis, and various sources as well as the wider political, security and economic context can be considered", as well as Germany which considers that "that there is no general obligation under international law as it currently stands to publicize a decision on attribution and to provide or to submit for public scrutiny detailed evidence on which an attribution is based" and some other States. Contribution of the Russian Federation, on the contrary, called for the avoidance of unsubstantiated accusations and for disclosure of necessary technical evidence. See the "Official compendium of voluntary national contributions on the subject of how international law applies to the use of information and communications technologies by States submitted by participating governmental experts in the Group of Governmental Experts on Advancing Responsible State Behaviour in Cyberspace in the Context of International Security established pursuant to General Assembly resolution 73/266". 13 July 2021. UN Doc A/76/136*.

of “interaction-interpretation-internalization”, where “particular readings of applicable global norms are eventually domesticated into states’ domestic legal systems” [Koh 2007:566] and through this compliance of States with international law is promoted. The process is shaped by the interaction of the so-called “agents of internalization”, which include non-State actors (so-called transnational norm entrepreneurs), official representatives of States (governmental norm sponsors), transnational issue networks, and interpretive communities [Koh 2007:567-568]. The agents of internalization prompt interaction through which the interpretation or articulation of the global norm relevant to the circumstance takes place. The aim of the initiator might be not (or not only) in the coercion of the counterparty to obey the norm but in internalization of the international norm in the counterparty’s domestic system [Koh 2022:113].

The four distinctive features of the transnational legal process, as they are described by Harold Hongju Koh, one the founding fathers of TLP, fully manifest in the process of international AI- and cybernorms formation. First, the TLP as a methodological approach is non-traditional in the sense that it dismantles the traditional dichotomies between international and domestic, public and private [Koh 2001:314]. It is evident that the process of formalising norms on the behaviour of actors in cyberspace and the nascent discussion on AIPCOs does not occur within the confines of either the national or international level. This is because it is neither a matter of regulation that is confined solely to the borders of each particular State nor is it solely a matter of regulation that is confined to operating across their borders. Consequently, the norms and guidelines defining acceptable State conduct in cyberspace with the aim of mitigating the risks posed by cyber activity both within and between States and fostering stability, security, and trust in the digital sphere, can be found in national legislation and at the international level. Domestic norms, included particularly in cybersecurity strategies and doctrines with the EU Cybersecurity

Strategy of 2020⁸⁰ and the US National Cybersecurity Strategy of 2023⁸¹ among recent instances, establish regulations that outline the rights, responsibilities, and liabilities of individuals, organizations, and institutions concerning cybersecurity. The EU Artificial Intelligence Act represents one of first examples of comprehensive domestic regulation of AI, which introduces certain limitations in application of AI aiming to protect citizens’ rights⁸². National laws in this field also typically cover areas such as data protection, privacy, intellectual property, and cybercrime. International norms can be found both in international treaties, including Budapest Convention on Cybercrime and the Draft UN Convention against cybercrime adopted by consensus on 7 August 2024, as well as in an emerging form in sources of soft law such as the UN GGE principles of responsible State behaviour in cyberspace, recommendations of the UN High-level Advisory Body on Artificial Intelligence encapsulated in the Final Report “Governing AI for Humanity”⁸³ and the “Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence”, adopted in 2021 by UNESCO. The formalization of AI and cybersecurity norms also dissolves the private-public divide because they are intended to regulate State-to-State relations (mainly defining the boundaries of legitimate inter-State influence in cyberspace), which makes them a component of “public” international law, and at establishing a procedure for cross-border interaction (for example, with respect to personal data transfer) between non-State actors – that is, in the context of “private” international law.

Second, transnational legal process is non-statist meaning that it involves not only States but also, and sometimes primarily, non-State actors [Koh 2001:314]. The subject of the application of international law in cyberspace, and in particular the debate surrounding the requirement, or perhaps the redundancy, of international legal regulation of the use of AI, is a truly multi-stakeholder one. Furthermore, international cybersecurity norms encompass confidence-building measures (CBMs), which are

⁸⁰ Joint Communication to the European Parliament and the Council on the EU’s Cybersecurity Strategy for the Digital Decade. 16 December 2020. URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eus-cybersecurity-strategy-digital-decade-0> (accessed date: 13.07.2024).

⁸¹ The White House (n 9).

⁸² European Parliament. Press release “Artificial Intelligence Act: Deal on Comprehensive Rules for Trustworthy AI”. 9 December 2023. URL: <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231206IPR15699/artificial-intelligence-act-deal-on-comprehensive-rules-for-trustworthy-ai> (accessed date: 11.07.2024).

⁸³ Governing AI for Humanity: Final Report. 2024. URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/governing_ai_for_humanity_final_report_en.pdf (accessed date: 16.11.2024).

voluntary actions taken by States to increase transparency and reduce the risk of misperception or miscalculation in cyberspace⁸⁴. CBMs include sharing information on national cybersecurity strategies, participating in joint exercises, and establishing hotlines for communication during cyber incidents. In the paradigm of TLP, repeated situations of interaction between State representatives, international organizations and bodies (such as the Internet Governance Forum), expert groups, academia and civil society have the potential to crystallize the norms of international law applicable to the inter-State cyber incidents, including AIPCOs, through the interpretation of existing provisions and facilitation of discussions, negotiations, and consensus-building among nations.

Third, transnational legal process is not static but dynamic [Koh 2001:314]: the norms change and evolve in the cycles of interactions, they move bottom-up from private initiatives to the legislator, and *vice versa*, and also migrate from the national to the inter-State level, and in the opposite direction. Thus, the emerging field of international soft law regarding AI relationships results in the interaction of various sources, such as private agreements (often, market-driven [Chinen 2023:72-106]) made by corporations, regulations set by individual States, the body of international law itself, recommendations of international organizations, and civil society, which predefines formulation of the normative framework through a range of approaches, from voluntary agreements to formal regulations.

Finally, transnational legal process is normative [Koh 2001:314]. Subsequent stages of the interactive cycle of interaction and interpretation internalize these norms and promulgate compliance with them as part of the States' internal normative system and value set. With respect to AIPCOs the regulation decisions are multilevel, and the interaction between the "agents of internalization" leads to informal law-making, in particular through interpretations on the

international level with further incorporation into national policies⁸⁵. As an example, the AI Policy Observatory was established by the OECD with the purpose of overseeing AI policies and producing documents that have an impact on national policies: the "Recommendation of the Council on Artificial Intelligence" of 2019 (amended in 2023) contains, *inter alia*, recommendations for the States adhering to this document on the development of national policies for AI, including experimental regimes for testing AI systems⁸⁶.

Regional and State positions on cyber-related issues, including rule of international law, are anything but uniform, and today this split is more visible than ever. Thus, NATO's 2022 Strategic Concept adopted at the Madrid Summit in June 2022 emphasizes the need for enhancement of the "strategic partnership" between the Alliance and the EU, including in the task of "countering cyber and hybrid threats"⁸⁷. Cooperation contemplates exchange of cyber threat intelligence, joint training and research as well as regulatory convergence. As another vivid and recent example, the new US National Cybersecurity Strategy⁸⁸ premises on the opposition of the States designated as authoritarian, which include China, Russia, Iran and North Korea⁸⁹, and countries that share the declared commitment of the United States to democratic freedom and human rights. This opposition is repeatedly emphasized throughout the text of the US National Cybersecurity Strategy: it goes as far as naming China, Russia, Iran and North Korea as the main adversaries of the US in cyberspace which "with revisionist intent are aggressively using advanced cyber capabilities to pursue objectives that run counter to our interests and broadly accepted international norms"⁹⁰ (although, the US Strategy does not clarify which international norms precisely). On the other side, Russia and China as part of the BRICS, signed the XIV BRICS Summit Beijing Declaration which underscored "the importance of establishing legal frameworks of cooperation among

⁸⁴ Healey J. et al. Confidence-Building Measures in Cyberspace. A Multistakeholder Approach for Stability and Security. – *Atlantic Council*. 2014. URL: www.files.ethz.ch/isn/185487/Confidence-Building_Measures_in_Cyberspace.pdf (accessed date: 12.07.2024).

⁸⁵ On the review of national AI policy regimes and their typology depending on the State's governance mode see: Filgueiras F. 2022. Artificial Intelligence Policy Regimes: Comparing Politics and Policy to National Strategies for Artificial Intelligence. – *Global Perspectives*. Vol. 3. Issue 1. URL: <https://doi.org/10.1525/gp.2022.32362> (accessed date: 11.07.2024).

⁸⁶ OECD: Recommendation of the Council on Artificial Intelligence. Paris: OECD. 2019. URL: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449> (accessed date: 13.07.2024).

⁸⁷ NATO 2022 Strategic Concept, para. 43. URL: www.nato.int/strategic-concept/ (accessed date: 14.07.2024).

⁸⁸ The White House (n 9).

⁸⁹ *Ibid.* at 3.

⁹⁰ *Ibidem.*

BRICS countries on ensuring security in the use of ICTs” and acknowledged “the need to advance practical intra-BRICS cooperation through implementation of the BRICS Roadmap of Practical Cooperation on ensuring security in the use of ICTs”⁹¹.

In the context of such open confrontation, are there prospects for a rapprochement, in particular on the issue of the responsible use of AI? Will the US, China, and Russia be prepared to collaborate and restrict the use of AI for malevolent purposes, given their divergent stances but shared aspirations to lead the development of AI?

The history of the UN GGE work shows how States are able to come from an absolute dead end on certain matters if not to consensus, then to compromise, through repeated episodes of interaction and communication. One illustrative example is the discussion of the application of *jus ad bellum*, IHL and the law of State responsibility in the context of cyber incidents. The fifth UN GGE was unable to adopt final reports in 2016–2017 due to concerns expressed by Russia⁹² and China⁹³ and Cuba⁹⁴ that the applicability of *jus ad bellum* and IHL may result in the establishment of an “equivalence between the malicious use of [information and communication technologies] and the concept of ‘armed attack’”⁹⁵ under Article 51 of the UN Charter. This, in turn, could lead to the militarisation of the use and the response to ICTs. In its report of 2021, the UN GGE finally acknowledged the applicability of IHL, specifying though that these

norms apply “only in situations of armed conflict”⁹⁶, thus leaving the door open for further discussion on which particular cyber operations can be qualified as an “armed conflict”. Still, progress in the work from the fifth to sixth UN GGE shows the possibility in principle to achieve certain compromise.

In discussion on the limitation of malicious AI use, including LAWS and employment of autonomous cyber capabilities for hostile actions, analogy is sometimes drawn between regulation of AI and restrictions over specific types of weapons, including nuclear arms control⁹⁷. However, the prospect of agreeing on a hard law international treaty limiting AI similar to weapons on the platform of the UN GGE or the GGE in LAWS is assessed as low, and some argue that other processes could produce more effective formal regulation⁹⁸. Besides, the scepticism that limitation of the malicious use of AI will follow the same path as non-proliferation of nuclear weapons stems from the comprehension that AI today poses a lesser existential threat than nuclear weapons did against the backdrop of the Cuban missile crisis when the talks initiated and eventually led to negotiation of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons⁹⁹. And since the stakes are perceived not so high, the motivation to reach agreements with competitors is elusive, which leads some commentators to suggest that achieving a universal international treaty to limit the malicious use of AI is impossible until the world is on the verge of a major AI-caused crisis¹⁰⁰.

⁹¹ XIV BRICS Summit Beijing Declaration. Para. 31. URL: www.gov.br/mre/en/contact-us/press-area/press-releases/xiv-brics-summit-beijing-declaration (accessed date: 11.07.2024).

⁹² Response of the Special Representative of the President of the Russian Federation for International Cooperation on Information Security Andrey Krutskikh to TASS’ Question Concerning the State of International Dialogue in This Sphere. 29 June 2017. URL: www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/ckNonkJE02Bw/content/id/2804288 (accessed date: 11.07.2024).

⁹³ China did not publically share its position, see: Korzak E. UN GGE on Cybersecurity: The End of an Era? – *The Diplomat*. 31 July 2017. URL: <https://thediplomat.com/2017/07/un-gge-on-cybersecurity-have-china-and-russia-just-made-cyber-space-less-safe> (accessed date: 11.07.2024).

⁹⁴ Declaration by Cuba, at the Final Session of Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security. New York. 23 June 2017. URL: <http://misiones.minrex.gob.cu/en/un/statements/71-unga-cuba-final-session-group-governmental-experts-developments-field-information> (accessed date: 15.07.2024).

⁹⁵ *Ibidem*.

⁹⁶ Report of the Group of Governmental Experts on Advancing Responsible State Behaviour in Cyberspace in the Context of International Security. UN Doc A/76/135. 14 July 2021. Para. 71(f).

⁹⁷ See, e.g.: Shereshevsky Y. 2022. International Humanitarian Law-Making and New Military Technologies. – *International Review of the Red Cross*. 2131. URL: <https://international-review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2022-11/international-humanitarian-law-making-and-new-military-technologies-920.pdf> (accessed date: 11.07.2024).

⁹⁸ Carpenter C. A Better Path to a Treaty Banning “Killer Robots” Has Just Been Cleared. – *World Politics Review*. 7 January 2022. URL: www.worldpoliticsreview.com/a-better-path-to-a-treaty-banning-ai-weapons-killer-robots/ (accessed date: 12.07.2024).

⁹⁹ Deeks A. 2023. National Security AI and the Hurdles to International Regulation. – *The Digital Social Contract: A Lawfare Paper Series*. At 12-13. URL: <https://ssrn.com/abstract=4405158> (accessed date: 11.07.2024).

¹⁰⁰ *Ibid.* P. 3.

This discouraging forecast does not, however, negate the necessity of discussing how existing international law applies to AI in general and to AIPCOs in particular. The interpretation of current norms and the expression of States' positions have the potential to establish a general framework for the boundaries of acceptable AI-powered activities in an informal law-making mode, even though it is likely that these discussions will mostly take place among 'like-minded' States¹⁰¹, in regional unions, bilaterally, and on non-State forums in the upcoming years.

5. Conclusion

The complication of inter-State cyber operations by AI technology raises additional questions about the application of international law, in particular its norms on the use of force, to AI-powered cyber incidents. The deployment of LAWS and commitment of AIPCOs could potentially result in the initiation of a new arms race, this time involving AI, as nations seek to develop and acquire these systems in order to maintain strategic parity. This could destabilize global security and increase the risk of conflict escalation. This and other political and ethical considerations ar-

gue in favor of limiting the discretion of States in the use of AI. However, to date, the incentives for NATO States, China and Russia to agree on an international binding instrument limiting the use of AI for malicious purposes appear illusory. Based on the history of discussions on the application of international law in cyberspace and the development of rules on the responsible behaviour of States using ICTs one could suggest that corresponding discussions on AI will likely progress outside the area of developing a comprehensive treaty framework. Further analysis of this development, thus, will require examining how transnational norms, such as those emerging from soft law instruments, customary practices, and private sector initiatives, will shape the legal landscape of AI application. Understanding how international legal norms are adapted and refined in response to emerging challenges requires a dynamic analytical approach (such as, for instance, Transnational Legal Process) to address legal dialogue and interaction among different legal systems, including domestic legal systems, regional frameworks, and global norms in a continuous process of interpretation, argumentation, and practice.

References

1. Anderson K., Reisner D., Waxman M. Adapting the Law of Armed Conflict to Autonomous Weapons Systems. – *International Law Studies*. 2014. Issue 90. P. 386-411.
2. Asaro P. On Banning Autonomous Weapon Systems: Human Rights, Automation, and the Dehumanization of Lethal Decision-Making. – *International Review of the Red Cross*. 2012. Vol. 94. Issue 886. P. 687-709.
3. Čerka P., Grigienė J., Širbikytė G. Is It Possible to Grant Legal Personality to Artificial Intelligence Software Systems? – *Computer Law & Security Review*. 2017. Vol. 33. Issue 5. P. 685-699.
4. Chinen M. 2023. *The International Governance of Artificial Intelligence*. Edward Elgar Publishing. 2023. 338 p.
5. Chernyavsky A.G., Sibileva O.P. Avtonomnoe vysokotochnoe oruzhie kak vyzov mezhdunarodnomu gumanitarnomu pravu [Autonomous precision weapons as a challenge international humanitarian law]. – *Military law*. 2020. № 4. P. 229-238. (In Russ.)
6. Chesterman S. Artificial Intelligence and the Limits of Legal Personality. – *International & Comparative Law Quarterly*. 2020. Vol. 69. Issue 4. P. 819-844.
7. Delerue F. *Cyber Operations and International Law*. Cambridge University Press. 2020. 549 p.
8. Finnemore M., Hollis D.B. Beyond Naming and Shaming: Accusations and International Law in Cybersecurity. – *European Journal of International Law*. 2020. Vol. 31. Issue 3. P. 969-1003.
9. Garcia D. Lethal Artificial Intelligence and Change: The Future of International Peace and Security. – *International Studies Review*. 2018. Vol. 20. Issue 2. P. 334-341.
10. Koh H.H. Transnational Legal Process. – *The Nature of International Law*. Simpson G. (ed). Routledge. 2001. P. 311-338.
11. Koh H.H. Is there a "New" New Haven School of International Law? – *Yale Journal of International Law*. 2007. Vol 32. P. 559-573.
12. Koh H.H. Transnational Legal Process and the "New" New Haven School of International Law. – *International Legal Theory. Foundations and Frontiers*. Dunoff J.L. and Pollack M.A. (eds). Cambridge University Press. 2022. P. 101-132.
13. Lee J. *Artificial Intelligence and International Law*. Springer. 2022. 261 p.
14. Morkhat P.M. Iskusstvennyj intellekt s tochki zrenija mezhdunarodnogo gumanitarnogo prava [Artificial intelligence from the perspective of international humanitarian law]. – *Law and State: Theory and Practice*. 2017. № 10. P. 18-24. (In Russ.)

¹⁰¹ Particularly, the NATO states have agreed on the Principles of Responsible Use for AI. See: Stanley-Lockman Z., Christie E.H. An Artificial Intelligence Strategy for NATO. 25 October 2021. URL: www.nato.int/docu/review/articles/2021/10/25/artificial-intelligence-strategy-for-nato/index.html (accessed date: 11.07.2024).

15. Proskurina D.S., Khokhlova M.I., Safin N.I. Smertonosnye avtonomnye sistemy vooruzhenij: budushhee voennoj industrii ili ugroza padenija mezhdunarodnogo gumanitarnogo prava? [Lethal autonomous weapons systems: the future of the military industry or the threat of the fall of international humanitarian law?]. – *Eurasian Advocacy*. 2020. № 6. P. 81-85. (In Russ.)
16. Roscini M. *Cyber Operations and the Use of Force in International Law*. Oxford University Press. 2015. 307 p.
17. Roscini M. Evidentiary Issues in International Disputes Related to State Responsibility for Cyber Operations. – *Texas International Law Journal*. 2015. Vol. 50. Issue 2. P. 233-275.
18. Sassòli M. Autonomous Weapons and International Humanitarian Law: Advantages, Open Technical Questions and Legal Issues to be Clarified. – *International Law Studies*. 2014. Vol. 90. P. 308-340.
19. Schmitt M.N. (ed.). *Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations*. Cambridge University Press. 2017. 598 p.
20. Schmitt M.N. Autonomous Cyber Capabilities and the International Law of Sovereignty and Intervention. – *International Law Studies*. 2020. Vol. 96. P. 549-576.
21. Stahl B.C. Responsible Computers? A Case for Ascribing Quasi-Responsibility to Computers Independent of Personhood or Agency. – *Ethics and Information Technology*. 2006. Vol. 8. Issue 4. P. 205-213.
22. Stroppa M. Legal and Ethical Implications of Autonomous Cyber Capabilities: a Call for Retaining Human Control in Cyberspace. – *Ethics and Information Technology*. 2023. Issue 25. Paper 7. P. 1-6.
23. Taddeo M., McCutcheon T., Floridi, L. Trusting Artificial Intelligence in Cybersecurity is a Double-Edged Sword. – *Nature Machine Intelligence*. 2019. Issue 1. P. 557-560.

Информация об авторе

Екатерина Александровна МАРТЫНОВА,
преподаватель департамента международного права,
факультет права, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»

Мясницкая ул., д. 20, Москва, 101000, Российская Федерация

eamartynova@hse.ru
ORCID: 0000-0002-8995-4462

About the Author

Ekaterina A. MARTYNOVA,
Lecturer at the School of International Law, Faculty of Law,
National Research University Higher School of Economics

20, Myasnitskaya St., Moscow, Russian Federation, 101000

eamartynova@hse.ru
ORCID: 0000-0002-8995-4462



DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-106-118>

Исследовательская статья
УДК: 341
Поступила в редакцию: 04.08.2024
Принята к публикации: 31.10.2024

Александр Викторович КОЛОСОВ

Иркутский государственный университет

Карла Маркса ул., д. 1, Иркутск, 664003, Российская Федерация

lex.x@mail.ru

ORCID: 0009-0005-5850-2091

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ. *Новейшие цифровые технологии играют ключевую роль в развитии современного общества и государства, способствуют их дальнейшему совершенствованию. Одной из разновидностей подобных технологий является искусственный интеллект (далее – ИИ), который оказывает значительное влияние на все аспекты жизни человека. В статье рассматривается проблема международно-правового регулирования ИИ, анализируются существующие документы и выявляются основные проблемы и вызовы, стоящие перед мировым сообществом. Особое внимание уделяется вопросам установления баланса между расширением возможностей ИИ и рисками, связанными с передачей управленческих решений от человека машине. Целями работы являются: анализ существующих понятий ИИ и международных актов, регламентирующих особенности использования данной технологии, рассмотрение актуальных вопросов совершенствования правовой регламентации и практики использования ИИ, определение перспектив дальнейшего развития правового регулирования ИИ.*

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. *Были проанализированы источники международного права универсального и регионального характера, научные труды, относящиеся к исследуемой теме. В качестве методов исследования были использованы формально-юридический, сравнительно-правовой и историко-правовой.*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. *Искусственный интеллект является одним из наиболее важных и ключевых элементов устойчивого развития человечества, использование которого способствует техническому прогрессу и решению глобальных проблем. Международно-правовое регулирование использования ИИ находится на стадии разработки и формирования новых правил, при создании которых необходимо учитывать возможные риски и специфику применения технологии в различных сферах. Международное сотрудничество и обмен опытом в области правового регулирования ИИ призваны способствовать гармонизации подходов и стандартов в этой сфере с учетом принципов устойчивого развития, экологической безопасности и защиты персональных данных пользователей.*

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ. Основные выводы проведенного исследования состоят в следующем. Искусственный интеллект способствует автоматизации многих процессов, повышает эффективность работы и улучшает качество жизни людей и общества в целом. Сотрудничество между государствами и международными организациями является ключевым фактором успешного развития и применения ИИ, способствует созданию единых принципов обеспечения безопасности, прозрачности и поддержания технологического суверенитета стран. Однако на данный момент международно-правовое регулирование ИИ находится на начальном этапе своего развития, и многие страны сталкиваются с проблемами отсутствия соответствующих норм и стандартов. Последовательное развитие правового регулирования на международном универсальном и региональном уровнях, внедрение четкой и исчерпывающей терминологии, учет существующего опыта отдельных международных организаций позволит продол-

жить работу по разработке и совершенствованию стандартов в области ИИ, учитывая интересы всех участников международного сообщества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: искусственный интеллект, цифровые технологии, цифровые права, мягкое право, нулевой проект, Глобальный цифровой договор, Саммит будущего, цифровое пространство, международное сотрудничество, ООН, ЕС, СЕ, СНГ

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Колосов А.В. 2024. Использование искусственного интеллекта как основа устойчивого развития человечества: особенности международно-правового регулирования. – *Московский журнал международного права*. № 4. С. 106–118. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-106-118>

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-106-118>

Research article

UDC: 341

Received 4 August 2024

Approved 31 October 2024

Aleksandr V. KOLOSOV

Irkutsk State University

1, Karl Marx St., Irkutsk, Russian Federation, 664003

lex.x@mail.ru

ORCID: 0009-0005-5850-2091

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS THE BASIS FOR SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT: FEATURES OF INTERNATIONAL LEGAL REGULATION

INTRODUCTION. *The latest digital technologies play a key role in the development of modern society and the state, contribute to their further progress and improvement. One of the varieties of such technologies*

is artificial intelligence (hereinafter – AI), which has a significant impact on all aspects of human life. The article examines the problem of international legal regulation of AI, analyzes existing documents and identi-

fies the main problems and challenges facing the world community. Particular attention is paid to the issues of establishing a balance between the expansion of AI capabilities and the risks associated with the transfer of management decisions from human to machine. The objectives of the work are: to analyze existing concepts of AI and international acts regulating the specifics of using this technology, to consider topical issues of improving legal regulation and practice of using AI, to determine the prospects for further development of legal regulation of AI.

MATERIALS AND METHODS. *The sources of international law of a universal and regional character, scientific works related to the topic under research were analyzed. Formal legal, comparative legal and historical legal methods were used as research methods.*

RESEARCH RESULTS. *AI is one of the most important and key elements of sustainable human development, the use of which contributes to technological progress and solving global problems. International legal regulation of the use of AI is at the stage of development and formation of new rules, the creation of which must take into account the possible risks and specifics of the use of technology in various fields. International cooperation and exchange of experience in the field of legal regulation of AI is designed to promote the harmonization of approaches and standards in this area, taking into account the principles of sustainable development, environmental safety and protection of personal data of users.*

DISCUSSION AND CONCLUSIONS. *The main conclusions of the research are as follows. AI helps automate many processes, increases work efficiency and*

improves the quality of life of people and society as a whole. Cooperation between states and international organizations is a key factor in the successful development and application of AI, contributes to the creation of common principles for ensuring security, transparency and maintaining the technological sovereignty of countries. However, at the moment, the international legal regulation of AI is at the initial stage of its development and many countries face problems with the lack of appropriate norms and standards. The consistent development of legal regulation at the international universal and regional levels, the introduction of clear and comprehensive terminology, taking into account the existing experience of individual international organizations will allow us to continue working on the development and improvement of standards in the field of AI, taking into account the interests of all participants in the international community.

KEYWORDS: *artificial intelligence, digital technologies, digital rights, soft law, draft project, Global Digital Agreement, Summit of the Future, digital space, international cooperation, UN, EU, CE, CIS*

FOR CITATION: Kolosov A.V. The Use of Artificial Intelligence as the Basis for Sustainable Human Development: Features of International Legal Regulation. – *Moscow Journal of International Law*. 2024. No. 4. P. 106–118. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-106-118>

The author declares the absence of conflict of interest.

1. Введение

Постоянный технологический процесс приводит к возникновению новых направлений, которые требуют государственного внимания. Современные инновации в сфере искусственного интеллекта, анализа больших данных, робототехники, дополненной реальности, облачных технологий способствуют модернизации всех областей государственной деятельности. Внедрение подобных технологий в различные сферы общественной жизни происходит настолько быстро, что государства и все международное сообщество в целом не справ-

ляются с их правовым осмыслением и нормативным регулированием, что влечет за собой появление не только потенциальных угроз, но и реальных проблем, затрагивающих интересы государства, общества и индивида.

В настоящее время наблюдается усиленное внимание государств к вопросам правового регулирования технологии ИИ. В рамках международных организаций проводятся специализированные конференции, форумы и встречи, создаются специальные органы и учреждаются институты, посвященные работе ИИ и особенностям его правового регулирования. В научной среде ведутся активные дискуссии среди экспертов, направленные на исследование

существующих правовых проблем в области цифровой среды и появление новых технологий [Соменков 2019: 76; Ромашкина 2020: 25].

Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью многих сфер жизни общества и государства, включая политику, экономику, здравоохранение, образование и иные области. Однако, несмотря на прилагаемые усилия, по-прежнему сохраняется проблема понимания ИИ в силу новизны и уникальности данной технологии. Требуется создание четких правовых рамок, обеспечивающих безопасность, защиту прав и интересов государств, а также их граждан, в том числе предотвращение возможных негативных последствий использования ИИ. В частности, использование ИИ влечет за собой возникновение потенциально новых правовых, технических, этических и иных проблем, которые должны быть заблаговременно решены [Правовое регулирование искусственного... 2021:29]. Именно благодаря международному праву представляется возможным выработать меры правового регулирования для решения существующих и возникающих проблем глобального характера [Вылегжанин 2010:18].

2. Искусственный интеллект: основные понятия и ключевые характеристики

С целью понимания технологии ИИ и особенностей ее правового регулирования необходимо определиться с терминологией. В отдельных правовых актах и доктрине уже существует многообразие определений ИИ. Однако при их анализе мы можем заметить, что содержание термина и подходы к его категоризации отличаются. Подобное отсутствие единой трактовки ИИ обусловлено несколькими причинами. Первоначально общество в целом не могло определиться, какие конкретно интеллектуальные способности должны имитировать машины [Mission AI 2023:16]. В зависимости от целей, задач разработки ИИ, способов его применения данная технология также может пониматься по-разному. Кроме того, ИИ требует комплексного подхода к его изучению, и в зависимости от области научного знания определение также может иметь отличия. Например, в лингвистике термин ИИ будет анализироваться через его возможность

выявления закономерностей и грамматических свойств языка, тогда как в робототехнике за основу определения будет взято свойство, связанное с возможностью создания роботов, обладающих автономностью и способностью к своей адаптации на основе анализа данных.

Также одной из причин отсутствия единого термина ИИ является то, что данная технология находится в постоянном развитии. Возможности и способы применения ИИ под влиянием научно-технического прогресса изменяются ежедневно, и в связи с этим определения, которые появились даже сравнительно недавно, на сегодняшний день могут устаревать.

Кроме того, в науке отмечается, что данная технология до сих пор не получила достаточного правового регулирования и ее применение ограничено вследствие несовершенства даже уже существующего нормативного закрепления¹ [Правовое регулирование экономических... 2019:62].

Вместе с тем эффективное правовое регулирование невозможно без четкой терминологии. Рассмотрим отдельные существующие доктринальные определения ИИ и изучим их закономерности.

Впервые термин ИИ был предложен в 1956 г. Д. Маккарти, и под ним он понимал науку и технологию создания интеллектуальных машин, в первую очередь интеллектуальных компьютерных программ [McCarthy 1956:2].

С. Рассел и П. Норвиг под ИИ понимали также науку, об «интеллектуальных агентах», т. е. о некотором устройстве или программе, которая воспринимает свою среду и выполняет действия, увеличивающие ее шансы на успех при достижении какой-то цели [Рассел, Норвиг 2006:34].

Более развернутое определение предлагается А.А. Васильевым и Ю.В. Печатновой, согласно которому под ИИ понимается программно-вычислительный комплекс, функционирующий посредством заранее заданного алгоритма со встроенной способностью к самообучению, в связи с чем позволяющий имитировать когнитивные функции человека и автономно выполнять конкретные задачи или производить результаты, сопоставимые с интеллектуальной деятельностью человека [Васильев, Печатнова 2020:16].

Таким образом, изучение существующих определений ИИ позволяет выделить признаки, которые характеризуют данную технологию.

¹ Нагорская В.Б. *Новые технологии (блокчейн/искусственный интеллект) на службе права: научно-методическое пособие*. М.: Проспект. 2019. С. 32.

Во-первых, наличие технического устройства. Искусственный интеллект представляет собой физическое (компьютер, телефон, робот и т. п.) или виртуальное устройство (специальные программы, компьютерные сети, виртуальные серверы и т. п.).

Во-вторых, данное устройство способно принимать, обрабатывать и передавать информацию. Искусственный интеллект может работать с большими объемами данных и передавать результаты своей работы другим участникам отношений.

В-третьих, способность автономной работы. Искусственный интеллект способен самостоятельно выполнять задачи и принимать решения без прямого вмешательства человека.

В-четвертых, наличие когнитивных функций. Искусственный интеллект может анализировать информацию на основе логического подхода и формировать выводы с определением причинно-следственных связей.

В-пятых, способность к самообучению. Искусственный интеллект может обучаться на основе проведенного анализа информации и за счет приобретенного опыта с целью улучшения своих знаний и навыков.

На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что ИИ противопоставляется естественному интеллекту и в первую очередь интеллекту человека. Как отмечается, большинство ученых согласны с тем, что ИИ имеет большую схожесть с работой человеческого разума [Carrillo 2020: 2]. Однако, несмотря на существующее многообразие терминов, единое определение ИИ, которое было бы зафиксировано в международно-правовом акте, отсутствует, что является препятствием для решения разных юридических вопросов. Тем не менее предпринимаются попытки разработки универсального и регионального правовой основы регулирования технологии ИИ.

3. ООН и правовые основы регулирования искусственного интеллекта

Организация Объединенных Наций (далее – ООН) является основной площадкой для обсуждения технологии ИИ и принятия правовых

решений в силу того, что данная организация имеет уникальную структуру и полномочия, позволяющие координировать действия стран-членов. Подобная компетенция организации особенно важна в контексте обсуждения глобальных проблем, так как широкое представительство интересов разных государств с учетом их мнений при принятии решений позволяют выработать универсальные подходы к регулированию новой технологии. Создаваемые универсальные стандарты и принципы могут стать основой для регулирования отношений в сфере использования ИИ, а проводимые встречи представителей стран на самом высоком уровне позволят государствам обмениваться опытом, разработать совместные проекты и стратегии с целью координации действий на международной арене.

Одним из подобных успешных примеров совместной работы государств стало принятие 21 марта 2024 г. Резолюции Генеральной ассамблеи ООН «Использование возможностей безопасных, надежных и надежных систем искусственного интеллекта для устойчивого развития» (далее – Резолюция)². Российская Федерация вошла в число основных разработчиков проекта этой Резолюции. Данный акт был принят путем консенсуса стран-членов и стал первой резолюцией по ИИ принятой ООН.

Резолюция состоит из 13 пунктов и выражает стремление сократить разрыв как между странами, так и внутри стран в сфере ИИ и других цифровых технологий.

Значительное внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности ИИ, отмечается, что данная технология может ускорить достижение целей в области устойчивого развития³. Однако подчеркивается, что процесс создания, внедрения и использования ИИ должен проходить в соответствии с нормами международного права, чтобы не усилить цифровой разрыв между государствами и не создать условий для нарушения и дискриминации в области прав и основных свобод человека.

Вследствие этого отмечается важность обновления новых и укрепления существующих международных отношений между странами

² Резолюция Генеральной ассамблеи ООН «Использование возможностей безопасных, надежных и надежных систем искусственного интеллекта для устойчивого развития» от 21 марта 2024 г. – *Официальный сайт ООН*. URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/ltid/n24/065/94/pdf/n2406594.pdf?token=49s2XAOQmlMLFvEenT&fe=true> (дата обращения: 31.10.2024).

³ Цели в области устойчивого развития ООН. – *Официальный сайт ООН*. URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/> (дата обращения: 31.10.2024).

для оказания помощи и поддержки в связи с участием в процессе по разработке, внедрению и управлению ИИ.

В целях развития указанных направлений Резолюцией предлагается комплекс мер по продвижению создания, разработки и развертыванию систем ИИ. Проанализировав закрепленные в Резолюции меры, их можно классифицировать по различным основаниям.

1. Меры, направленные на усиление международного сотрудничества и расширение участия стран в цифровом развитии. Например, расширение возможностей в плане подключения к цифровой инфраструктуре и доступа к технологическим инновациям благодаря укреплению партнерских связей; поощрение исследований и международного сотрудничества для обеспечения понимания, оптимального сочетания и учета потенциальных выгод и рисков, связанных с ролью систем ИИ и другие меры (пп. a, b, c, e, f п. 4; пп. b, h, n, o п. 6 Резолюции).

2. Меры, направленные на содействие в разработке государствами национальных нормативно-правовых актов, стандартов и способов использования систем ИИ. Например, поощрение разработки и внедрения эффективных, доступных, адаптируемых, совместимых на международном уровне технических средств, стандартов или методов, включая надежные механизмы проверки подлинности и происхождения контента и другие меры (пп. a, g, p п. 6 Резолюции).

3. Меры, направленные на расширение финансирования исследований в области цифровых технологий и обеспечения безопасности их использования. Например, увеличение инвестиций в разработку и внедрение эффективных мер безопасности, включая оценку рисков и воздействия, на протяжении всего жизненного цикла систем искусственного интеллекта для обеспечения защиты полного и эффективного осуществления прав человека и основных свобод и смягчения потенциального воздействия на эти процессы и другие меры (пп. D п. 4; пп. f, l п. 6 Резолюции).

4. Меры, направленные на повышение осведомленности об ИИ и создании условий для равного доступа к современным технологиям с учетом сохранения и поощрения развития культурного многообразия. Например, повышение осведомленности общественности и понимания ею основных функций, возможностей, ограничений и областей надлежащего

использования систем искусственного интеллекта гражданских целях и другие меры (пп. G п. 4; пп. d, q, m п. 6 Резолюции).

5. Меры, направленные на соблюдение прав интеллектуальной собственности и защиты персональных данных. Например, обеспечение конфиденциальности и защиты персональных данных при тестировании и оценке систем ИИ и другие меры (пп. I, j п. 6 Резолюции).

6. Меры, направленные на осуществление надзора, контроля, ответственного использования систем ИИ и создание условий для их прозрачной и предсказуемой работы. Например, содействие разработке, внедрению и раскрытию механизмов мониторинга рисков и управления ими, механизмов защиты данных, включая защиту персональных данных и политику конфиденциальности, а также в соответствующих случаях оценки воздействия на протяжении всего жизненного цикла систем искусственного интеллекта и другие меры (пп. c, e, k п. 6 Резолюции).

Таким образом, Резолюция призывает страны к активному участию в расширении цифрового сотрудничества, достижению консенсуса по поводу безопасных, надежных, устойчивых и заслуживающих доверия систем ИИ, внедрению мер для соблюдения прав человека и защиты персональных данных в связи с использованием ИИ и содействия тому, чтобы все автоматизированные процессы и решения находились под контролем человека.

Однако, несмотря на положительные стороны Резолюции, есть отдельные нормы, которым не хватает конкретики. К примеру, Резолюция предлагает использовать технологию ИИ, не нарушая права человека и неприкосновенность частной жизни, но в то же время не устанавливает возможные критерии оценки подобного вмешательства. Присутствует неопределенность в отношении ответственности за возможные негативные последствия использования ИИ.

Предусматривается координация стран в области разработки и внедрения ИИ, но не устанавливаются формы или предполагаемые способы и виды подобного сотрудничества.

Отсутствуют четкие определения и стандарты безопасности использования систем ИИ. Представляется, что включение подобных правил является необходимостью, так как Резолюция, например, не охватывает военную сферу и потенциальное применение новой технологии в военных действиях. В научной литературе все

чаще отмечается, что государства в современном мире порой игнорируют международное право и действуют по «праву силы» [Лысенко 2018:67]. Появляются киберпреступления, которые становятся угрозой не только для отдельных стран, но и всего мирового сообщества [Волеводз 2002:47; Бессонов 2013:232]. Кроме того, современные военные операции все чаще основываются на использовании вычислительных, алгоритмических и иных методов с использованием современных технологий [Boulainin, Verbruggen 2017:21; Saylor 2019:11]. Создание подобных правил позволило бы предотвратить злоупотребления при применении ИИ для обеспечения международной безопасности и соблюдения норм международного гуманитарного права.

В тексте Резолюции встречаются нечеткие термины, имеющие оценочный характер. Например, фраза в п. 11 документа – «*ожидающие* разработки глобального цифрового договора» – является неконкретной, не дающей четкого представления о дальнейших шагах по развитию систем ИИ.

Также остается не решенным вопрос о применимости уже существующих норм международного права к системам ИИ.

Вместе тем подобные недостатки вполне объяснимы. Резолюция является первым шагом в области регулирования инновационной технологии, которая уже широко используется. Возникшие отношения по поводу использования ИИ еще не имеют точных характеристик и оценок, что влияет на содержание подобного документа. Кроме того, не стоит забывать, что Резолюции Генеральной ассамблеи ООН не являются юридически обязательными, носят рекомендательный характер и представляют собой так называемое мягкое право⁴. В то же время они служат основой для дальнейшего сотрудничества стран и обеспечения интересов всего человечества.

Подобное сотрудничество на международном уровне является необходимым условием для успешного развития цифровых технологий и возможности их повсеместного использования

всеми странами. Исходя из этого, в 2021 г. Генеральный секретарь ООН в своем докладе «Наша общая повестка дня» предложил разработать Глобальный цифровой договор (далее – Договор) с целью «изложения общих принципов открытого, свободного и безопасного цифрового будущего для всех»⁵.

В связи с этим началась разработка текста Договора. Руанда и Швеция по назначению Председателя Генеральной Ассамблеи ООН выступили сокоординаторами межправительственных процессов. В создании документа принимали участие представители органов государственной власти стран – членов ООН, ученые, бизнес-сообщество и представители гражданского общества.

1 апреля 2024 г. был опубликован так называемый нулевой проект, т. е. первый проект Договора, и представлен государствам – членам ООН для обсуждения.

Подготовленный проект Договора, в создании которого принимала активное участие Российская Федерация, был согласован 22 сентября 2024 г. на Саммите будущего – мероприятии самого высокого уровня, где собравшиеся мировые лидеры обсуждали наиболее важные вопросы с целью достижения консенсуса в решении глобальных проблем. Была принята Резолюция «Пакт во имя будущего», где в качестве одного из приложений был включен Договор⁶. Как отмечает ООН, подобное событие, случающееся раз в поколение, открывает возможность восстановить подточенное доверие и продемонстрировать, что международное сотрудничество позволяет эффективно преодолевать ныне стоящие вызовы, равно как и вызовы, которые наметились за последние годы или, возможно, находятся в недалеком будущем⁷.

Опубликованный Договор содержит пять основных задач, призванных обеспечить безопасное цифровое будущее. К ним относятся:

1) устранение всех цифровых разрывов и ускорение хода достижения всех целей в области устойчивого развития;

⁴ Филипова И.А. *Правовое регулирование искусственного интеллекта: учебное пособие*. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет. 2020. С. 33.

⁵ Global Digital Compact: zero draft. – *Официальный сайт ООН*. URL: https://www.un.org/techenvoy/sites/www.un.org/techenvoy/files/Global_Digital_Compact_Zero_Draft.pdf (дата обращения: 31.10.2024).

⁶ Резолюция Генеральной ассамблеи ООН «Пакт во имя будущего» от 22 сентября 2024 г. – *Официальный сайт ООН*. URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/272/24/pdf/n2427224.pdf> (дата обращения: 31.10.2024).

⁷ Саммит будущего: многосторонние решения ради лучшего завтра. URL: <https://www.un.org/ru/summit-of-the-future> (дата обращения: 31.10.2024).

2) расширение возможности участия в цифровой экономике и использования связанных с ней преимуществ для всех;

3) формирование инклюзивного, открытого, безопасного и защищенного цифрового пространства, в котором соблюдаются, защищаются и поощряются права человека;

4) достижение успехов в развитии ответственных, справедливых и основанных на обеспечении функциональной совместимости подходов к управлению данными;

5) усиление международного регулирования в отношении искусственного интеллекта на благо человечества.

Также в тексте документа были закреплены «сквозные и взаимоукрепляющие» принципы, которые направлены на достижение задач Договора.

Договор содержит подробное описание стратегий и инициатив по реализации пяти закрепленных задач путем их систематизации и определения конкретных направлений деятельности.

Особое внимание в Договоре уделяется ИИ. Так, в тексте документа подчеркивается необходимость международного сотрудничества с целью оценки воздействия данной технологии на все сферы жизни общества. Организация Объединенных Наций признала за собой центральную роль в поддержке международного управления ИИ в связи с тем, что данная технология требует комплексного междисциплинарного подхода с участием заинтересованных сторон в рамках всего мира. Кроме того, подобное сотрудничество на базе крупнейшей международной организации будет дополнять национальные усилия по развитию ИИ с учетом уважения и защиты прав человека и соблюдением норм международного права.

Во исполнение подобных задач планируется создание междисциплинарной Независимой международной научной группы по ИИ, которая будет проводить научные исследования с использованием современных подходов, базирующихся на основе фактических данных для оценки потенциальных рисков и возможностей применения ИИ. Предполагается, что подобная Независимая международная научная группа по ИИ будет осуществлять выпуск полугодовых отчетов на базе национальных и региональных инициатив по анализу потенциальных перспектив применения ИИ. Кроме того, будет осуществляться поддержка в разработке

определений, классификации и методов оценки ИИ, а также в создании академических партнерств для проведения исследований и управления знаниями об ИИ.

Также появляется возможность инициировать ежегодный глобальный диалог по вопросам управления ИИ и привлекать представителей гражданского общества, научного и технического сообществ, частного сектора, правительственных структур, занимающихся вопросами безопасности ИИ, и иных подобных структур.

Более того, Договор подчеркивает необходимость создания Глобального фонда для ИИ под руководством Генерального секретаря ООН, который будет информировать общественность о широком применении ИИ, организовывать и проводить обучение по выработке навыков использования современной технологии в сотрудничестве с технологическими компаниями, техническим и научным сообществом, а также решать иные задачи, связанные с достижением целей устойчивого развития.

Однако, несмотря на положительные инициативы, предлагаемые ООН, в тексте документа есть определенные пробелы и аспекты, которые требуют уточнения. Так, зафиксированные в Договоре принципы не имеют четких механизмов и инструментов для их реализации. Также Договор не предусматривает точные определения понятий и терминов, что может привести к различным интерпретациям и конфликтам между сторонами относительно их толкования, а в дальнейшем и к проблемам в их применении.

Сложность заключается также в обеспечении равноправия и справедливости для всех участников Договора, особенно для стран, которые находятся на начальных этапах своего цифрового развития и внедрения инновационных технологий. В связи с этим может возникнуть определенная опасность появления монополий на рынке цифровых услуг, что ограничит конкуренцию и вызовет усиление влияния определенных стран и компаний.

Есть вероятность появления трудности в обеспечении баланса между защитой персональных данных людей и доступом к информации, которая необходима для развития общества. В связи с этим есть необходимость установления границ между закрепляемыми ограничениями и возможностями для эффективного использования ИИ для нужд государства [Lewis 2020:55]. Отсутствие подобных условий может повлечь за собой

возникновение ситуаций, связанных с усилением контроля над гражданами и ограничениями их цифровых прав.

Вызывает вопросы и создание достаточно большого количества новых структур и органов, которые потребуют серьезных финансовых затрат, дополнительной правовой регламентации их деятельности, обеспечение единых условий для всех стран в процессе принятия решений.

Думается, что для решения вышеобозначенных проблем требуется дополнение существующего текста Договора, чтобы, с одной стороны, сделать его гибким и дать возможность для развития технологии ИИ с учетом индивидуальных особенностей стран, но, с другой стороны, жестким в вопросах фундаментальных принципов, стандартов и контроля за исполнением положений Договора.

Требуется создание единой терминологии и ее правовое закрепление для установления международного диалога и создания условий для тесного сотрудничества государств. Необходимо предусмотреть приоритет прав человека и доминирующее значение индивида при применении ИИ, а также установить ограничения использования данной технологии в определенных областях, в частности, в военной сфере и контроле за оружием массового поражения. В настоящее время это крайне актуально, так как, по мнению отдельных ученых, в современном мире создается опасная иллюзия, что любая проблема может быть решена с помощью военной силы [Coady 2002:32; Kwarteng 2016:48]. Подобные ограничения воспрепятствуют бесконтрольному использованию технологии ИИ в военной сфере и недопущению ее применения в военных конфликтах.

Также следует установить систему мониторинга и отчетности перед международными органами и органами государственной власти в тех областях, где использование ИИ может потенциально повлечь нарушение прав и свобод человека.

Заметим, что фрагментация, которая присутствует в Договоре, в целом является одной из проблем международного права [Абдуллин 2015:20]. Однако уже сейчас становится понятным, что

Договор является серьезным шагом к появлению определенности в цифровой среде, возникновению принципов и норм, направленных на регулирование использования современных технологий в глобальном масштабе.

В настоящее время одним из последних документов по вопросам ИИ, принятых Генеральной Ассамблеей ООН, является Резолюция «Укрепление международного сотрудничества в деле наращивания потенциала в области искусственного интеллекта» от 1 июля 2024 г.⁸ Документ был создан по инициативе Китайской Народной Республики и подчеркивает важность международного диалога и сотрудничества в области регулирования ИИ и сокращения цифрового разрыва. Российская Федерация вошла в число соавторов данной Резолюции.

Важно отметить, что в Резолюции делается акцент не только на ИИ, но и на иных цифровых технологиях, которые влияют на его развитие и распространение. Отмечается необходимость расширения доступа к инфраструктуре, знаниям и навыкам, что способствует возникновению возможности всеобщего использования цифровых коммуникаций и служит основой цифровой трансформации и создания равных условий для внедрения инноваций в области современных технологий и ИИ.

Документ закрепляет целесообразность проведения разнообразных мероприятий, целью которых является передача знаний и технологий в области ИИ. Среди них можно отметить: организацию учебных занятий, семинаров и практикумов для обмена опытом; подготовку кадров и повышение квалификации специалистов; создание совместных международных исследовательских центров и лабораторий для наращивания потенциала в области ИИ и др.

Несмотря на положительные стороны данного документа, следует отметить, что Резолюция не учитывает интересы всех стран в сфере сотрудничества по ИИ, что в принципе сделать невозможно еще и по причине того, что государства не выработали единого подхода к регулированию и использованию технологии ИИ. Также Резолюция не предлагает конкретных мер

⁸ Резолюция Генеральной ассамблеи ООН «Укрепление международного сотрудничества в деле наращивания потенциала в области искусственного интеллекта» от 1 июля 2024 г. – *Официальный сайт ООН*. URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/ltid/n24/183/82/pdf/n2418382.pdf?token=GxMQvPOaeEW48SimRD&fe=true> (дата обращения: 31.10.2024).

по решению уже существующих проблем цифрового разрыва между странами.

Сравнивая Резолюцию от 1 июля 2024 г. и ранее принятую Резолюцию от 21 марта 2024 г. можно заметить определенные различия.

Исходя из цели, Резолюция от 21 марта 2024 г. фокусируется на использовании безопасного и надежного ИИ для устойчивого развития, целью же Резолюции от 1 июля 2024 г. является укрепление международного сотрудничества в наращивании потенциала в области ИИ.

Объектом правового регулирования Резолюции от 21 марта 2024 г. являются общественные отношения по вопросам безопасности, защищенности, безвредности ИИ, тогда как объект Резолюции от 1 июля 2024 г. составляют отношения в сфере установления новых и укрепления имеющихся форм международного сотрудничества.

В содержательной части документов также присутствуют различия. Резолюция от 21 марта 2024 г. предлагает конкретные меры и рекомендации по внедрению безопасных и надежных систем ИИ для устойчивого развития, в то время как Резолюция от 1 июля 2024 г. призывает к укреплению международного сотрудничества в области ИИ, но при этом не устанавливает конкретных мер и форм подобного сотрудничества.

Таким образом, Резолюция от 1 июля 2024 г. дополняет ранее принятую Резолюцию от 21 марта 2024 г., стимулируя участников международного сообщества к активному сотрудничеству и формированию единой нормативной базы для обеспечения правовой определенности и защиты их интересов.

Вместе с тем дополнение Резолюции от 1 июля 2024 г. в части расширения перечня стран, которые могли бы участвовать в реализации стратегий и программ в области ИИ, создание механизмов по обмену имеющимся опытом между развитыми и развивающимися странами, финансирование и поддержка инициатив и проектов, направленных на развитие ИИ, определение форм мониторинга и оценки результатов реализации проектов, создание единых правил стандартизации и совместимости технологий

ИИ позволит обеспечить более эффективное взаимодействие стран и будет способствовать успешной реализации установленных правил.

4. Региональный опыт правового регулирования искусственного интеллекта

Помимо попыток универсального регулирования технологии ИИ уже существует право-творческая практика в рамках региональных объединений. Особый интерес вызывает Регламент Европейского парламента и Совета, устанавливающий согласованные правила в области искусственного интеллекта (далее – Регламент) принятый Европейским союзом 13 марта 2024 г.⁹ По сути, данный документ стал первым актом в области ИИ, который определил стандарты данной технологии не только для стран – членов Европейского союза, но и в целом мира, так как Регламент достаточно подробно регулирует разработку и использование ИИ. Благодаря подобному акту была создана детализированная система безопасности использования ИИ [Edwards 2022:3]. Среди положительных черт Регламента можно отметить то, что он установил терминологию, определив, что является системой ИИ, предусмотрел использование ИИ и его ограничение в зависимости от степени риска, выделив неприемлемый, высокий и незначительный риск. Устанавливаются высокие штрафы для лиц, не соблюдающих установленные правила. Кроме того, закрепляется не только защита прав человека, как основополагающий принцип документа, но появляется и реальная возможность обращения в компетентный орган по ИИ. Вместе с тем отмечается, что подобный документ был принят как экстренная мера для быстрой интеграции ИИ в общество, что оставило нерешенными многие важные вопросы, которые требуют дополнительного правового закрепления [Marchenko, Entin 2021:46]. Тем не менее благодаря данному Регламенту был осуществлен переход от реактивного к проактивному управлению ИИ, и акт стал глобальным эталоном регулирования стратегически важной технологии мирового значения [Haleem, Gstrein, Zwitter 2024].

⁹ EU: The AI Act Explorer. URL: <https://artificialintelligenceact.eu/ai-act-explorer/> (accessed date: 31.10.2024).

В настоящее время ведутся разработки правового регулирования технологии ИИ и в Совете Европы. 17 мая 2024 г. была принята Рамочная конвенция об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права¹⁰.

Особенностью данного проекта является то, что в его основе лежат стандарты Совета Европы в области прав человека и подобный документ может стать глобальным инструментом регулирования технологии ИИ в силу того, что договор открыт для всех стран мира, которые пожелают присоединиться к нему. Рамочная конвенция предусматривает согласованные определения, также закрепляет подход, связанный с оценкой потенциального использования ИИ с учетом рисков, но, в отличие от Регламента, фиксируется идея общей оценки рисков применения ИИ в целом и возможность введения запретов в отношении определенных видов ИИ, если они несовместимы с правами человека, демократией и верховенством права.

В рамках Содружества независимых государств ведется разработка проекта модельного закона «О технологиях искусственного интеллекта»¹¹. Принято считать, что данный документ станет правовой основой для гармонизации национального законодательства стран – членов

Содружества и установит единые правила использования ИИ, что обеспечит улучшение экономической и социальной сферы в регионе за счет введения унифицированных стандартов и привлечения инвестиций. Подобное развитие информационных технологий и коммуникаций позволит улучшить мировую экономику, увеличить доходы населения и привлечь прямые инвестиции для организации производства даже в труднодоступных географических регионах [Лабин 2021:22].

5. Заключение

Таким образом, в настоящее время наблюдается появление и активное развитие новых технологий, а также их внедрение в различные аспекты общественной жизни. Возникновение ИИ подтолкнуло мировое сообщество к глубокому теоретическому анализу и правовому осмыслению новой технологии в силу того, что она является одной из самых динамично развивающихся и перспективных областей, которая влияет на работу государственных и общественных институтов, становится важным фактором развития современного общества, государства и формирует новую цифровую реальность.

Список литературы

1. Абдуллин А.И. 2015. Фрагментация международного права: проблемы и перспективы. – *Актуальные проблемы современного международного права. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора И.П. Блищенко*. В 2 ч. Ч. 1. Москва: РУДН. С. 20-27.
2. Бессонов С.А. 2013. История и зарубежный опыт правовой регламентации компьютерных преступности. – *Территория науки*. № 2. С. 231-237.
3. Васильев А., Печатнова Ю. 2020. Искусственный интеллект и право: проблемы, перспективы. – *Российско-азиатский правовой журнал*. № 2. С. 14-18.
4. Волеводз А.Г. 2001. Международно-правовые основы международного сотрудничества в обнаружении, отслеживании, сохранении и изъятии компьютерной информации. – *Международное публичное и частное право*. № 4. С. 28-41.
5. Вылегжанин А.Н. 2010. Становление глобального правового пространства в XXI веке. – *Международные процессы*. № 2 (23). С. 15-29.
6. Лабин К.Д. 2021. Международная правовая охрана окружающей среды и инвестиции. – *Современная жизнь в науке*. № 10. С. 22-26.
7. Лысенко М.Н. 2018. К вопросу о правомерности применения военной силы иностранными государствами (на примере Сирии). – *Московский журнал международного права*. № 3. С. 65-71.
8. *Правовое регулирование искусственного интеллекта, роботов и объектов робототехники как условие формирования экономического лидерства России*. 2021. Г.Ф. Ручкина [и др.]. Под ред. Г.Ф. Ручкиной. Москва: Прометей. 350 с.
9. *Правовое регулирование экономических отношений в современных условиях развития цифровой экономики: монография*. 2019. А.В. Белицкая, В.С. Белых, О.А. Беляева [и др.]. Отв. ред. В.А. Вайпан, М.А. Егорова. Москва: Юстицинформ. 376 с.
10. Рассел С., Норвиг П. 2006. *Искусственный интеллект. Современный подход*. Москва. 1408 с.
11. Ромашкина Н.П. 2020. Проблема международной информационной безопасности в ООН. – *Мировая экономика и международные отношения*. № 64. С. 25-32.

¹⁰ Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law. – *Официальный сайт Совета Европы*. URL: <https://rm.coe.int/1680afae3c> (дата обращения: 31.10.2024).

¹¹ Одобрен проект модельного закона СНГ по использованию искусственного интеллекта. URL: <https://spi-cis.ru/novosti/odobren-proekt-modelnogo-zakona-sng-po-ispolzovaniyu-iskusstvennogo-intellekta> (дата обращения: 31.10.2024).

12. Соменков С.А. 2019. Искусственный интеллект: от объекта к субъекту? – *Вестник университета им. О.Е. Кутафина*. № 2. С. 76-85.
13. Boulanin V., Verbruggen M. 2017. Mapping the Development of Autonomy in Weapons Systems. – *Stockholm international peace research institute*. 147 p.
14. Carrillo M.R. 2020. Artificial intelligence: From ethics to law. – *Telecommunications Policy*. Vol. 44. P. 1-16.
15. Chen G., Xu B., Lu M. 2018. Exploring blockchain technology and its potential applications for education. – *Smart Learning Environments*. Vol. 5. № 1. URL: <https://doi.org/10.1186/s40561-017-0050-x> (дата обращения: 31.10.2024).
16. Coady C.A.J. 2002. *The Ethics of Armed Humanitarian Intervention*. Washington, D.C.: United States Institute of Peace. 47 p.
17. Edwards L. 2022. The EU AI Act: a summary of its significance and scope. – *Ada Lovelace Institute*. P. 10-15.
18. Haleem H., Gstrein O.J., Zwitter A. 2024. General-purpose AI regulation and the European Union AI Act. – *Internet policy review*. Vol. 3. URL: <https://policyreview.info/articles/analysis/general-purpose-ai-regulation-and-ai-act> (дата обращения: 31.10.2024).
19. Kwarteng A.H. 2016. *Introduction to International Law*. – Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publishing. 57 p.
20. Lewis D. 2020. International legal regulation of the employment of artificial-intelligence-related technologies in armed conflict. – *Moscow Journal of International law*. Vol. 53 (2). P. 53-64.
21. Maas M.M. 2019. International Law Does Not Compute: Artificial Intelligence and the Development, Displacement or Destruction of the Global Legal Order. – *Melbourne Journal of International Law*. № 20 (1). P. 29-57.
22. Marchenko A.Y., Entin M.L. 2022. Artificial intelligence and human rights: What is the EU's approach? – *Digital law journal*. Vol. 3. № 3. P. 43-57.
23. McCarthy J. 1956. A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence. URL: <http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf> (дата обращения: 31.10.2024).
24. *Mission AI: The New System Technology. Research for Policy*. 2023. Eds. H. Sheikh, C. Prins, E. Schrijvers. Springer: Cham. 385 p.
25. Polido P, Bertini F. 2020. Artificial Intelligence between National Strategies and the Global Regulatory Race: Analytical Routes for an International and Comparative Reappraisal. – *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais*. Vol. 76. P. 229-256.
26. Saylor K. M. 2019. Artificial Intelligence and National Security. – *Congressional Research Service. Report No. R45178*. 43 p.
2. Bessonov S.A. Istoriya i zarubezhnyj opyt pravovoj regulatsii komp'yuternyh prestupnosti [The history and foreign experience of the legal regulation of computer crime]. – *Territoriya nauki [The territory of science]*. 2013. № 2. P. 231–237. (In Russ.)
3. Boulanin V., Verbruggen M. Mapping the Development of Autonomy in Weapons Systems. – *Stockholm international peace research institute*. 2017. 147 p.
4. Carrillo M.R. Artificial intelligence: From ethics to law. – *Telecommunications Policy*. 2020. Vol. 44. P. 1-16.
5. Chen G., Xu B., Lu M. Exploring blockchain technology and its potential applications for education. – *Smart Learning Environments*. 2018. Vol. 5. № 1. URL: <https://doi.org/10.1186/s40561-017-0050-x> (дата обращения: 31.10.2024).
6. Coady C.A.J. *The Ethics of Armed Humanitarian Intervention*. Washington, D.C.: United States Institute of Peace. 2002. 47 p.
7. Edwards L. The EU AI Act: a summary of its significance and scope. – *Ada Lovelace Institute*. 2022. P. 10-15.
8. Haleem H., Gstrein O.J., Zwitter A. General-purpose AI regulation and the European Union AI Act – *Internet policy review*. 2024. Vol. 3. URL: <https://policyreview.info/articles/analysis/general-purpose-ai-regulation-and-ai-act> (дата обращения: 31.10.2024).
9. Kwarteng A.H. *Introduction to International Law*. – Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publishing. 2016. 57 p.
10. Labin K.D. Mezhdunarodnaya pravovaya ohrana okruzhayushchej sredy i investicii [International legal protection of the environment and investments]. – *Sovremennaya zhizn' v nauke [Modern life in science]*. 2021. № 10. P. 22-26. (In Russ.)
11. Lewis D. International legal regulation of the employment of artificial-intelligence-related technologies in armed conflict. – *Moscow Journal of International law*. 2020. Vol. 53 (2). P. 53-64.
12. Lysenko M.N. K voprosu o pravomernosti primeneniya voennoj sily inostrannymi gosudarstvami (na primere Sirii) [On the question of the legality of the use of military force by foreign States (on the example of Syria)]. – *Moskovskij zhurnal mezhdunarodnogo prava [Moscow Journal of International Law]*. 2018. № 3. P. 65-71.
13. Maas M.M. International Law Does Not Compute: Artificial Intelligence and the Development, Displacement or Destruction of the Global Legal Order. – *Melbourne Journal of International Law*. 2019. № 20 (1). P. 29-57.
14. Marchenko A.Y., Entin M.L. Artificial intelligence and human rights: What is the EU's approach? – *Digital law journal*. 2022. Vol. 3. № 3. P. 43-57.
15. McCarthy J. *A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence*. 1956. URL: <http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf> (дата обращения: 31.10.2024).
16. *Mission AI: The New System Technology. Research for Policy*. Eds. H. Sheikh, C. Prins, E. Schrijvers. Springer: Cham. 2023. 385 p.
17. Polido P, Bertini F. Artificial Intelligence between National Strategies and the Global Regulatory Race: Analytical Routes for an International and Comparative Reappraisal. – *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais*. 2020. Vol. 76. P. 229-256.
18. *Pravovoe regulirovanie ekonomicheskikh otnoshenij v sovremennykh usloviyah razvitiya cifrovaj ekonomiki: monografiya*. [Legal regulation of economic relations in

References

- modern conditions of digital economy development: monograph] A.V. Belickaya, V.S. Belyh, O.A. Belyaeva i dr. Otv. red. V.A. Vajpan, M.A. Egorova. Moscow: Yusticin-form. 2019. 376 p. (In Russ.)
19. *Pravovoe regulirovanie iskusstvennogo intellekta, robotov i ob"ektov robototekhniki kak uslovie formirovaniya ekonomicheskogo liderstva Rossii* [Legal regulation of artificial intelligence, robots and robotics objects as a condition for the formation of economic leadership in Russia] G.F. Ruchkina [i dr.]. Pod red. G. F. Ruchkinoy. Moscow: Prometej. 2021. 350 p. (In Russ.)
 20. Romashkina N.P. Problema mezhdunarodnoj informacionnoj bezopasnosti v OON [The problem of international information security at the United Nations]. – *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya* [World economy and international relations]. 2020. № 64. С. 25-32. (In Russ.)
 21. Russell S., Norvig P. Artificial intelligence. The modern approach. *Iskusstvennyj intellekt. Sovremennyy podhod*. Moscow: 2006. 1408 p.
 22. Saylor K.M. Artificial Intelligence and National Security. – *Congressional Research Service. Report*. 2019. № R45178. 43 p.
 23. Somenkov S. A. 2019. Iskusstvennyj intellekt: ot ob"ekta k sub"ektu? [Artificial intelligence: from object to subject?]. – *Vestnik universiteta im. O.E. Kutafina* [Bulletin of the O.E. Kutafin University]. 2019. №2. S. 76-85.
 24. Vasil'ev A., Pechatnova Y. Iskusstvennyj intellekt i pravo: problemy, perspektivy [Artificial intelligence and law: problems, prospects]. – *Rossijsko-aziatskij pravovoj zhurnal* [Russian-Asian Legal Journal]. 2020. № 2. P. 14-18. (In Russ.)
 25. Volevodz A.G. Mezhdunarodno-pravovye osnovy mezhdunarodnogo sotrudnichestva v obnaruzhenii, otslezhivanii, sohranении i iz"yatii komp'yuternoj informacii [The international legal framework for international cooperation in the detection, tracking, preservation and seizure of computer information]. – *Mezhdunarodnoe publichnoe i chastnoe parvo* [International public and private law]. 2021. № 4. P. 28-41. (In Russ.)
 26. Vylegzhanin A.N. Stanovlenie global'nogo pravovogo prostranstva v XXI veke [The formation of the global legal space in the 21st century]. – *Mezhdunarodnye processy* [International processes]. 2010. № 2 (23). P. 15-29. (In Russ.)

Информация об авторе

Александр Викторович КОЛОСОВ,

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры международного права и сравнительного правоведения, Юридический институт, Иркутский государственный университет

Карла Маркса ул., д. 1, г. Иркутск, 664003, Российская Федерация

lex.x@mail.ru

ORCID: 0009-0005-5850-2091

About the Author

Aleksandr V. KOLOSOV

Candidate of Legal Sciences, Associate professor, Associate professor of the Department of International and Comparative law, Law Institute, Irkutsk State University

1, Karl Marx St., Irkutsk, Russian Federation, 664003

lex.x@mail.ru

ORCID: 0009-0005-5850-2091



DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-119-131>

Исследовательская статья

УДК: 341

Поступила в редакцию: 31.08.2024

Принята к публикации: 13.10.2024

Ирина Григорьевна ЛУКЬЯНЦЕВА

Московский государственный институт международных отношений (университет)

Министерства иностранных дел России

Вернадского п-т, д. 76, Москва, 119454, Российская Федерация

ilukiyantseva1@gmail.com

ORCID: 0009-0003-9940-4645

ПРОБЛЕМА ПРИСВОЕНИЯ ДЕЯНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ВВЕДЕНИЕ. В основе настоящего исследования лежит проблема присвоения ответственности за деяния, совершенные в информационном пространстве. Ее актуальность обуславливается наметившейся в последнее время тенденцией, заключающейся в применении отдельными государствами информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для утверждения своего геополитического превосходства. Вместе с тем остаются открытыми как вопрос присвоения подобных распространенных деяний, так и вопрос дальнейшего реагирования на них. В связи с этим в статье анализируются теоретические аспекты международно-правовой ответственности, в том числе вопросы единообразного применения соответствующей терминологии, особенности присвоения деяния в информационном пространстве. Также рассматривается вопрос эффективности международно-правового регулирования указанной тематики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В научном исследовании рассмотрены международные договоры, международно-правовые обычаи, общепризнанные принципы международного права, а также резолюции, материалы и документы профильных рабочих групп, российская и зарубежная доктрина. При подготовке исследования использовались общенаучные и частнонаучные методы познания (методы анализа и синтеза, дедукации, индукции, диалектический и формально-юридический методы).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Результатом проведенного исследования является заключение о невозможности эффективного регулирования вопросов, возникающих в связи с осуществлением атак в информационном пространстве, действующим международным правом и необходимости разработки профильного международного договора с учетом положений концепции Конвенции Организации Объединенных Наций (далее – ООН) об обеспечении международной информационной безопасности. При этом для осуществления эффективного присвоения деяния важно учитывать политический, технический и правовой элементы присвоения ответственности.

ОБСУЖДЕНИЯ И ВЫВОДЫ. В статье проведен комплексный анализ подходов к проблеме присвоения атак в информационном пространстве, а также способов реагирования на них в соответствии с действующим международным правом. Рассматриваются конкретные инициативы государств на международных площадках, а также позиции технических специалистов и политологов по данному вопросу. Помимо этого, автор проводит анализ положений концепции Конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности. Сделан вывод, что вопрос присвоения деяния, совершенного в информационном пространстве, требует разработки дополнительного международно-правового регулирования, которое будет учитывать особенности информационного

пространства. Также представляется важным развитие международного сотрудничества в данной области, в том числе через создание глобального реестра контактных пунктов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационное пространство, ответственность, присвоение деяния, ответные меры, реестр контактных пунктов, международное право, Устав ООН, концепция Конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Лукьянцева И.Г. 2024. Проблема присвоения деяний, совершенных в информационном пространстве. – *Московский журнал международного права*. № 4. С. 119–131. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-119-131>

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-119-131>

Research article
UDC: 341
Received 31 August 2024
Approved 13 October 2024

Irina G. LUKIYANTSEVA

Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
76, Vernadskogo Ave., Moscow, Russian Federation, 119454
ilukiyantseva1@gmail.com
ORCID: 0009-0003-9940-4645

THE ISSUE OF ATTRIBUTION OF ACTS COMMITTED IN THE INFORMATION SPACE

INTRODUCTION. Due to the recent trend related to the use of information and communication technologies by certain states with the aim to assert their geopolitical superiority, study of the issue of attribution of responsibility for acts committed in the information space as well as possible of responses to such attacks becomes even more relevant. Therefore, in the article the problems related to international responsibility, particularities of attacks in information space and ways to attribute such attacks, as well as effectiveness of international law are analyzed.

MATERIALS AND METHODS. The research examines treaties, international customs, general widely recognized principles of international law, as well as resolutions, materials and documents of specialized working groups, and doctrine. General scientific and specific scientific methods of enquiry (methods of analysis and synthesis, deduction, induction,

dialectical and formal legal methods) were used in the preparation of the study.

RESEARCH RESULTS. The result of the conducted research is the conclusion that it is impossible to effectively regulate issues arising from the issue of attribution of acts committed in the information space exclusively with the current international law. Therefore, there is a need to develop a relevant international treaty taking into account the provisions of the concept of the UN Convention on International Information Security. At the same time, in order to effectively attribute an act, it is important to take into account the political, technical and legal elements of attribution of responsibility.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS. The article considers approaches to the issue of attribution of attacks in the information space as well as of possible ways of responding to such attacks within the

framework of current international law. The problem of possible application of international humanitarian law, especially issue of interpretation of “attack” for the purposes of attacks in information space was also examined. In addition, the author analyzes the provisions of the concept of the UN Convention on International Information Security.

The author concludes that current international law is not sufficient for effective attribution of an act committed in the information space. Elaboration of additional international legal regulation that would take into account the particularities of the information space is required. It is also crucial to develop international cooperation in this area, including through the creation of a global register of contact points.

1. Введение

Начиная с 80-х гг. XX в. наметилась тенденция использования ИКТ в целях, противоречащих Уставу ООН [Berson, Denning 2011:13-15]. Значительное количество подобных атак наряду с угрозами, которые они представляют, повышает риск милитаризации международного информационного пространства. Это связано с тем, что отдельные государства воспринимают информационное пространство прежде всего в качестве арены для утверждения своего геополитического превосходства, разрабатывая не только оборонительный, но и наступательный информационные потенциалы¹. Государствами регулярно регистрируются случаи атак с использованием ИКТ на критическую инфраструктуру [Котенко, Хмыров 2022:53]. Именно по поводу подобных транснациональных деяний и возникают разногласия между государствами. Ситуация лишь усугубляется возможностью непропорционального применения средств реагирования на угрозы в информационном пространстве.

Следует отметить, что состояние защищенности в указанном пространстве в российской литературе и в официальных документах обозначается как «международная информационная

KEYWORDS: *information space, responsibility, attribution of an act, retaliatory measures, register of contact points, international law, the UN Charter, the concept of the UN Convention on International Information Security*

FOR CITATION: Lukiyantseva I.G. The Issue of Attribution of Acts Committed in the Information Space. – *Moscow Journal of International Law*. 2024. No. 4. P. 119–131. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-119-131>

The author declares the absence of conflict of interest.

безопасность», в то время как западные государства указывают на необходимость использования понятия «кибербезопасность» [Крутских, Зиновьева 2021:6]. Предпочтительным для целей данной работы представляется использование термина «международная информационная безопасность» ввиду того, что указанное понятие охватывает весь комплекс угроз – как политических, так и технических, в то время как «кибербезопасность» распространяется скорее на их технологическое измерение.

Далее, важно уточнить, какие именно атаки могут восприниматься государствами в качестве угроз. В контексте данного исследования особый интерес представляют целевые (или таргетированные) атаки – мероприятия, осуществляемые лицами с конкретными мотивами и качественной подготовкой, имеющими определенную структуру [Котенко, Хмыров 2022:53-54]. Некоторые технические специалисты приравнивают таргетированные атаки к так называемым продвинутым постоянным угрозам (advanced persistent threats) [Clark 2017:281]. Однако указанный подход представляется не совсем верным ввиду того, что особенностями «продвинутых постоянных угроз» являются высокий уровень подготовки нарушителей, способность постоянно приспосабливаться к защитным мерам и использовать различные направления

¹ UN: Resolution A/RES/78/237 Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security, and advancing responsible State behaviour in the use of information and communications technologies. URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/430/64/pdf/n2343064.pdf> (accessed date: 20.08.2024).

атаки с единым конечным результатом, наличие значительных ресурсов. Отличается и цель подобных «угроз» – данные мероприятия будут реализовываться непосредственно в отношении критической инфраструктуры. Далеко не все целевые атаки способны достигнуть необходимого «порога» [Edwards, Ford, Szappanos 2015:291-299].

Подобные атаки следует отличать от «традиционных» атак в информационном пространстве, представляющих собой более примитивные мероприятия случайного характера с широким радиусом действия, направленные на компрометацию значительного количества систем и пользователей.

С учетом особенностей атак, совершаемых в информационном пространстве (а именно, их анонимного характера, что приводит к отсутствию единой методологии определения нарушителей, критериев квалификации подобных атак как вооруженных нападений, общих принципов для рассмотрения компьютерных инцидентов), все большую актуальность для обеспечения мира и безопасности приобретает вопрос возложения ответственности за подобные деяния.

2. О применимости международного права к информационному пространству

На данном этапе между государствами имеется консенсус относительно применимости общепризнанных принципов международного права (т. е., принципов суверенного равенства, уважения территориальной целостности государств, неприменения силы или угрозы силой, разрешения международных споров мирными средствами, добросовестного соблюдения международно-правовых обязательств и др.) к информационному пространству. В рамках профильных рабочих групп дополнительно были сформулированы акты рекомендательного

характера – добровольные правила ответственного поведения государств, а также меры укрепления доверия, направленные на минимизацию риска возникновения конфликтов в информационном пространстве². Ряд государств (прежде всего, США и государства – члены Европейского союза [O'Connell 2012:206-208]) заявляет о достаточности подобного регулирования, для «верификации» которого предлагаются различные несогласованные под эгидой ООН формы отчетности о соблюдении подобных правил (в частности, речь идет о неких руководствах, контрольных списках, опросниках о выполнении правил)³.

Однако значительным числом государств (в частности, Россией и Китаем [Кулажников 2019:25]) поддерживается идея неспособности существующих правил поведения государств эффективно регулировать существующие отношения в информационном пространстве; подчеркивается, что подобный пробел в регулировании используется в целях предъявления бездоказательных обвинений и применения ответных мер⁴.

При этом у многих государств вызывает разногласия вопрос применимости международного гуманитарного права (далее – МГП) к ИКТ. В настоящее время ни один международно-правовой договор не содержит норм, регулирующих «компьютерные войны» или устанавливающих меры, направленные на защиту гражданского населения. Нет пока и соответствующих решений международных судов [Шинкарецкая 2013:120-126]. В промежуточном докладе Группы правительственных экспертов в 2021 г. было отмечено содержащееся в ст. 3 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 г.⁵ (далее – ДП (I)), положение о применимости МГП исключительно в ходе вооруженных

² UN: Resolution A/RES/78/237 Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security, and advancing responsible State behaviour in the use of information and communications technologies. URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/430/64/pdf/n2343064.pdf> (accessed date: 20.08.2024).

³ Выступление российской межведомственной делегации на пятой сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025. URL: https://docs-library.unoda.org/Open-Ended_Working_Group_on_Information_and_Communication_Technologies_-_2021/Russia_-_OEWG ICT_security_statement_-_norms_25.07.2023_-_RUS.pdf (дата обращения: 20.08.2024).

⁴ UN: Resolution A/RES/78/237 Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security, and advancing responsible State behaviour in the use of information and communications technologies. URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/430/64/pdf/n2343064.pdf> (accessed date: 20.08.2024).

⁵ Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I). Женева, 1977. URL: https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/2013/ap_i_rus.pdf (дата обращения: 20.08.2024).

конфликтов, что указывает на невозможность квалификации инцидента в информационном пространстве, произошедшего в мирное время, с точки зрения права вооруженных конфликтов⁶.

Однако остается неясным вопрос квалификации вредоносного применения ИКТ как вооруженного нападения в соответствии с МПП и по смыслу ст. 51 Устава ООН. Согласно ст. 51 Устава за государством остается право прибегнуть к военной силе в случае вооруженного нападения до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не предпримет шаги по поддержанию мира и безопасности⁷, т. е. для активации ст. 51 необходимо выполнение двух условий: 1) наличие вооруженного нападения, 2) достижение атакой порога угрозы миру и безопасности.

Рассмотрим, что может пониматься под нападением. Из содержащегося в ст. 49 ДП (I) определения «нападений» можно сделать вывод о том, что нормы МПП (включая принцип проведения различия и т. д.) применимы только к случаям, которые можно назвать «нападениями» по смыслу этой статьи⁸. В соответствии со ст. 49 ДП (I), «нападения» могут рассматриваться только как «акты насилия в отношении противника»⁹. Нападение во время вооруженного конфликта в его классическом смысле обычно приводит к физическим повреждениям и потерям (физическое разрушение здания, гибель гражданских лиц и т. д.), что далеко не всегда имеет место при проведении операций в информационном пространстве. Таким образом, применимость МПП к операциям, совершаемым в информационном пространстве, равно как и допустимость самообороны, будет во многом зависеть от толкования положений ст. 49 ДП (I).

Здесь можно выделить два подхода к толкованию ст. 49 ДП (I).

1. Согласно широкому толкованию, любая военная операция, которая привела к ущербу (здесь не обязательно будет иметься в виду физический ущерб – достаточно просто прервать бесперебойную работу объекта), может рассматриваться как нападение. Кроме того, Международный Комитет Красного Креста (далее – МККК) в своем толковании вообще не проводит различий по способу проведения нападения. По мнению специалистов МККК, чтобы говорить о наличии нападения в киберпространстве, достаточно установить сам факт такого нападения вне зависимости от характера ущерба¹⁰. Эту позицию поддерживают некоторые юристы, которые основывают свои рассуждения на положениях ст. 52 Дополнительного протокола (I)¹¹. В соответствии со ст. 52 Протокола, одним из способов воздействия на военные цели является «нейтрализация» цели (это не обязательно будут физическое уничтожение или захват цели). Однако подобное толкование с учетом текущей ситуации неопределенности в части возложения ответственности и выбора способа реагирования является неприемлемым, так как в результате ошибочных действий и мер может привести к превращению «жертвы» атаки в информационном пространстве в «агрессора».

2. С другой стороны, согласно узкому толкованию понятия «нападение», операция, чтобы считаться нападением, должна привести к физическому ущербу. Как правило, под физическим ущербом понимается приведение к смерти, причинение вреда лицам либо материальному имуществу [Nicholas 2012:241]. Наиболее очевидным

⁶ Talking points for the statement by the expert of the Russian Ministry of Defense at the informal intersessional meeting of the UN Open-ended Working Group on Security of and in the Use of Information and Communication Technologies 2021–2025. URL: [https://docs-library.unoda.org/Open-Ended_Working_Group_on_Information_and_Communication_Technologies_-_ \(2021\)/Talking_points_for_the_statement_by_the_expert_of_the_Russian_Ministry_of_Defense.pdf](https://docs-library.unoda.org/Open-Ended_Working_Group_on_Information_and_Communication_Technologies_-_ (2021)/Talking_points_for_the_statement_by_the_expert_of_the_Russian_Ministry_of_Defense.pdf) (accessed date: 20.08.2024).

⁷ ООН: Устав ООН. URL: <https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text> (accessed date: 20.08.2024).

⁸ Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I). Женева, 1977. URL: https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/2013/ap_i_rus.pdf (дата обращения: 20.08.2024).

⁹ Там же.

¹⁰ ICRC: International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts. 2011. URL: <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/report/31-international-conference-ihl-challenges-report-2011-10-31.htm?ysclid=likooxoigi770590276> (accessed date: 20.08.2024).

¹¹ Dörmann K. *Applicability of the additional protocols to computer network attacks*. Ed. Byström K. *Proceedings of the Conference: Internationalsl Expert Conference on Computer Network Attacks and the Applicability of International Humanitarian Law*. 2004. P. 139-153.

примером такого ущерба, нанесенного операцией в киберпространстве, является смерть пациентов реанимации в больнице в результате нападения на электросеть больницы. Примером может послужить и атака вируса Stuxnet, который вмешался в нормальную работу иранской электростанции и иных промышленных предприятий, что значительно замедлило ядерную программу Ирана [Гаркуша-Божко 2021:67]. Результатом атаки стало именно физическое изменение устройств, в отношении которых осуществлялась атака, вследствие процессов горения и расплавления [Chircop 2019:349, 361]. Подобный случай наглядно демонстрирует, что причиненный атакими в информационном пространстве ущерб может быть сопоставим с ущербом, причиняемым в результате применения оружия¹². Именно причинение подобного ущерба может быть квалифицировано в качестве угрозы миру и безопасности по смыслу ст. 51 Устава ООН¹³. Данный подход представляется и более гибким, допускающим оценку конкретных обстоятельств (речь идет, в частности, о тяжести наступивших последствий, их направленности, очевидности, а также возможности квалифицировать атаку не *prima facie* как недопустимое применение силы, но также и как просто политическое или экономическое насилие, которое не приветствуется в международном праве, но не запрещено) перед переходом на этап развязывания конфликта [Шинкарецкая 2013:120-126].

Другим аспектом, также вызывающим разногласия, является непосредственно вопрос присвоения деяния в информационном пространстве государству в целом. В международном праве институт международно-правовой ответственности образуется из обычных норм

(содержащихся в значительной степени в Статьях Комиссии международного права (далее – КМП) об ответственности государств за международно-противоправные деяния от 2001 г.¹⁴), а также в отдельных международных договорах. Несмотря на то что Статьи КМП так и не легли в основу международно-правового договора, их значение является крайне важным в связи с отсутствием какого-либо иного универсального соглашения по данному вопросу. Применимость положений Статей в качестве обычных норм подтверждает и практика Международного суда ООН и международных трибуналов¹⁵. В соответствии со Статьями, деяние:

во-первых, присваивается государству (в частности, за действия органов как механизма, любые действия которого контролируются и подчинены его структуре [Колосов 2014:97]);

во-вторых, является нарушением государством его международно-правового обязательства¹⁶.

Иначе говоря, для получения возможности требовать привлечения государства «нарушителя» к политической либо материальной ответственности пострадавшему государству будет необходимо установить наличие непосредственной связи между государством и лицом, что, учитывая непригодность действующего международного права к реалиям информационного пространства (прежде всего, элементу анонимности) практически невозможно [Красиков 2018:240-241].

Очевидно, что безопасный прогресс в области ИКТ возможно эффективно обеспечить исключительно через формирование полноценного, специального международно-правового режима в информационном пространстве, а не через

¹² Neger G. *Cyberdéfense et droit international: qui veut la paix... préparer la guerre hybride. Village de la justice*. 2024.

¹³ Talking points for the statement by the expert of the Russian Ministry of Defense at the informal intersessional meeting of the UN Open-ended Working Group on Security of and in the Use of Information and Communication Technologies 2021–2025. URL: [https://docs-library.unoda.org/Open-Ended_Working_Group_on_Information_and_Communication_Technologies_-__\(2021\)/Talking_points_for_the_statement_by_the_expert_of_the_Russian_Ministry_of_Defense.pdf](https://docs-library.unoda.org/Open-Ended_Working_Group_on_Information_and_Communication_Technologies_-__(2021)/Talking_points_for_the_statement_by_the_expert_of_the_Russian_Ministry_of_Defense.pdf) (accessed date: 20.08.2024).

¹⁴ Статьи КМП об ответственности государств за международно-противоправные деяния. 2001. URL: <https://base.garant.ru/2565571/?ysclid=likqpo55v9927953807> (дата обращения: 20.08.2024).

¹⁵ Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia). – *International Court of Justice*. URL: <https://www.icj-cij.org/case/92> (accessed date: 20.08.2024); Air Service Agreement Case (France v. USA). – *Ad hoc Arbitration*. URL: <https://jusmundi.com/en/document/decision/en-air-service-agreement-of-27-march-1946-between-the-united-states-of-america-and-france-decision-saturday-9th-december-1978> (accessed date: 20.08.2024).

¹⁶ ООН. Генеральная Ассамблея: Официальные отчеты пятьдесят шестой сессии. Дополнение No 10 (A/ 56/10). Доклад Комиссии международного права. Пятьдесят третья сессия (23 апреля – 1 июня и 2 июля – 10 августа 2001 г.). URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf (дата обращения: 20.08.2024); Статьи КМП об ответственности государств за международно-противоправные деяния. 2001.

простую экстраполяцию норм международного права. Обязательства государств (в том числе касающиеся вопросов ответственности) могут основываться исключительно на нормах международного права, а не на добровольных правилах поведения и тем более не на мерах доверия. Понимание необходимости развития международного права в направлении разработки соответствующих специальных норм юридически обязывающего характера было зафиксировано государствами в профильной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН¹⁷, а также в докладах групп правительственных экспертов¹⁸.

Это побуждает государства искать способы применения международного права к информационному пространству в целом, а также пути присвоения вредоносных деяний конкретным государствам.

3. Процедура присвоения деяния в информационном пространстве

В целом, присвоение деяния можно понимать как совокупность мероприятий по поиску виновника нападения для его привлечения к ответственности. Как уже было указано, присвоение деяний в информационном пространстве будет иметь ряд особенностей в связи с особой природой ИКТ, которая может влиять на корректность применения существующих международно-правовых норм к сфере использования ИКТ. Как показывают результаты дискуссий в профильных форматах, не все государства готовы принять это во внимание, что влияет на процесс присвоения деяния на практике.

Процесс присвоения ответственности можно разделить на несколько категорий: речь идет о политическом, техническом и правовом способах [Марков, Ромашкина 2022:59-60]. Идеальной, позволяющей осуществить действительно эффективное и всеобъемлющее присвоение деяния,

представляется синергия всех трех подходов. Однако в инфополе часто появляются новости о присвоении ответственности и следующих за этим односторонних ограничительных мерах на основе политических мотивов без проведения достаточно глубокого юридического и технического анализа¹⁹. Более того, отдельные зарубежные специалисты выступают за введение подобных мер в отношении «государств-нарушителей» в информационном пространстве, мотивируя это «невозможностью призвать к ответственности страны с правом вето по ст. 41 Устава ООН»²⁰.

Для подхода отдельных государств (прежде всего западного блока) характерен некоторый перекокс в сторону именно политического метода присвоения деяния. В СМИ и на международных площадках регулярно появляются «вбросы», касающиеся «российской киберагрессии»²¹. Проблема же присвоения деяния как комплексного установления источника атаки обходится стороной. Для подобного декларативного способа присвоения деяния характерна также концепция так называемого коллективного присвоения деяния, согласно которой группа государств получает возможность выносить коллективный вердикт о виновности любого государства в совершении атаки без предъявления каких-либо конкретных доказательств [Крутских, Зиновьева 2021:42].

Аналогичная идея заложена и в американской концепции «выяви и пристыди», заключающейся в «уполномочивании» группы государств автономно определять источник атаки и без предъявления доказательств наносить ответные удары в информационном пространстве [Schmitt 2017:30]. В определенном смысле свое воплощение данная концепция получила в ст. 6 Таллинского руководства, в соответствии с которой государствам вменяется в обязанность проявлять должную степень осмотрительности в целях сохранения своей территории и инфраструктуры таким образом, чтобы она не использовалась для

¹⁷ Resolution A/RES/78/237 Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security, and advancing responsible State behaviour in the use of information and communications technologies. URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/430/64/pdf/n2343064.pdf> (accessed date: 20.08.2024);

¹⁸ Report of the open-ended working group on security of and in the use of information and communications technologies 2021-2025. URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/454/03/pdf/n2245403.pdf> (accessed date: 20.08.2024).

¹⁹ Там же.

²⁰ Etievant C.S. Les sanctions européennes relatives au cyber espace : un arsenal juridique à parfaire? – *Kaufhold and Reveil-laund avocats*. 2021.

²¹ Выступление российской межведомственной делегации на пятой сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021–2025. Право на ответ. URL: [https://docs-library.unoda.org/Open-Ended_Working_Group_on_Information_and_Communication_Technologies_-__\(2021\)/Russia_-_OEWG ICT_security_-_statement_-_right_of_reply_-_RUS.pdf](https://docs-library.unoda.org/Open-Ended_Working_Group_on_Information_and_Communication_Technologies_-__(2021)/Russia_-_OEWG ICT_security_-_statement_-_right_of_reply_-_RUS.pdf) (дата обращения: 20.08.2024).

атак в информационном пространстве, которые могли бы затронуть права иных государств либо приводили бы к «серьезным последствиям» для указанных государств (без указания на то, что может пониматься под «серьезными последствиями») [Schmitt 2017:30]. Ряд исследователей указывает на то, что подобные формулировки, будучи даже нормами общего международного права [Krasikov, Lipkina 2022:362], дают государствам широкие возможности для их толкования применительно к информационному пространству и фактически предоставляют им дополнительные полномочия по применению любых контрмер на основе достаточно субъективного анализа инцидента [Jensen, Watts 2017:1555-1577].

Фокус на политической стороне при присвоении деяния просматривается и в научной литературе. Так, американский исследователь Д.Э. Льюис подчеркивает необходимость «деятельной» реакции на атаку в информационном пространстве, указывая на то, что бездействие со стороны пострадавшего государства позволит нарушителю ощутить свою безнаказанность²². Процесс же присвоения деяния он предлагает осуществлять через поиск ответов на такие вопросы, как: чьи интересы преследуются атакой, каковы были публичные заявления субъектов, осуществлял ли потенциальный нападающий уже такие действия ранее. Подобные вопросы характерны именно для «политического» элемента присвоения²³.

Предложенная П.С. Стокбургером концепция по присвоению ответственности также во многом опирается на установление мотивации государства, взаимосвязи между потенциальным государством-нарушителем и совершившим атаку лицом²⁴.

Подобный однобокий подход может легко привести к эскалации ситуации и способствует не обеспечению принципа мирного урегулирования межгосударственных споров, а, напротив, закреплению «права сильного» в информационном пространстве.

Следует рассмотреть техническую сторону присвоения деяния более предметно.

После инцидента первым шагом является именно технический (криминалистический) элемент присвоения деяния, включающий в себя сбор и оценку технических артефактов (следов) для получения первичного «портрета» злоумышленника и доказательство цели технического элемента присвоения деяния – сбор информации о действиях злоумышленника («знание злоумышленника»).

Технический элемент присвоения деяния осуществляется на основе совокупности признаков, таких как возможная мотивация, интерес к определенным данным, географические признаки (часовые пояса активных действий), сетевые следы (например, IP-адреса), лексика кода (в нем могут содержаться слова либо ошибки в словах, косвенно указывающие на языковую или национальную принадлежность авторов), особенности его написания (нередко национальную принадлежность лиц специалисты определяют на основе качества написанного кода), выбора конкретного алгоритма шифрования и сжатия²⁵. В частности, считается, что русскоязычные пишут качественный код со сложными навесными защитами, однако при этом часто делают типичные для носителей русского языка ошибки в английских словах, в то время как китайцы обычно не задумываются о качестве кода и пользуются уже готовыми системными программами. Географический же параметр определяется, как правило, через часовые пояса активных действий нарушителя.

С одной стороны, установить технический элемент присвоения деяния на основе подобных повсеместно известных признаков кажется несложной задачей, способной дать объективный результат. С другой стороны, при присвоении деяния для возложения ответственности на основе артефактов следует учитывать и легкость их имитации не просто для создания поддельного профиля, а с целью именно выступить

²² Lewis J.A. Creating accountability for global cyber norms. – CSIS. 2022. URL: <https://www.csis.org/analysis/creating-accountability-global-cyber-norms> (accessed date: 20.08.2024).

²³ Ibid.

²⁴ Stockburger P.Z. From Grey Zone to Customary International Law: How Adopting the Precautionary Principle May Help Crystallize the Due Diligence Principle in Cyberspace. – *10th International Conference on Cyber Conflict: CyCon X: Maximising Effects*. 2018. P. 245-263.

²⁵ Гостев А. Основная сложность сейчас – достоверная идентификация источника и организатора атаки. – Коммерсантъ. 2017. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3331544?ysclid=m04b7y0mzo998181660> (дата обращения: 20.08.2024).

«под чужим флагом» для имитации атаки другим субъектом. Например, в ходе атаки Duqu 2.0 верхние слои кода были намеренно представлены в виде меток, характерных как для русскоговорящих, так и для китайцев²⁶.

Безусловно, помимо технического элемента присвоения деяния важно учитывать и политическую, а также правовую. Важным представляется также «публичный» характер присвоения ответственности [Merz 2019:3]. Как уже было указано выше, указанные способы присвоения ответственности имеют целью выявить мотивацию, а также нарушенные нормы.

Однако игнорирование именно «технического» элемента присвоения деяния может, помимо финансового и репутационного ущерба для государства, также привести к эскалации ситуации (когда ошибка в присвоении деяния, повлекшая за собой акт возмездия, приведет, к примеру, к столкновению между государствами, в том числе потенциально обладающими оружием массового уничтожения).

4. О перспективах разработки специальных международно-правовых норм для информационного пространства

Наконец, представляется, что для успешной реализации правового аспекта присвоения деяния (на основе политического и технического элементов) необходимо создание соответствующей, отвечающей специфике информационного пространства международно-правовой основы.

В начале 2023 г. Российская Федерация совместно с группой стран представила обновленную концепцию Конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности²⁷. Будущий договор во многом основывается на положениях из уже одобренных международным большинством профильных резолюций²⁸.

Новый вариант концепции носит сбалансированный характер, учитывая как подходы государств-сторонников мер доверия, так и стран, выступающих за разработку профильного международного договора.

Среди прочего предлагается включить в Конвенцию положения о:

1) недопущении использования ИКТ в целях подрыва и ущемления суверенитета, нарушения территориальной целостности и независимости государств;

2) интенсификации сотрудничества государств в области международной информационной безопасности для преодоления возникшей в результате инцидентов напряженности (в том числе через создание специальных механизмов);

3) недопустимости бездоказательных обвинений других государств в совершении противоправных деяний с применением ИКТ с последующим принятием различного рода ограничений в виде односторонних мер экономического воздействия и иных способов реагирования;

4) запрете на включение в технологический продукт недекларируемых возможностей;

5) полном и добросовестном исполнении государствами своих обязательств по обеспечению международной информационной безопасности, включая обязательство по добросовестному недопущению совершения негосударственными субъектами международно-противоправных действий в информационном пространстве;

6) недопустимости присвоения деяния в информационном пространстве исключительно по территориальному признаку и необходимости изучения всех артефактов, связанных с инцидентом, особенностей установления ответственности;

7) запрете на использование государствами их территорий для совершения международно-противоправных деяний с использованием ИКТ;

²⁶ Гостев А. Основная сложность сейчас – достоверная идентификация источника и организатора атаки..

²⁷ Выступление представителя Российской Федерации на четвертой сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025. 2021. URL: [https://docs-library.unoda.org/Open-Ended_Working_Group_on_Information_and_Communication_Technologies_-__\(2021\)/Russia_-_OEWG ICT_security_-_statement_-_norms_25.07.2023_-_RUS.pdf](https://docs-library.unoda.org/Open-Ended_Working_Group_on_Information_and_Communication_Technologies_-__(2021)/Russia_-_OEWG ICT_security_-_statement_-_norms_25.07.2023_-_RUS.pdf) (дата обращения: 20.08.2024).

²⁸ Обновленная концепция Конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности. 2023. URL: [https://docs-library.unoda.org/Open-Ended_Working_Group_on_Information_and_Communication_Technologies_-__\(2021\)/RUS_Concept_of_UN_Convention_on_International_Information_Security_Proposal_of_the-Russian_Federation_0.pdf](https://docs-library.unoda.org/Open-Ended_Working_Group_on_Information_and_Communication_Technologies_-__(2021)/RUS_Concept_of_UN_Convention_on_International_Information_Security_Proposal_of_the-Russian_Federation_0.pdf) (дата обращения: 20.08.2024).

8) указании на суверенное право государств самостоятельно обеспечивать безопасность национального информационного пространства, в том числе через принятие соответствующего внутреннего законодательства;

9) обязательстве не наносить ущерб информационным системам групп реагирования на компьютерные инциденты другого государства;

В Концепции особое место уделяется основным принципам международного права в преломлении к вопросам безопасности в информационном пространстве; в частности, подчеркивается суверенное равенство государств, разрешение международных споров мирными средствами, воздержание в международных отношениях от угрозы силой или ее применения.

В будущем договоре планируется закрепить и эффективные механизмы контроля за выполнением участниками его положений.

В существующих же условиях отсутствия профильного международного юридически обязывающего инструмента особое значение приобретает сотрудничество между государствами по данному вопросу [Ивлишкин 2023:38]. Проблема присвоения атак в информационном пространстве заключается в том, что процесс присвоения деяния является, по сути, комплексом оперативно-разыскных мероприятий. Учитывая трансграничный характер инцидентов в информационном пространстве, успешный поиск истинного организатора и исполнителя атаки возможен исключительно при условии привлечения правоохранительных органов, причем в условиях международной кооперации в расследовании. Именно отсутствие подобного сотрудничества в настоящий момент значительно осложняет расследование, которое может затянуться на годы [Banks 2021:1051].

В данном контексте особую роль в координации между компетентными ведомствами государств в случае инцидентов в информационном пространстве играет наличие постоянно действующих каналов связи и взаимодействия.

Так, в мае 2024 г. по предложению России был произведен официальный запуск глобального межправительственного реестра контактных пунктов (далее – РКП) для обмена информацией о компьютерных атаках/инцидентах²⁹. Данная инициатива была согласована консенсусом всеми государствами – членами ООН в рамках Рабочей группы открытого состава по международной информационной безопасности. Указанная мера доверия предполагает создание «службы единого окна», через которую будут осуществляться прямые контакты между уполномоченными ведомствами, а именно, через контактные пункты (дипломатический – Министерство иностранных дел и технический – национальная организация либо группа, ответственная за предотвращение, обнаружение, реагирование и ликвидацию последствий инцидентов в информационном пространстве). Взаимодействие будет выстраиваться на постоянной двусторонней основе по телефонной связи, электронной почте, дипломатическим каналам либо иными желаемыми способами связи, что позволит предотвратить любую возможную эскалацию в результате инцидентов в информационном пространстве, а также обеспечит, при желании сторон, конфиденциальность передаваемых данных. Сотрудничество будет осуществляться в деполитизированном ключе с учетом суверенного решения государств предоставлять данные для реестра; реагировать или нет на соответствующие запросы партнеров; участвовать в учениях; получать адресную помощь в области реагирования на инциденты³⁰.

Запуск РКП фактически позволил формализовать уже существующие механизмы «джентльменского» взаимодействия между национальными группами реагирования на компьютерные инциденты (CERT и CSIRT), основная проблема которых заключается в отсутствии установленных уполномоченных национальных органов, что нередко приводило к тому, что у запрашивающей стороны не было данных о конкретном адресате, а у стороны-получателя запроса –

²⁹ Выступления представителя российской делегации А.А. Радовицкого на восьмой сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025. 2024. URL: https://russiaun.ru/ru/news/oewg_0907241 (дата обращения: 20.08.2024).

³⁰ Выступление представителя Российской Федерации на четвертой сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025. 2023. Реестр контактных пунктов. URL: [https://docs-library.unoda.org/Open-Ended_Working_Group_on_Information_and_Communication_Technologies_-__\(2021\)/RUS_Russian_statement_PoCs_Directory.pdf](https://docs-library.unoda.org/Open-Ended_Working_Group_on_Information_and_Communication_Technologies_-__(2021)/RUS_Russian_statement_PoCs_Directory.pdf) (дата обращения: 20.08.2024).

необходимых полномочий для его обработки³¹. Кроме того, учитывая, что национальные группы CERT объединены, например, в международную некоммерческую организацию FIRST, контроль за членством в которой осуществляет США, и региональную сеть групп CSIRT ЕС, сложно говорить о возможности участия в них действительно всех государств³².

Существуют также региональные инициативы. Речь идет, в частности, о Сети связи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Консультативном координационном центре Организации Договора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ). Очевидно, что, несмотря на значительный опыт работы у подобных реестров и высокий уровень структурированности функций, их деятельность направлена на конкретный регион и, соответственно, не предоставляет возможность присоединиться всем государствам, заинтересованным в подобном сотрудничестве. Кроме того, со временем стали известны и негативные стороны деятельности указанных реестров. В частности, речь идет о значительной политизации работы реестра ОДКБ, отсутствии взаимодействия между уполномоченными национальными пунктами, а также невозможности обеспечить конфиденциальность передаваемых в его рамках данных³³. Реестр контактных пунктов же призван стать каналом для непрерывного взаимодействия и оперативной передачи необходимой технической информации об инцидентах действительно для всех желающих государств, что позволит выявлять истинные источники атак и эффективно предотвращать конфликты в информационном пространстве.

Список литературы

1. Гаркуша-Божко С.Ю. 2021. Международное гуманитарное право в киберпространстве: Ratione materiae, ratione temporis и проблема квалификации кибератак. – *Цифровое право*. Т. 2. № 1. С. 64-82. DOI: 10.38044/2686-9136-2021-2-1-64-82

5. Заключение

Итак, вопрос присвоения деяния в информационном пространстве не теряет своей актуальности ввиду значительных рисков, которые может нести некорректное определение нарушителя, совершившего атаку. Для всеобъемлющего и объективного присвоения деяния представляется важным учитывать все три элемента – политический, технический и правовой. Необходимо также учитывать особенности информационного пространства, которые могут значительно затруднить присвоение деяния – в частности, речь идет о его анонимности. Между тем, как показывает практика, процесс присвоения деяния остается затруднен ввиду отсутствия на данный момент эффективного международно-правового регулирования указанного вопроса. Подобное регулирование возможно обеспечить через разработку профильного международного договора. Основа для этого имеется – внесенная Российской Федерацией концепция Конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности. С учетом же отсутствия на данный момент действенного международно-правового регулирования, особое значение приобретают акты рекомендательного характера (в частности, согласуемые профильной РГОС меры доверия), способные обеспечить, в частности, координацию между государствами. Однако единственным способом заполнить пробелы, связанные, в том числе, с вопросами присвоения деяния, остается разработка специальных норм (не исключающая, при этом, параллельное существование добровольных мер по укреплению доверия) [Яникеева 2022:25].

2. Ивлишкин А.С. 2023. Применимость норм международного публичного права к обеспечению безопасности в киберпространстве: позиция НАТО. – *Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право*. № 4. С. 32-39.

3. Колосов Ю.М. 2014. Ответственность в международном праве. 2-е изд. Москва: Статут. 222 с.

³¹ Разъяснение позиции Российской Федерации по инициативе о создании глобального реестра контактных пунктов. 2022. URL: https://docs-library.unoda.org/Open-Ended_Working_Group_on_Information_and_Communication_Technologies_-_2021/2022_12_04_Explanation_of_position_on_POCs_Directory_-_Russian_Federation_-_Rus.pdf (дата обращения: 20.08.2024).

³² Выступление представителя Российской Федерации на четвертой сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025. 2023. Реестр контактных пунктов. URL: https://docs-library.unoda.org/Open-Ended_Working_Group_on_Information_and_Communication_Technologies_-_2021/RUS_Russian_statement_PoCs_Directory.pdf (дата обращения: 20.08.2024).

³³ Разъяснение позиции Российской Федерации по инициативе о создании глобального реестра контактных пунктов. 2022.

4. Котенко И.В., Хмыров С.С. 2022. Анализ моделей и методик, используемых для атрибуции нарушителей кибербезопасности при реализации целевых атак. – *Вопросы кибербезопасности*. № 4 (50). С. 52-79. DOI: 10.21681/2311-3456-2022-4-52-79.
5. Красиков Д.В. 2018. Международно-правовая ответственность государств в киберпространстве. – *Государство и право в новой информационной реальности*. Отв. ред. Е.В. Алферова, Д.А. Ловцов. Москва. С. 235-247. DOI: 10.31249/pras/2018.01.11.
6. Крутских А.В., Зиновьева Е.С. 2021. Международная информационная безопасность: подходы России. Москва: МГИМО-Университет. 48 с.
7. Кулажников В.В. 2019. Нормативно-правовое и технологическое обеспечение информационной безопасности КНР. – *Образование и право*. № 7. С. 24-30.
8. Марков А.С., Ромашкина Н.П. 2022. Проблема выявления источника (атрибуции) кибератак – фактор международной безопасности. – *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 66. № 12. С. 58-68. DOI: 10.20542/0131-2227-2022-66-12-58-68.
9. Шинкареца Г.Г. 2013. Международное право и война в киберпространстве. – *Современное право*. № 8. С. 120-126.
10. Яникеева И.О. 2022. Перспективные направления развития и углубления международного взаимодействия по проблематике международной информационной безопасности. – *Мировая политика*. № 1. С. 23-34. DOI: 10.25136/2409-8671.2022.1.37532.
11. Banks W. 2021. Cyber attribution and State responsibility. – *International law studies*. Vol. 97. P. 1039-1072.
12. Berson T., Denning D. 2011. Cyber warfare. – *Taylor and Francis Journal*. № 9 (5). P. 13-15. DOI:10.1109/MSP.2011.132.
13. Chircop L. 2019. Territorial sovereignty in cyberspace after "Tallinn Manual 2.0". – *Melbourne journal of international law*. Vol. 20. P. 349-377.
14. Clark R. M. 2017. Cyber-Physical Security: Protecting Critical Infrastructure at the State and Local Level. – *Publ. Springer Cham*. Vol. 3. P. 1-17. DOI:10.1007/978-3-319-32824-9.
15. Edwards S., Ford R., Szappanos G. 2015. Effectively Testing APT Defences: Defining threats, addressing objections to testing and suggesting some practical approaches. – *Virus bulletin conference September*. P. 291-299.
16. Jensen E.T., Watts S.A. 2017. Cyber Duty of Due Diligence: Gentle Civilizer or Crude Destabilizer? – *Texas law review*. Vol. 95. P. 1555-1577.
17. O'Connell M. 2012. Cyber security without cyber war. – *Journal of conflict and security law*. № 17 (2). P. 187-209.
18. Merz F. 2019. L'attribution publique d'incidents cybernétiques. – *Politique de sécurité*. № 244. P.1-4. DOI: 10.3929/ethz-b-000340840.
19. Nicholas T. 2012. Cyber-attacks, self-defense and the problem of attribution. – *Journal of conflict and security law*. Vol. 17. № 2. P. 229-244.
20. Schmitt M.N. 2017. Tallin Manual 2.0. On the International Law Applicable to Cyber Operations. 2nd ed. Cambridge: Publ. Cambridge University Press. P. 1-30. DOI: 10.1017/9781316822524.

References

1. Banks W. Cyber attribution and State responsibility. – *International law studies*. 2021. Vol. 97. P. 1039-1072.
2. Berson T., Denning D. Cyber warfare. – *Taylor and Francis Journal*. 2011. № 9 (5). P. 13-15. DOI:10.1109/MSP.2011.132.
3. Chircop L. Territorial sovereignty in cyberspace after "Tallinn Manual 2.0". – *Melbourne journal of international law*. 2019. Vol. 20. P. 349-377.
4. Clark R. M. Cyber-Physical Security: Protecting Critical Infrastructure at the State and Local Level. – *Publ. Springer Cham*. 2017. Vol. 3. P. 1-17. DOI:10.1007/978-3-319-32824-9.
5. Edwards S., Ford R., Szappanos G. Effectively Testing APT Defences: Defining threats, addressing objections to testing and suggesting some practical approaches. – *Virus bulletin conference September*. 2015. P. 291-299.
6. Garkusha-Bozhko S.U. Mezhdunarodnoe gumanitarnoe pravo v kiberprostranstve: Ratione materiae, ratione temporis i problema kvalifikacii kiberatak [International humanitarian law in cyberspace: Ratione materiae, ratione temporis and the issue of qualification of cyberattacks]. – *Zifrovoe pravo [Digital law]*. 2021. V. 2. № 1. P. 64-82. DOI: 10.38044/2686-9136-2021-2-1-64-82. (In Russ.)
7. Ivlyushkin A.S. Primenimost' norm mezhdunarodnogo publichnogo prava k obespecheniyu bezopasnosti v kiberprostranstve: poziciya NATO. [Application of public international law norms to cybersecurity: NATO position] – *Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo evrazijskih gosudarstv: politika, ekonomika, pravo [International cooperation of the Eurasian states: politics, economics, law]*. 2023. № 4. P. 32-39. (In Russ.)
8. Jensen E.T., Watts S.A. Cyber Duty of Due Diligence: Gentle Civilizer or Crude Destabilizer? – *Texas law review*. 2017. Vol. 95. P. 1555-1577.
9. Kolosov U.M. *Otvetstvennost' v mezhdunarodnom prave [Responsibility in international law]*. 2-e izd. Moscow: Statut. 2014. (In Russ.)
10. Kotenko I.V., Hmyrov S.S. Analiz modelej i metodik, ispol'zuemyh dlja atribucii narushitelej kiberbezopasnosti pri realizacii celevyh atak [Analysis of models and techniques used to attribute cybersecurity violators in the implementation of targeted attacks]. – *Voprosy kiberbezopasnosti [Cybersecurity issues]*. 2022. № 4 (50). P. 52-79. DOI: 10.21681/2311-3456-2022-4-52-79. (In Russ.)
11. Krasikov D.V. Mezhdunarodno-pravovaya otvetstvennost' gosudarstv v kiberprostranstve. [International responsibility of States in cyberspace]. – *Gosudarstvo i pravo v novej informacionnoj real'nosti [The state and law in the new information reality]*. Ed. E.V. Alferova, D.A. Lovtsov. Moscow. P. 235-247. DOI: 10.31249/pras/2018.01.11. (In Russ.)
12. Krutских A.V., Zinov'eva E.S. Mezhdunarodnaja informacionnaja bezopasnost': podhody Rossii [International information security: Russia's approaches]. Moscow: MGIMO-Universitet. 2021. 48 p. (In Russ.)
13. Kulazhnikov V.V. Normativno-pravovoe i tekhnologicheskoe obespechenie informacionnoj bezopasnosti KNR [Regulatory and technological support of information security of the People's Republic of China] – *Obrazovanie i pravo [Education and law]*. 2019. № 7. P. 24-30. (In Russ.)
14. Markov A.S., Romashkina N.P. Problema vyjavlenija istochnika (atribucii) kiberatak – faktor mezhdunarodnoj bezopasnosti [The problem of identifying the source

- (attribution) of cyber-attacks is a factor of international security]. – *Mirovaya jekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya [World economy and international relations]*. 2022. Vol. 66. № 12. P. 58-68. DOI: 10.20542/0131-2227-2022-66-12-58-68. (In Russ.)
15. Merz F. L'attribution publique d'incidents cybernétiques. – *Politique de sécurité*. 2019. № 244. P.1-4. DOI: 10.3929/ethz-b-000340840.
16. Nicholas T. Cyber-attacks, self-defense and the problem of attribution. – *Journal of conflict and security law*. 2012. Vol. 17. № 2. P. 229-244.
17. O'Connell M. Cyber security without cyber war. – *Journal of conflict and security law*. 2012. № 17 (2). P. 187-209.
18. Schmitt M.N. Tallin Manual 2.0. On the International Law Applicable to Cyber Operations. 2nd ed. Cambridge: Publ. Cambridge University Press. 2017. P. 1-30. DOI: 10.1017/9781316822524.
19. Shinkareckaja G.G. Mezhdunarodnoe pravo i vojna v kiberprostranstve [International law and the war in cyberspace]. – *Sovremennoe parvo [Modern law]*. 2013. № 8. P. 120-126. (In Russ.)
20. Yanikeeva I.O. Perspektivnye napravleniya razvitiya i uglubleniya mezhdunarodnogo vzaimodejstviya po problematike mezhdunarodnoj informacionnoj bezopasnosti. [Promising directions for the development and deepening of international cooperation on the issues of international information security]. – *Mirovaya politika [World politics]*. 2022. № 1. P. 23-34. DOI: 10.25136/2409-8671.2022.1.37532. (In Russ.)

Информация об авторе

Ирина Григорьевна ЛУКЬЯНЦЕВА,

соискатель кафедры международного права, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел России

Вернадского пр-т, д. 76, Москва, 119454, Российская Федерация

ilukiyantseva1@gmail.com

ORCID: 0009-0003-9940-4645

About the Author

Irina G. LUKIYANTSEVA,

Postgraduate student of the International Law Department, Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

76, Vernadskogo Ave., Moscow, Russian Federation, 119454

ilukiyantseva1@gmail.com

ORCID: 0009-0003-9940-4645



DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-132-145>

Исследовательская статья

УДК: 341.018

Поступила в редакцию: 19.06.2024

Принята к публикации: 14.11.2024

Елена Николаевна МЕЛЬНИКОВА

Санкт-Петербургский государственный университет

Университетская наб., д. 7–9, Санкт-Петербург, 199034, Российская Федерация

melnikova_elena5@mail.ru

ORCID: 0000-0001-7263-5281

ПРИНЦИП ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ЛИЦА КАК ОСНОВА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ «РАЗРЫВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ» ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

ВВЕДЕНИЕ. Использование технологий искусственного интеллекта (далее – ИИ) характеризуется опосредованием действий человека автономными процессами, что приводит в случае, когда техническая экспертиза не в состоянии выявить причинителя вреда, к «разрыву ответственности» – нежелательному правовому явлению, при котором возложение ответственности за вред, причиненный использованием ИИ, на конкретное лицо (лица) по правилам деликтной ответственности невозможно.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. При проведении исследования использовались общенаучные и специальные методы, в том числе исторический метод, методы формальной логики, анализа, синтеза, а также системные и сравнительно-правовые методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для устранения «разрыва ответственности» в статье предложен механизм, позволяющий восполнить недостающие элементы состава деликта, совершенного с использованием ИИ тогда, когда ошибка, которая привела к причинению вреда, *de lege lata* невозможно атрибутировать ни одному участнику жизненного цикла системы или приложения ИИ. Отправной точкой разработки

данного механизма стала теория «руководящего контроля» за использованием ИИ. Юридическое осмысление философских оснований теории «руководящего контроля» позволяет обосновать общеправовой принцип распределения ответственности за вред, причиненный ИИ, согласно которому юридическую ответственность несет лицо, обязанное осуществлять человеческий контроль за использованием системы или приложения ИИ, если не выявлено иных виновных лиц. Указанный принцип постепенно воспринимается международно-правовой доктриной, что выражается в обозначении необходимости контроля за использованием ИИ в ряде международных документов.

ВЫВОДЫ. При условии закрепления в международном договоре в рамках ЕАЭС общеправовой принцип ответственности контролирующего лица за вред, причиненный ИИ, может приобрести значение регионального международно-правового принципа, и тем самым стать основой формирования в ЕАЭС нормативно-правового регулирования распределения ответственности за вред, причиненный ИИ. Предложенный юридический механизм пригоден для сближения законодательств государств – членов ЕАЭС как

посредством наднационального правового регулирования, так и посредством гармонизации законодательства по данному вопросу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вред, причиненный искусственным интеллектом, разрыв ответственности, деликт, юридический состав, человеческий контроль за использованием ИИ, общеправовой принцип, принцип международного права, ЕАЭС, наднациональное правовое регулирование

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Мельникова Е.Н. 2024. Принцип ответственности контролирующего лица как основа для устранения «разрыва ответственности» за вред, причиненный искусственным интеллектом. – *Московский журнал международного права*. № 4. С. 132–145. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-132-145>

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-132-145>

Research article

UDC: 341

Received 19 June 2024

Approved 14 November 2024

Elena N. MELNIKOVA

Saint Petersburg University

7–9, Universitetskaya Emb., Saint Petersburg, Russia, 199034

melnikova_elen5@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-7263-5281

PRINCIPLE OF RESPONSIBILITY OF THE CONTROLLING PERSON AS APPROACH TO ELIMINATING THE “RESPONSIBILITY GAP” FOR HARM CAUSED BY AI SYSTEMS AND AI APPLICATIONS

INTRODUCTION. *The use of artificial intelligence technologies (hereinafter referred to as “AI”) is characterized by the mediation of human actions by autonomous processes, which leads, in the case when technical expertise is unable to identify the causer of harm, to a “responsibility gap” is an undesirable legal phenomenon in which the imposition of responsibility for harm caused by the use of AI on a specific person (persons) for the rules of tort liability are impossible.*

MATERIALS AND METHODS. *The research used general scientific and special methods, including the historical method, methods of formal logic, analysis, synthesis, as well as systemic and comparative legal methods.*

RESEARCH RESULTS. *To eliminate the “responsibility gap”, the article proposes a mechanism that allows to fill in the missing elements of a tort committed using AI when the error that led to harm cannot be attributed de lege lata to any participant in the life cycle of an AI system or application. The starting point for the development of this mechanism was the theory of “guidance control” over the use of AI. A legal understanding of the philosophical foundations of the theory of “guidance control” allows us to substantiate the general legal principle of allocating responsibility for harm caused by AI, according to which the legal responsibility is borne by the person obliged to exercise human control over the use of the AI system or application,*

unless other perpetrators are identified. This principle is gradually being accepted by the international legal doctrine, which is expressed in the designation of the need to control the use of AI in a number of international documents.

CONCLUSIONS. *Provided that the protocol to the Treaty on the EAEU enshrines the general legal principle of responsibility of the controlling person for harm caused by AI, it can acquire the significance of a regional international legal principle, and thereby become the basis for the formation of regulatory regulation in the EAEU of the distribution of responsibility for harm caused by AI. The proposed toolkit is convenient for legal consolidation through supranational legal regulation.*

1. Введение

Использование технологий ИИ характеризуется опосредованием действий человека автономными процессами, что приводит в ряде случаев к размыванию подотчетности действий участников жизненного цикла системы или приложения ИИ и такому нежелательному правовому явлению, при котором возложение ответственности за вред, причиненный использованием ИИ, на конкретное лицо (лиц) по правилам деликтной ответственности невозможно ввиду невозможности установления таких элементов состава гражданско-правового нарушения как причинно-следственная связь между вредом и действиями конкретных лиц, а также противоправности и виновности этих действий. Указанное правовое явление, главной характеристикой которого является затруднение поиска причинителя вреда, причиненного ИИ, принято обозначать в англоязычной литературе термином «разрыв ответственности» [Matthias 2004:175]; [De Sio, Mecacci 2021:34, 1057-1084]. «Разрыв ответственности» обусловлен такими технологическими причинами ошибок ИИ, как: 1) объективная невозможность определить причинителя вреда ввиду возникновения неблагоприятных последствий имманентной ошибки модели ИИ, действующей в составе системы ИИ, обусловленной вероятностной природой выдачи результата и поэтому не зависящей от контролирующего субъекта (истинный пробел ответственности); 2) субъективная невозможность

KEYWORDS: *tort, harm caused by artificial intelligence, responsibility gap, legal composition, human control over the use of AI, general legal principle, principle of international law, EAEU*

FOR CITATION: Melnikova E.N. Principle of Responsibility of the Controlling Person as Approach to Eliminating the “Responsibility Gap” for Harm Caused by AI Systems and AI Applications. – *Moscow Journal of International Law*. 2024. No. 4. P. 132–145. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-132-145>

The author declares the absence of conflict of interest.

определить причинителя вреда ввиду возникновения неблагоприятных последствий ошибки системы ИИ, когда выводы технической экспертизы не позволяют вменить вину конкретному лицу (лицам) ввиду неясной этиологии ошибки (проблема «черного ящика»), которая не является имманентной ошибкой конкретной модели ИИ (мнимый пробел ответственности); субъективная невозможность определить причинителя вреда ввиду возникновения неблагоприятных последствий использования приложения ИИ тогда, когда работа системы ИИ, управляющей приложением ИИ, опосредуется действиями многих участников жизненного цикла приложения ИИ (размывание ответственности). «Разрыв ответственности» вызывает правовую неопределенность, провоцирующую безнаказанное причинение вреда использованием ИИ. В настоящей статье предложен юридический механизм, направленный на устранение «разрыва ответственности». Суть данного механизма заключается в трансформации моральной ответственности за выбор инструментов для принятия человеческих решений, основанных на технологиях ИИ, в юридическую ответственность.

2. Общеправовой принцип ответственности контролирующего лица за вред, причиненный использованием ИИ

22 марта 2023 г. некоммерческой организацией Future of Life опубликовано обращение, в котором глава SpaceX Илон Маск, соучредитель Apple Стив Возняк, филантроп Эндрю Янг, самый

цитируемый ученый в области IT Йошуа Бенгио и еще около тридцати тысяч исследователей ИИ призвали «немедленно приостановить» обучение систем ИИ, более мощных, чем GPT-4, предупреждая о ряде негативных последствий для человечества, среди которых упоминается даже «риск потери контроля над цивилизацией»¹.

Всеобщность и масштаб проблемы распределения ответственности за вред, причиненный ИИ, создает потребность в ориентире, снимающем правовую неопределенность в этом вопросе. Представляется, что таким ориентиром может стать общеправовой принцип ответственности контролирующего лица.

Для возникновения предпосылок к становлению общеправового принципа ответственности контролирующего лица за вред, причиненный использованием ИИ, необходимо наметить детерминанты: 1) между контролем и моральной ответственностью за выбор средств принятия решений; 2) между контролем и юридической ответственностью.

а. Взаимосвязь контроля и моральной ответственности в свете концепции значимого человеческого контроля

Взаимосвязь контроля и моральной ответственности традиционно исследуется в теории «руководящего контроля», популярной в инженерии и психологии дорожного движения начиная с 60-х годов XX в. [Michon 1985:500; Fischer, Ravizza 1998; Bovens, Miceli 1998; Collingridge 1980; Danaher 2016:299-309; Pesch 2015:925-939; Van de Poel, Sand 2018]. Теория «руководящего контроля» концентрируется на исследовании взаимосвязи моральной ответственности и контроля человека за *своими* действиями, не опосредованными автономными процессами, и не исследует взаимосвязь между контролем и юридической ответственностью.

Автономные процессы усложнили процесс установления подотчетности действий, поэтому на основе теории «руководящего контроля»

юристами-международниками и исследователями этики ИИ для устранения «разрыва ответственности» за вред, причиненный ИИ, была предложена концепция значимого человеческого контроля за использованием ИИ, представляющая собой систему взглядов, в основе которых лежит идея о том, что люди должны сохранять контроль над автономными системами и нести моральную ответственность за последствия их использования [De Sio, van den Hoven 2018:11; Cavalcante, Lupetti, Aizenberg 2023:241-255; Heyns 2014; Meloni 2016; Matthias 2004:175; Sparrow 2007:62-77].

Характерно то, что в концепции значимого человеческого контроля нет согласованности в отношении ее основных элементов: определения понятия значимого человеческого контроля, условий контроля, при которых он может считаться значимым с точки зрения моральной ответственности, и даже в отношении вопроса над чем именно такой контроль может осуществляться². Разнонаправленность взглядов не позволяют концепции значимого человеческого контроля развиваться в научную теорию, в рамках которой может быть установлена взаимная связь человеческого контроля и моральной ответственности.

б. Взаимосвязь контроля и юридической ответственности в свете концепции значимого человеческого контроля

Взаимосвязь человеческого контроля ИИ и юридической ответственности исследуется менее активно: довольно мало исследований посвящено именно этому вопросу [Matthias 2004:175; Amoroso, Tamburrini 2020:187-194]. Вместе с тем в международном праве постепенно накапливаются разрозненные правовые нормы, которые связывают ответственность за последствия использования ИИ с фактом осуществлением контроля человеком. В частности, о необходимости человеческого контроля за использованием ИИ говорится в Резолюции Европейского парламента «О правилах гражданского

¹ Pause Giant AI Experiments: An Open Letter. March 22, 2023. URL: <https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/> (дата обращения: 28.03.2023). На 17 сентября 2024 г. под обращением подписались **33 707** человек, в том числе соучредитель Pinterest Эван Шарп, соучредитель Ripple Крис Ларсен, генеральный директор Stability AI Эмад Мостак, а также исследователи из DeepMind, Гарварда, Оксфорда и Кембриджа. Письмо подписали также тяжеловесы в области искусственного интеллекта Йошуа Бенджио и Стюарт Рассел.

² The Weaponization of Increasingly Autonomous Technologies: Considering how Meaningful Human Control might move the discussion forward. – *UNIDIR*: [сайт]. 13 November 2014. URL: <https://unidir.org/publication/the-weaponization-of-increasingly-autonomous-technologies-considering-how-meaningful-human-control-might-move-the-discussion-forward/> (дата обращения: 23.09.2024).

права в области робототехники» от 16 февраля 2017 г. № 2015/2103(INL)³ и Рекомендациях Совета Организации экономического сотрудничества и развития по ИИ от 2019 г.⁴, принцип ответственности за контроль проводится в Регламенте Европейского союза (далее – ЕС) об ИИ от 2024⁵.

Согласно ст. 9 Рамочной конвенции Совета Европы об ИИ, правах человека, демократии и верховенстве закона 2024 г.⁶ государства-участники обязаны принимать меры по обеспечению подотчетности и ответственности за неблагоприятное воздействие на права человека, демократию и верховенство закона, возникающее в результате деятельности в рамках жизненного цикла систем ИИ.

В 2015 г. ряд авторов [Čerka, Grigienė, Širbikyte 2015:376] предложили в качестве такого ориентира ст. 12 Конвенции Организации Объединенных Наций (далее – ООН) об использовании электронных сообщений в международных договорах, в которой говорится, о том, что физическое или юридическое лицо, запрограммировавшее компьютер, несет конечную ответственность за все сообщения, генерируемые машиной. Это согласуется с принципом, согласно которому владелец инструмента всегда отвечает за его использование. В данной норме четко прослеживается универсальная установка участников ООН на атрибутирование последствий ситуации контролирующему лицу.

Другая норма-ориентир по вопросу об ответственности содержится в п. 35 документа ЮНЕСКО «Рекомендации об этических аспектах ИИ»⁷: всегда должна существовать возможность

возложения этической и правовой ответственности на конкретное физическое или действующее юридическое лицо.

Принципы человеческого контроля также сформулированы в документе «Азиломарские принципы»⁸, принятом профессиональным ИТ-сообществом в 2017 г. Два из них – Human Control и Recursive self-improvement – определяют, что такое контроль ИИ человеком: «Люди должны определять процедуру и степень необходимости передачи системе ИИ функции принятия решений для выполнения целей, поставленных человеком»; «Системы ИИ, разработанные для улучшения эффективности собственных алгоритмов и самовоспроизведения, ведущего к быстрому изменению качества и количества, должны быть объектом применения мер жесткого регулирования и контроля».

Наиболее активно проблемы человеческого контроля ИИ обсуждаются в связи с применением автономного летального оружия. Именно автономное летальное оружие в 2012–2013 гг. стало поводом появления в отчетах Британской NGO Article 36 термина «значимый человеческий контроль». Article 36 обосновывала аргументы в пользу необходимости позитивного обязательства в международном праве, согласно которому отдельные атаки должны находиться под контролем человека.

Human Rights Watch в обзоре позиций различных государств – участников КНО по вопросу человеческого контроля смертоносных автономных систем (далее – САС) приводит полемику, которая свидетельствует о существовании четырех позиций.

³ Civil Law Rules on Robotics: Resolution with recommendations to the Commission N 2015/2103(INL): adopted by European Parliament 16.02.2017. – *EURO-PARL.EUROPA.EU* : [сайт]. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.html (дата обращения: 01.02.2024).

⁴ Recommendation on Artificial Intelligence № OECD/LEGAL/0449: adopted by OECD Council 22.05.2019. – *LEGALINSTRUMENTS.OECD.ORG* : [сайт]. URL: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449> (дата обращения: 01.02.2024).

⁵ Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) № 300/2008, (EU) № 167/2013, (EU) № 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (OJ L, 12.7.2024, p. 1-144). – *Offic. J. of the Europ. Union. Ser. C. L. 2024/1689. 12.07.2024. P. 1-144.*

⁶ Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law. Council of Europe Treaty Series №. 225. Vilnius, 5.IX.2024. – *Council of Europe* : [сайт]. URL: <https://rm.coe.int/1680afae3c> (дата обращения: 09.09.2024).

⁷ Проект рекомендации об этических аспектах искусственного интеллекта № SHS/BIO/ AHEG-AI/2020/4 REV.2: подготовлен 07.09.2020. – *UNESDOC.UNESCO.ORG* : [сайт]. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373434_rus (дата обращения: 01.02.2024).

⁸ Asilomar AI Principles, coordinated by FLI and developed at the Beneficial AI 2017 conference, are one of the earliest and most influential sets of AI governance principles. 11.08.2017. URL: <https://futureoflife.org/open-letter/ai-principles/> (дата обращения: 01.08.2023).

1. Наиболее радикальная: полный запрет автономных систем вооружения (например, Австрия).

2. Концепция значимого контроля человека за использованием ИИ, которой придерживается ряд государств, например: Бразилия, Болгария, Дания, Япония, Чехия, Аргентина, Мексика и др. Эти государства считают необходимым изменение норм международного права.

3. Государства, признающие необходимость человеческого контроля над САС, но не видящие необходимости изменения норм международного права. К ним относятся Российская Федерация, Китай, Швейцария, Люксембург, Иран, Болгария. Позицию этих государств наиболее последовательно выражает Российская Федерация. В ноябре 2022 г. представитель России К.В. Воронцов на совещании государств – участников Конвенции о «негуманном» оружии (далее – КНО) отметил, что Россия видит «востребованность в продолжении дискуссии о необходимости обеспечения взаимодействия «человек – машина», «сохранение контроля человека над машиной является важным условием обеспечения выполнения существующих норм международного права, в том числе МГП», «при этом конкретные формы и методы такого взаимодействия должны оставаться на усмотрение государств»⁹. Оценивая позицию сторонников концепции значимого человеческого контроля, представитель России справедливо заявил, что

«продвигаемая рядом стран концепция «значимого человеческого контроля» в целом не имеет отношения к праву и чревата лишь политизацией дискуссии»¹⁰. Позднее данные позиции были подтверждены в рабочем документе группы правительственных экспертов по новым технологиям в сфере создания САС от 14 мая 2024 г.¹¹

4. Государства, которые не видят необходимости в человеческом контроле над автономными системами вооружения или «размывают» человеческий контроль: Франция, Германия, Израиль, США. Так, по мнению Израиля, соответствующее человеческое суждение уже заложено в разработку систем вооружения, в том числе на этапах проектирования, испытаний и развертывания, и, следовательно, необходимость в контроле со стороны человека является ненужной.¹² США и Израиль еще в 2015 г. ушли от использования термина «контроль» и заявляли о необходимости «обеспечить надлежащий уровень человеческого суждения о применении силы»¹³. Именно эта формулировка была в конечном счете закреплена в директиве Департамента оборонной политики по автономному оружию¹⁴.

Особое место занимает Великобритания, первое десятилетие XXI в. разделявшая концепцию значимого человеческого контроля. Но в 2022 г. ее позиция изменилась. В документе оборонной стратегии¹⁵ в отношении применения САС вместо понятия «значимый человеческий контроль» появилось понятие “context-appropriate

⁹ Выступление К.В. Воронцова на Совещании государств-участников Конвенции о «негуманном» оружии по п. 7 повестки дня «Рассмотрение доклада Группы правительственных экспертов по развивающимся технологиям в области смертоносных автономных вооружений». 17.11.2022. – *Постоянный Представитель Российской Федерации при Отделении ООН и других МО в Женеве*. https://geneva.mid.ru/centr-verh/-/asset_publisher/vxGb9AKjOm4T/content/vystuplenie-k-v-voroncova-na-sovesanii-gosudarstv-ucastnikov-konvencii-o-negumannom-oruzii-po-p-7-povestki-dna-rassmotrenie-doklada-gruppy-pravitel-st (дата обращения: 20.09.2024).

¹⁰ Там же.

¹¹ Рабочий документ группы правительственных экспертов по новым технологиям в сфере создания САС от 14 мая 2024 г. Совещание 4–8 марта и 26–30 августа 2024 г. по Конвенции о «негуманном» оружии. – *UNODA*: [сайт]. 14 мая 2023. URL: [https://docs-library.unoda.org/Convention_on_Certain_Conventional_Weapons_-_Group_of_Governmental_Experts_on_Lethal_Autonomous_Weapons_Systems_\(2024\)/CCW-GGE.1-2024-WP.2-Russian.pdf](https://docs-library.unoda.org/Convention_on_Certain_Conventional_Weapons_-_Group_of_Governmental_Experts_on_Lethal_Autonomous_Weapons_Systems_(2024)/CCW-GGE.1-2024-WP.2-Russian.pdf) (дата обращения: 20.09.2024).

¹² Statement by Israel. CCW Meeting of States Parties. Geneva. November 13-14, 2014. – *UNODA*: [сайт]. URL: [https://unoda-documents-library.s3.amazonaws.com/Convention_on_Certain_Conventional_Weapons_-_Meeting_of_High_Contracting_Parties_\(2014\)/Israel_MSP_GS.pdf](https://unoda-documents-library.s3.amazonaws.com/Convention_on_Certain_Conventional_Weapons_-_Meeting_of_High_Contracting_Parties_(2014)/Israel_MSP_GS.pdf) (дата обращения: 20.09.2024).

¹³ Statement of the United States, CCW Meeting of Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems, April 13, 2015. URL: [http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/\(httpAssets\)/8B33A1CDBE80EC60C1257E2800275E56/\\$file/2015_LAWS_MX_USA+bis.pdf](http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/8B33A1CDBE80EC60C1257E2800275E56/$file/2015_LAWS_MX_USA+bis.pdf) (дата обращения: 02.10.2023).

¹⁴ DOD Directive 3000.09 «Автономность в системах вооружения». January 25, 2023. – *Executive Services Directorate*: [сайт]. URL: <https://www.esd.whs.mil/portals/54/documents/dd/issuances/dodd/300009p.pdf> (дата обращения: 05.06.2024).

¹⁵ Policy paper Defence Artificial Intelligence Strategy. – *GOV.UK*: [сайт]. URL: <https://www.gov.uk/government/publications/defence-artificial-intelligence-strategy> (дата обращения: 05.06.2024).

human involvement”, которое в переводе на русский язык может быть понято как «соответствующее контексту участие человека». В указанном документе утверждается, что механизмы человеческой власти, ответственности и подотчетности всегда будут присутствовать при применении силы, однако нет указаний на то, как следует оценивать или понимать «соответствующее контексту участие человека»¹⁶.

Государства, считающие недостаточными существующие международные нормы для контроля над САС, добиваются подписания нового протокола к КНО. 7 марта 2023 г. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев провело вебинар, посвященный понятию «значимого человеческого контроля» в отношении новых технологий в области САС, где «значимый контроль со стороны человека» был назван «рабочей концепцией для дискуссии об автономии систем вооружения» и центральным вопросом, «предъявляющим требования к обеспечению соответствия систем автономного оружия международному гуманитарному праву»¹⁷. Участники вебинара обосновывали условия, при которых человеческий контроль может считаться значимым, причем доминировали разнообразные условия технического взаимодействия «человек – машина».

Проведенный анализ позволяет прийти к выводу о том, что в рамках *концепции значимого человеческого контроля за использованием ИИ предпринимаются упорные попытки юридической квалификации факта взаимодействия «человек – машина» в соответствии с нормами международного права*, однако это осложняется тем, что «у политиков и проектировщиков отсутствует разработанная теория о том, что именно означает «значимый контроль» со стороны человека» [De Sio, van den Hoven 2018:3] и поэтому они не знают, «какие конкретные правовые нормы и правила должны вытекать из этого принципа» [De Sio, van den Hoven 2018:3]. Приходится констатировать, что концепция значимого контроля человека за использованием ИИ

не разработана, а ее главный постулат – отвечает тот, кто должен контролировать, – пока не получил юридического обоснования, достаточного для построения взаимосвязи между контролем и юридической ответственностью.

С учетом состояния мирового правопорядка следует согласиться с тем, что на сегодняшний день являются «преждевременными дискуссии по нормам, принципам и правилам «ответственного поведения» в отношении САС»¹⁸. Однако правовое регулирование ИИ гражданского назначения является не менее важным, поскольку появление систем и приложений ИИ – явление, имеющее значение для всего международного сообщества ввиду своей способности к трансграничному причинению вреда [Мельникова 2024:95] и неконтролируемой трансграничной пролиферации [Burri 2017:97], способной затронуть различные сферы жизни гражданского общества.

с. Понятие человеческого контроля за использованием ИИ и условия его осуществления

Для устранения «разрыва ответственности» необходимо разработать юридический подход, который одновременно соответствовал бы философским основаниям ответственности, был бы физически возможным и при этом непротиворечивым с точки зрения права. Для этого необходимо определить понятие и условия значимого человеческого контроля.

Немецким исследователем в области этики ИИ С. Робинсоном был предложен подход к выявлению смысла термина «значимый человеческий контроль». Обобщив наработки компатибилистской теории «руководящего контроля» Фишера и Равиццы [Fischer, Ravizza 1998], ученый сформулировал три условия наступления моральной ответственности за вред, причиненный ИИ [Robbins 2023], на основе которых можно сформулировать три условия возможности осуществления человеческого контроля.

¹⁶ Defence Artificial Intelligence Strategy. – Article 36 : [сайт]. June 2022. URL: <https://article36.org/updates/new-uk-government-position-on-autonomous-weapons-recognises-that-lines-need-to-be-drawn-but-lacks-detail-or-signs-of-real-leadership/> (дата обращения: 02.01.2024).

¹⁷ Neder C. Experts Reflect on Novel Approaches to «Meaningful Human Control». – UNODA : [сайт]. 7 March 2023. URL: [https://disarmament.unoda.org/the-convention-on-certain-conventional-weapons/experts-reflect-on-novel-approaches-to-meaningful-human-control/\(accessed date: 23.09.2024\)](https://disarmament.unoda.org/the-convention-on-certain-conventional-weapons/experts-reflect-on-novel-approaches-to-meaningful-human-control/(accessed%20date%3A%2023.09.2024)).

¹⁸ Рабочий документ группы правительственных экспертов по новым технологиям в сфере создания САС от 14 мая 2024 г.

Условие 1: Осознанность. Контроль должен быть осознанным, т. е. осуществляться специальным субъектом – лицом, обладающим квалификацией достаточной для предвидения последствий действий своих и системы ИИ и способным к осуществлению действий по изменению результатов вывода системы или приложения ИИ. Представляется, что контроль не должен рассматриваться через призму его значимости: факт контроля либо есть, либо нет, контроль не может быть двух видов – значимый и не значимый. На сегодняшний день условия человеческого контроля формулируемые через категорию «значимости» каждое государство понимает так, как ему выгодно. Вместо этого целесообразно пользоваться критерием «осознанности», достаточной для предвидения последствий действий своих и системы ИИ.

Условие 2: «Человекоразмерность». Для соблюдения условия 1 система ИИ или приложение ИИ должны быть человекоразмерными, т. е. позволяющими изменить свои результаты с учетом психофизиологической скорости принятия решения человеком.

Условие 3. Прослеживаемость. Возможность «прослеживаемости» результата операций системы ИИ для установления технологических причин ошибки и определения вида «разрыва ответственности» с целью его устранения возложением ответственности на лицо, осуществляющее человеческий контроль.

Условие 1 является главным и необходимым. Условия 2 и 3 должны определять законные пределы делегирования человеческих полномочий машине (что является темой для отдельного исследования).

Принимая во внимание вышеперечисленные условия, **человеческий контроль за использованием ИИ может быть определен как осуществление лицом действий, способных влиять на вывод результата системой ИИ, управляющей приложением ИИ с учетом психофизиологической скорости принятия решения человеком, обладающим квалификацией, достаточной для предвидения последствий действий своих и системы (приложения) ИИ; результаты выводов системы ИИ должны обладать свойством прослеживаемости.**

Человеческий контроль в «узком» значении. Если в отношении деятельности лица выполняются все вышеуказанные условия, то такая деятельность может рассматриваться в качестве значимого человеческого контроля за использованием ИИ в «узком» значении. В этом случае «разрыв подотчетности» отсутствует¹⁹, и, соответственно, «разрыв ответственности», как моральной, так юридической, не образуется.

Человеческий контроль в «широком» значении. Если не выполняется условие 1, то это признак либо наличия имманентной ошибки модели ИИ, либо нарушения пределов делегирования человеческих полномочий машине (в последнем случае также не соблюдаются условия 2 и 3). В этом случае имеется «разрыв подотчетности», следствием которой являются затруднения в атрибутировании ошибки конкретному лицу, поскольку условия осуществления контроля в «узком» значении не выполняются. Для устранения «разрыва ответственности» в случае невыполнения условий значимого человеческого контроля в «узком» значении важно обозначить понятие значимого человеческого контроля за использованием ИИ в его *широком значении*, когда контролирующее лицо, по сути, не может повлиять на негативный результат использования ИИ иначе, кроме как отказом от такого использования (так как технически устранить «разрыв ответственности» невозможно). Здесь проблема ответственности вызвана тем, что контролирующее лицо должно отвечать (сначала морально, а потом уже юридически) за чужие действия, за чужие ошибки. Вопрос о моральной ответственности в таком случае является предметом текущих философских дебатов [De Sio, van den Hoven 2018:4]. Думается, что наиболее глубоко обусловленность моральной ответственности возможностью осуществления контроля как *выбора механизма принятия решений* обоснована в компатибилистской теории «руководящего контроля» Фишера и Равиццы [Fischer, Ravizza 1998]. Указанная теория руководящего контроля описывает условия, при которых агенты-люди несут моральную ответственность за свои действия, основываясь на особенностях механизма принятия решений, приводящего к этим действиям.

¹⁹ Имманентная ошибка модели, и проблема «черного ящика» для рассматриваемой ситуации не характерна, затруднения в атрибутировании ошибки отсутствуют.

Первое условие Фишера и Равиццы для руководящего контроля – условие разумной реакции [Fischer, Ravizza 1998:6]. Оно требует, чтобы механизм принятия решений агентом был чувствителен и реагировал на достаточное разнообразие моральных факторов, т. е. чтобы механизм принятия решений мог адаптировать поведение системы ИИ к моральным особенностям обстоятельств. Однако на данном этапе развития уровня техники это условие пока не выполнимо [Melnikova, Surov 2023:22].

Второе условие Фишера и Равиццы основывается на доктрине причинного детерминизма и применительно к руководящему контролю состоит в том, что нести моральную ответственность за свои действия может только тот агент, который несет в себе механизм принятия решений: агент должен «взять на себя ответственность» за тот механизм, с помощью которого он принимает решения [Fischer 2004:146]. Это означает, что субъект может и должен предвидеть, как тот или иной механизм принятия решений, который он выбрал, способен повлиять на мир. Если субъект опосредует принятие своих решений технологиями ИИ, то за этот выбор он должен нести моральную ответственность.

Исходя из вышеизложенного, *человеческий контроль в «широком» значении* может быть определен как такая деятельность профессионального пользователя ИИ, при которой не соблюдаются одно или несколько условий человеческого контроля (осознанность, человеко-размерность, прослеживаемость)²⁰, однако, зная о вероятностном характере вывода результата моделями ИИ, лицо тем не менее опосредует механизм принятия решений использованием технологий ИИ.

Философские выводы теории «руководящего контроля», обоснование понятия контроля в «широком» значении, в совокупности с положениями международно-правовых актов, указывающих на необходимость контроля за ИИ, позволяют прийти к выводу о существовании жесткой детерминанты между контролем и юридической ответственностью.

Необходимость ответственности за выбор средств принятия человеческих решений, опосредованных технологиями ИИ, может быть сформулирована в виде **общеправового принципа распределения ответственности за вред,**

причиненный ИИ, согласно которому юридическую ответственность несет лицо, обязанное осуществлять человеческий контроль за использованием системы или приложения ИИ, если не выявлено иных виновных лиц.

Вместе с тем обоснование вышеуказанного принципа само по себе не решает проблему «разрыва ответственности», а лишь является первым шагом к ее решению. Создание юридического механизма устранения «разрыва ответственности» за вред, причиненный ИИ, требует выполнения дополнительных шагов к трансформации моральной ответственности за использование ИИ в юридическую. В настоящей статье рассмотрены вопросы только гражданско-правовой ответственности.

3. Фикция осуществления значимого человеческого контроля в широком значении

Вторым шагом является нормативное закрепление обязанности по осуществлению человеческого контроля в «широком» значении за лицом, опосредующим принятие решений технологиями ИИ. Это может быть достигнуто введением в правовое регулирование *фикции* осуществления человеческого контроля за использованием ИИ в широком значении, на основе которой можно сформировать презумпции, необходимые для восполнения тех элементов состава гражданско-правового деликта, которые иначе невозможны в случае «разрыва ответственности».

Классическим в юридической науке считается объяснение, что презумпция не может строиться на основе фикции, а может строиться только на основе существующего факта. Проблема в том, что *de lege lata* в случае деликта с участием ИИ не всегда возможно установление факта, на основе которого можно построить презумпции, восполняющие элементы состава.

Полагая, что в общественных науках, особенно в юриспруденции, фикции не должны быть противоестественными, поскольку их применение может влиять на основные права человека и благополучие окружающей среды, мы придерживаемся «непопулярной» позиции, согласно которой «презумпция есть предположение о наличии факта, вероятность существования

²⁰ Соответственно, контроль в его «узком» значении невозможен.

которого велика. Фикция является предположением о несуществующем факте или о факте, вероятность которого мала или неизвестна» [Черниковский 1984].

Таким фактом мы предлагаем считать осуществление человеческого контроля в широком значении, которое ввиду относительной новизны и отсутствия общепринятого целенаправленного и четкого философского обоснования ряда вышеупомянутых детерминант на сегодняшний день может принимать только форму фикции.

Думается, что второе условие руководящего контроля Фишера и Равиццы [Fischer, Ravizza 1998:19], согласно которому человек должен «взять на себя ответственность» за то средство, с помощью которого он принимает решения тогда, когда проявлена неосторожность в выборе средства, применительно к ИИ может послужить основой для формирования фикции осуществления человеческого контроля в широком значении. Широкий подход к пониманию человеческого контроля через ответственность человека за выбор средств принятия решений позволяет восполнить недостаток возможности предвидения последствий использования системы ИИ, недостаток «человекоразмерности» системы или приложения ИИ (в случае нарушения пределов делегирования человеческих полномочий машине), недостаток прослеживаемости ошибок.

Применение фикции осуществления человеческого контроля в широком значении целесообразно там, где не выполняются условия человеческого контроля в «узком» значении.

Функция человеческого контроля в широком значении позволяет привлечь к гражданско-правовой ответственности лицо тогда, когда контроль в «узком» значении был невозможен²¹. Лицо может рассматриваться как допустившее неосторожность в использовании системы или приложения ИИ на этапе выбора средства достижения поставленных целей.

Фикция осуществления человеческого контроля в широком значении не является противостественной, непротиворечива с точки зрения теории права: через какое-то время не исключен переход осуществления человеческого контроля

в широком значении в разряд юридических фактов. Поэтому представляется возможным построить на основе фикции осуществления человеческого контроля в широком значении необходимые презумпции для восполнения недостающих элементов состава деликта.

4. Презумпции, восполняющие недостающие элементы юридического состава деликта, опосредованного использованием ИИ, когда экспертиза не способна атрибутировать ошибку конкретному лицу

Третьим завершающим шагом к устранению «разрыва ответственности» является установление следующих презумпций.

Презумпция вины в форме неосторожности контролирующего лица в выборе средства принятия решения, опосредованного технологиями ИИ

В случае вреда, причиненного использованием ИИ, вина лица, осуществляющего человеческий контроль, может иметь место, но ее может и не быть.

Представляется, что виновное поведение контролирующего лица соответствует случаю осуществления контроля в «узком» значении, поскольку: а) гражданское законодательство предусматривает презумпцию вины причинителя вреда; б) ввиду того, что в гражданском праве под виной причинителя вреда понимают «непринятие им надлежащих мер по устранению или недопущению отрицательных результатов своих действий, диктуемых обстоятельствами конкретной ситуации» [Гражданское право 2000:449].

Сложнее обстоят дела с установлением виновного поведения лица в случае осуществления им человеческого контроля за использованием ИИ в «широком» значении, поскольку в этом случае контролирующее лицо отвечает за чужие действия (так как имеет место имманентная ошибка модели ИИ, или контроль осуществляет лицо без соответствующей квалификации, или система или приложение ИИ в принципе

²¹ Соответственно, в отношении работников организаций, которые не могут осуществлять выбор – использовать ИИ или нет, целесообразно говорить о надзоре за использованием ИИ. По этой же причине – невозможности осуществления выбора, – нельзя говорить о человеческом контроле за использованием ИИ и со стороны потребителей, которые приобретают то, что предлагает рынок. Контроль в данном случае должно осуществлять лицо, которое вывело такие продукты на рынок.

не поддается контролю по причине ее «нечеловеческой», либо проследить причину ошибки невозможно). Думается, в этом случае может презюмироваться вина в форме неосторожности, допущенной контролирующим лицом, когда он выбрал технологию ИИ в качестве средства, опосредующего принятие решений.

Соответственно, вина контролирующего лица должна презюмироваться всегда, независимо от того, «узкий» или «широкий» подход к понятию контроля мы применяем.

При осуществлении контроля в «широком» значении, в том числе, когда экспертизой установлена имманентная ошибка модели ИИ (чему соответствует «истинный пробел ответственности»), презумпция должна быть *неопровержимой*, поскольку лицо, использующее ИИ, должно быть осведомлено о том, что оно должно будет принять риск вероятностной ошибки модели ИИ, повлекший неправильный вывод результата системой ИИ.

Применение юридической фикции осуществления человеческого контроля в *широком значении* и *неопровержимой* презумпции неосторожности должно осуществляться в *исключительном случае*, когда существует *объективная* невозможность атрибутирования ошибки человеку, при этом нужно устранить «истинный пробел ответственности».

Неоднозначная ситуация возникает в случае субъективной невозможности атрибутирования ошибки, когда экспертиза не может достоверно установить либо причину ошибки (проблема «черного ящика» и «мнимый пробел ответственности»), либо лицо, действиями которого вызвана ошибка (проблема «многих рук» и «размывание ответственности»). В этом случае лицо, причинившее вред, объективно существует, просто из-за технической сложности его невозможно определить. Поскольку атрибутировать ошибку в обоих случаях практически невозможно, то и правовые последствия целесообразно сделать сходными с ситуацией, когда имеет место установленная вероятностная ошибка модели ИИ. Иными словами, для устранения как мнимого «разрыва ответственности», так «размывания ответственности» следует применить фикцию осуществления человеческого контроля в *широком значении*, но при этом *опровержимую* презумпцию неосторожности пользователя (эксплуатанта) системы или приложения ИИ.

Презумпция наличия причинно-следственной связи между вредом и действиями лица,

обязанного осуществлять контроль, и противоправности этих действий

Осуществление человеческого контроля в «широком» значении предполагает неосторожность в выборе средства принятия решения опосредованием технологий ИИ, что позволяет презюмировать противоправность неосторожных действий даже в случае соблюдения всех обязанностей и инструкций. Презюмируя неосторожность действий, мы презюмируем и наличие причинно-следственной связи между неосторожным поведением контролирующего лица, ошибкой и наступившими последствиями (вредом).

Чтобы освободиться от ответственности владельцу системы или приложения ИИ, посредством которых причинен вред, необходимо доказать, что вред причинен другим лицом, а именно: а) лицо, которому вменяется осуществление человеческого контроля в «широком» значении может доказать, что существует лицо, осуществляющее человеческий контроль в «узком» значении; б) лицо, которому вменяется осуществление человеческого контроля (в широком или узком значении), может доказать, что существует иное лицо, причинившее вред. Соответственно, предлагаемый подход не противоречит гражданско-правовому постулату: лицо, причинившее вред, освобождается от обязанности его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Поскольку фикция человеческого контроля в «широком» значении неприменима к физическим лицам, неприменимы к ним и вышеуказанные презумпции.

5. Заключение

Человеческий контроль за использованием ИИ может быть определен как осуществление лицом действий, способных влиять на вывод результата системой ИИ, управляющей приложением ИИ с учетом психофизиологической скорости принятия решения человеком, обладающим квалификацией, достаточной для предвидения последствий действий своих и системы (приложения) ИИ; результаты выводов системы ИИ должны обладать свойством прослеживаемости.

Юридическое осмысление философских оснований теории «руководящего контроля» позволяет обосновать **общеправовой принцип распределения ответственности** за вред, причиненный ИИ, согласно которому юридическую

ответственность несет лицо, обязанное **осуществлять человеческий контроль** за использованием системы или приложения ИИ, если не выявлено иных виновных лиц. Указанный принцип постепенно воспринимается международно-правовой доктриной, что выражается в обозначении необходимости контроля за использованием ИИ в ряде международных документов. Предложенный в настоящей работе механизм устранения «разрыва ответственности» концентрирует ответственность на лице, осуществляющем человеческий контроль за использованием ИИ. Указанное лицо может освободиться от ответственности, если докажет, что вред причинило другое лицо. Общеправовой принцип ответственности контролирующего лица задает направление правового регулирования распределения ответственности за вред, причиненный ИИ, что достигается в том числе посредством установления позитивных прав и обязанностей участников жизненного цикла систем и приложений ИИ.

Для реализации указанного принципа необходим механизм возложения ответственности на контролирующее лицо исходя из имеющихся или потенциальных юридических инструментов соответствующей отрасли права. В статье предложены возможные гражданско-правовые презумпции, однако в других отраслях права сконструировать механизм возложения ответственности на контролирующее лицо может оказаться проблематично.

Именно сейчас, когда правовое регулирование ИИ только формируется, очень важно в ЕАЭС не ошибиться с правилами распределения ответственности за вред, причиненный ИИ. В условиях единого внутреннего рынка ЕАЭС системы и приложения ИИ свободно распространяются, поэтому «разрыв ответственности» даже в одном из государств-членов способен негативно сказаться и на интересах тех государств-членов, где правовое регулирование его исключает. В настоящее время в ряде стран ЕАЭС специальные нормы, посвященные правовому регулированию ИИ (действующие и планируемые), имеют противоположную направленность. Сравнительный анализ законодательного регулирования ИИ в государствах ЕАЭС показал сильную дифференциацию подходов,

в частности, по вопросам допуска иностранного капитала на рынок информационных технологий и государственно-административного регулирования ИИ. Неоднородность правового регулирования ответственности за вред, причиненный ИИ, может привести к тому, что целые страны с благоприятными юрисдикциями²² могут стать площадками для экспериментов и разработки небезопасного ИИ, в том числе иностранного происхождения. При таких обстоятельствах неоднородность правового регулирования распределения ответственности за вред, причиненный ИИ, в условиях таможенного союза способна ослабить «цифровой суверенитет» всех государств – членов ЕАЭС.

Поэтому в ЕАЭС желательно и целесообразно достижение единого юридического механизма устранения «разрыва ответственности» за вред, причиненный ИИ. Это является необходимым условием формирования нормативно-правового регулирования ИИ.

Наднациональное правовое регулирование ИИ, в основу которого положен общеправовой принцип ответственности контролирующего лица, позволит избежать дифференциации подходов к распределению ответственности за вред, причиненный ИИ. Путь от формирования общеправового принципа до его признания в качестве принципа международного права может быть долгим. При условии закрепления в международном договоре в рамках ЕАЭС общеправовой принцип ответственности контролирующего лица за вред, причиненный ИИ, приобретет значение регионального международно-правового принципа. Однако есть серьезное препятствие: на сегодняшний день отсутствуют предпосылки формирования воле государств – членов ЕАЭС на сближение законодательства стран ЕАЭС в части правового регулирования ИИ, что позволяет констатировать отсутствие предпосылок единой, согласованной и скоординированной политики стран ЕАЭС в вопросах создания и использования ИИ, а следовательно, и перспектив сближения законодательства в рассматриваемой сфере общественных отношений посредством формирования наднационального правового регулирования. Вместе с тем право ЕАЭС не содержит к этому и правовых препятствий [Мельникова 2024:98]. Поэтому в случае

²² Где поощряется безнаказанное использование ИИ, когда причинителей вреда либо не установить вовсе, либо ответственность распределяется между широким кругом субъектов.

проявления политической воли на сближение законодательств государств – членов ЕАЭС по данному вопросу, предложенный в статье механизм пригоден для реализации его в праве ЕАЭС

посредством инструментов унификации и гармонизации законодательств как в рамках единой, так и согласованной политики.

Список литературы

1. Гражданское право. Учебник. 2000. В 2-х т. Т. 1. Под ред. Е.А. Суханова. 2-е изд. Москва: БЕК. 704 с.
2. Мельникова Е.Н. 2024. Перспективы сближения законодательства стран ЕАЭС в части правового регулирования искусственного интеллекта. – *Евразийская интеграция: экономика, право, политика*. Т. 18. № 2(48). С. 95-103.
3. Черниловский З.М. 1984. Презумпции и фикции в истории права. – *Советское государство и право*. № 1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
4. Amoroso D., Tamburrini G. 2020. Autonomous Weapons Systems and Meaningful Human Control: Ethical and Legal Issues. – *Current Robotics Reports*. Vol. 1. P. 187-194. DOI: 10.1007/s43154-020-00024-3.
5. Burri T. 2017. International Law and Artificial Intelligence. – *German Yearbook of International Law*. Vol. 60. P. 91-108.
6. Bovens M., Miceli M.P. 1998. The quest for responsibility: Accountability and citizenship in complex organisations. – *Cambridge University Press*. DOI: 10.2307/2667065. URL: https://www.researchgate.net/publication/275840305_The_Quest_for_Responsibility_Accountability_and_Citizenship_in_Complex_Organisations (accessed date: 02.12.2023).
7. Cavalcante S.L., Lupetti M.L., Aizenberg E. 2023. Meaningful human control: actionable properties for AI system development. – *AI Ethics*. Vol. 3. P. 241-255. DOI: 10.1007/s43681-022-00167-3.
8. Čerka P., Grigienė J., Širbikytė G. 2015. Liability for damages caused by artificial intelligence. – *Computer Law & Security Review*. Vol. 31. Issue 3. P. 376-389.
9. Collingridge D. 1980. *The Social Control of Technology*. London: Frances Pinter. 200 p.
10. Danaher J. 2016. Robots, law and the retribution gap. – *Ethics and Information Technology*. Vol. 18. P. 299-309. DOI: 10.1007/s10676-016-9403-3.
11. De Sio S.F., Mecacci G. 2021. Four Responsibility Gaps with Artificial Intelligence: Why they Matter and How to Address them. – *Philos and Technol*. Vol. 34. P. 1057-1084. DOI: 10.1007/s13347-021-00450-x. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s13347-021-00450-x> (accessed date: 02.10.2023).
12. De Sio F.S., van den Hoven J. 2018. Meaningful Human Control over Autonomous Systems: A Philosophical Account. – *Front. Robot. AI* 5:15. 28 Feb. DOI: 10.3389/frobt.2018.00015.
13. Fischer J., Ravizza M. 1998. Responsibility and Control: A Theory of Moral Responsibility. – *Cambridge University Press*. 277 p. DOI:10.1017/CBO9780511814594.
14. Heyns C. Report of the Special Rapporteur on Extra-Judicial, Summary or Arbitrary Executions. – *Geneva: United Nations*, 1 Apr. 2014. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/771922?ln=ru> (дата обращения: 30.12.2023).
15. Melnikova E., Surov I. 2023. Legal Status of Artificial Intelligence from Quantum-Theoretic Perspective. – *BRICS Law Journal*. Vol. X. Issue 4. P. 5-34.
16. Matthias A. 2004. The responsibility gap: Ascribing responsibility for the actions of learning automata. – *Ethics and Information Technology*. Vol. 6(3). P. 175-183. DOI: 10.1007/s10676-004-3422-1.
17. Meloni C. State and individual responsibility for targeted killings by drones. – *Drones and Responsibility: Legal, Philosophical and Socio-Technical Perspectives on Remotely Controlled Weapons*. E. Di Nucci & De Sio F.S. (Eds.). Routledge. 2016. URL: https://www.academia.edu/77047662/State_and_individual_responsibility_for_targeted_killings_by_drones (дата обращения: 30.12.2023).
18. Michon J. A. 1985. A critical view of driver behavior models: what do we know, what should we do? – *Human behavior and traffic safety*. Ed. by Evans L., Schwing R.C. General Motors Research Laboratories. New York: Plenum Press. P. 485-524.
19. Pesch U. 2015. Engineers and Active Responsibility. – *Science and Engineering Ethics*. Vol. 21(4). P. 925-939. DOI: 10.1007/s11948-014-9571-7.
20. Robbins S. 2023. The many meanings of meaningful human control. – *AI Ethics*. DOI:10.1007/s43681-023-00320-6.
21. Sparrow R. 2007. Killer robots. – *Journal of Applied Philosophy*. Vol. 24(1). P. 62-77. DOI: 10.1111/j.1468-5930.00346.x.
22. Van de Poel I., Sand M. 2018. Varieties of responsibility: two problems of responsible innovation. – *Synthese*. DOI:10.1007/s11229-018-01951-7.

References

1. Amoroso D., Tamburrini G. 2020. Autonomous Weapons Systems and Meaningful Human Control: Ethical and Legal Issues. – *Current Robotics Reports*. Vol. 1. P. 187-194. DOI: 10.1007/s43154-020-00024-3.
2. Bovens M., Miceli M.P. 1998. The quest for responsibility: Accountability and citizenship in complex organisations. – *Cambridge University Press*. DOI: 10.2307/2667065. URL: https://www.researchgate.net/publication/275840305_The_Quest_for_Responsibility_Accountability_and_Citizenship_in_Complex_Organisations (accessed date: 02.12.2023).
3. Burri T. 2017. International Law and Artificial Intelligence. – *German Yearbook of International Law*. Vol. 60. P. 91-108.
4. Cavalcante S.L., Lupetti M.L., Aizenberg E. 2023. Meaningful human control: actionable properties for AI system development. – *AI Ethics*. Vol. 3. P. 241-255. DOI: 10.1007/s43681-022-00167-3.
5. Čerka P., Grigienė J., Širbikytė G. 2015. Liability for damages caused by artificial intelligence. – *Computer Law & Security Review*. Vol. 31. Issue 3. P. 376-389.
6. Chernilovsky Z.M. Презумпции и фикции в истории права [Presumptions and fictions in the history of law]. – *Sovetskoe*

- gosudarstvo i pravo [The Soviet State and law]. 1984. № 1. SPS Consultant Plus. (In Russ.).*
7. Collingridge D. 1980. *The Social Control of Technology*. London: Frances Pinter. 200 p.
 8. Danaher J. 2016. Robots, law and the retribution gap. – *Ethics and Information Technology*. Vol. 18. P.299-309. DOI: 10.1007/s10676-016-9403-3.
 9. De Sio S.F., Mecacci G. 2021. Four Responsibility Gaps with Artificial Intelligence: Why they Matter and How to Address them. – *Philos and Technol*. Vol. 34. P. 1057-1084. DOI: 10.1007/s13347-021-00450-x. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s13347-021-00450-x> (accessed date: 02.10.2023).
 10. De Sio F.S., van den Hoven J. 2018. Meaningful Human Control over Autonomous Systems: A Philosophical Account. – *Front. Robot. AI* 5:15. 28 Feb. DOI: 10.3389/frobt.2018.00015.
 11. Fischer J., and Ravizza M. 1998. Responsibility and Control: A Theory of Moral Responsibility. – *Cambridge University Press*. 277 p. DOI:10.1017/CBO9780511814594.
 12. *Grazhdanskoe parvo. Uchebnik. V 2-h t. T. 1 [Civil law. Textbook. In 2 vol. Vol. 1].* Pod red. E.A. Suhanova. 2-e izd. Moscow: BEK. 2000. 704 p. (In Russ.).
 13. Matthias A. 2004. The responsibility gap: Ascribing responsibility for the actions of learning automata. – *Ethics and Information Technology*. Vol. 6(3). P. 175-183. DOI: 10.1007/s10676-004-3422-1.
 14. Melnikova E., Surov I. 2023. Legal Status of Artificial Intelligence from Quantum-Theoretic Perspective. – *BRICS Law Journal*. Vol. X. Issue 4. P. 5-34.
 15. Melnikova E.N. 2024. Perspektivy sblizheniya zakonodatel'stva stran EAES v chasti pravovogo regulirovaniya iskusstvennogo intellekta [Prospects for the convergence of the legislation of the EAEU countries in terms of the legal regulation of artificial intelligence]. – *Evrazijskaja integracija: jekonomika, pravo, politika [Eurasian integration: economics, law, politics]*. Vol. 18. No. 2(48). P. 95-103. (In Russ.)
 16. Meloni C. State and individual responsibility for targeted killings by drones. – *Drones and Responsibility: Legal, Philosophical and Socio-Technical Perspectives on Remotely Controlled Weapon*. E. Di Nucci & De Sio F.S. (Eds.). Routledge. 2016. URL: https://www.academia.edu/77047662/State_and_individual_responsibility_for_targeted_killings_by_drones (дата обращения: 30.12.2023).
 17. Michon J. A. 1985. A critical view of driver behavior models: what do we know, what should we do? – *Human behavior and traffic safety*. Ed. by Evans L., Schwing R.C. General Motors Research Laboratories. New York: Plenum Press. P. 485-524.
 18. Heyns C. Report of the Special Rapporteur on Extra-Judicial, Summary or Arbitrary Executions. – *Geneva: United Nations*, 1 Apr. 2014. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/771922?ln=ru> (дата обращения: 30.12.2023).
 19. Pesch U. 2015. Engineers and Active Responsibility. – *Science and Engineering Ethics*. Vol. 21(4). P. 925-939. DOI: 10.1007/s11948-014-9571-7.
 20. Robbins S. 2023. The many meanings of meaningful human control. – *AI Ethics*. DOI.10.1007/s43681-023-00320-6.
 21. Sparrow R. 2007. Killer robots. – *Journal of Applied Philosophy*. Vol. 24(1). P. 62-77. DOI: 10.1111/j.1468-5930.00346.x.
 22. Van de Poel I., Sand M. 2018. Varieties of responsibility: two problems of responsible innovation. – *Synthese*. DOI:10.1007/s11229-018-01951-7.

Информация об авторе

Елена Николаевна МЕЛЬНИКОВА,

соискатель ученой степени кандидата юридических наук, Санкт-Петербургский государственный университет

Университетская наб., д. 7–9, Санкт-Петербург, 199034, Российская Федерация

melnikova_elena5@mail.ru
ORCID: 0000-0001-7263-5281

About the Author

Elena N. MELNIKOVA,

Post-Graduate student, Saint Petersburg University

7–9, Universitetskaya Emb., Saint Petersburg, Russia, 199034

melnikova_elena5@mail.ru
ORCID: 0000-0001-7263-5281



DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-146-161>

Исследовательская статья

УДК: 341.3

Поступила в редакцию: 05.09.2024

Принята к публикации: 19.11.2024

Юлия Владимировна ПУЗЫРЕВА

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

Академика Волгина ул., д. 12, Москва, 117997, Российская Федерация

yuliya_dugina@mail.ru

ORCID: 0000-0003-4448-2200

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ВВЕДЕНИЕ. В современном мире ввиду нарастающих тенденций по милитаризации информационного пространства военные действия в данной сфере становятся реальностью и перспективой по ряду оперативных, тактических и иных преимуществ в сравнении с военными действиями в традиционных формах в пределах классических театров войны. Информационное военное противоборство будет осуществляться посредством использования нового вида оружия – информационного, которое не вписывается в устоявшуюся парадигму подходов к традиционному оружию, что, безусловно, порождает много вопросов и противоречивых экспертных мнений, однако остро нуждается в дальнейшей разработке и комплексном исследовании.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Учитывая многокомпонентность изучаемой темы, проведенное исследование базируется на результатах анализа научных трудов российских и зарубежных правоведов по международному гуманитарному праву (далее – МГП), экспертов в области военного дела, специалистов в сфере информационных технологий. Автор также исследует ключевые международные договоры по МГП, по тематике международной информационной безопасности (далее – МИБ), которые в своей

совокупности формируют основы международно-правовой квалификации информационного оружия как средства ведения войны в условиях постепенной адаптации норм МГП к ситуациям враждебного использования информационного пространства. При проведении исследования были использованы аналитические и обзорные материалы Международного Комитета Красного Креста (далее – МККК) по проблематике киберопераций во время вооруженного конфликта. Методологическую основу составляют общенаучные и специальные методы исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проанализированы две концепции, отражающие подходы к МИБ и угрозам в данной сфере через призму «кибер» тематики и информационного аспекта, в рамках каждой из которых формируется специфическая терминология, включая подходы к определению методов и средств ведения военных действий. Основой отечественной доктрины является информационная повестка безопасности, что определило разработку дефиниции «информационного оружия» и изучение его статуса как перспективного средства ведения войны в информационном пространстве. Представляется значимым выявление и обобщение доктринальных тенденций по квалификации информационного оружия как обычного оружия

или оружия массового уничтожения, а также установление новых подходов по регулированию разработки и использования информационного оружия в вооруженных конфликтах.

ОБСУЖДЕНИЯ И ВЫВОДЫ. В статье представлены авторские объективные оценки сложившихся доктринальных подходов как отечественных, так и зарубежных ученых по вопросу международно-правовой квалификации методов и средств ведения войны в информационном пространстве в целом и информационного оружия как средства ведения войны, в частности. Отдельно рассмотрены международные договоры по МГП и МИБ в части возможности применения их положений для регулирования ограничения поведения воюющих сторон в информационном противоборстве с учетом определенной адаптации норм МГП к условиям враждебного использования информационных технологий. Выявлены перспективы дальнейше-

го развития доктрины МГП по регулированию разработки и использования информационного оружия в вооруженных конфликтах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационное пространство, война в информационном пространстве; международное гуманитарное право; методы и средства ведения войны; информационное оружие; концепция «неявного оружия»; обычное оружие; новые виды оружия

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Пузырева Ю.В. 2024. Международно-правовая квалификация методов и средств ведения войны в информационном пространстве. – *Московский журнал международного права*. № 4. С. 146–161. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-146-161>

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

THEATER OF WAR AND INTERNATIONAL LAW

DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-146-161>

Yuliya V. PUZYREVA

Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
12, Akademika Volgina St., Moscow, Russian Federation, 117997
yuliya_dugina@mail.ru
ORCID: 0000-0003-4448-2200

Research article

UDC: 341.3

Received: 5 September 2024

Approved: 19 November 2024

INTERNATIONAL LEGAL CHARACTERIZATION OF METHODS AND MEANS OF WARFARE IN THE INFORMATION SPACE

INTRODUCTION. In the world, due to the growing trends in the militarization of the information space, military actions in this area are becoming a reality and a prospect for a number of operational, tactical and other advantages in comparison with military ac-

tions in traditional forms within the classical theaters of war. Information military confrontation will be carried out through the use of a new type of weapon – information, which does not fit into the established paradigm of approaches to traditional weapons, which, of

course, gives rise to many questions and contradictory expert opinions, but is in dire need of further development and comprehensive research.

MATERIALS AND METHODS. Given the complexity and multi-component nature of the topic under study, the study is based on the results of the analysis of scientific works by Russian and foreign legal scholars on international humanitarian law (IHL), experts in the field of military affairs, and specialists in the field of information technology. The author also examines key international treaties on IHL, on the topic of international information security (IIS), which together form the basis for the international legal qualification of information weapons as a means of waging war in the context of the gradual adaptation of IHL norms to situations of hostile use of information space. In conducting the study, analytical and review materials of the ICRC on the issue of cyber operations during an armed conflict were used. The methodological basis is made up of general scientific and special research methods.

RESEARCH RESULTS. The results of the conducted study established two formed concepts reflecting approaches to IIS and threats in this area through the prism of cybertopics and information aspect, within the framework of each of which specific terminology is formed, including approaches to defining methods and means of conducting military operations. It was determined that the domestic doctrine is built around the information agenda of security, which determined the development of the definition of “information weapons” and the study of its status as a promising means of waging war in the information space. It seems significant to identify and generalize doctrinal trends in the qualification of information weapons as

weapons of mass destruction or conventional weapons, as well as to establish new approaches to regulating the development and use of information weapons in armed conflicts.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS. The article presents the author’s objective assessments of the existing doctrinal approaches of both domestic and foreign scientists on the issue of international legal qualification of methods and means of waging war in the information space in general and information weapons as a means of waging war in particular. Separately, international treaties on IHL and IIS are considered in terms of the possibility of applying their provisions to regulate the restriction of the behavior of warring parties in information warfare, taking into account a certain adaptation of IHL norms to the conditions of hostile use of information technologies. Prospects for further development of the IHL doctrine on regulating the development and use of information weapons in armed conflicts are identified.

KEYWORDS: information space, war in the information space; international humanitarian law; methods and means of warfare; information weapons; the concept of “invisible weapons”; conventional weapons; new types of weapons

FOR CITATION: Puzyreva Yu.V. International legal characterization of methods and means of warfare in the information space. – *Moscow Journal of International Law*. 2024. No. 4. P. 146–161. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-146-161>

The author declares the absence of conflict of interest.

Введение

В современном мире действующие принципы и нормы международного права находятся в состоянии постоянной адаптации к изменяющимся условиям, в которых происходит развитие межгосударственных отношений, включая стремительные процессы «интернетизации» государств под воздействием

научно-технического прогресса¹. Происходящие тенденции побуждают государства обсуждать на различных международных площадках вопросы использования информационного пространства и информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в контексте мирного функционирования, во благо развития цивилизации и построения глобального информационного общества [Капустин 2017:51]. Однако необходимо отметить и тревожные опасения, связанные

¹ Касенова М.Б. *Правовое регулирование трансграничного функционирования и использования Интернета*: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 3.

с использованием информационного пространства в противоправных целях как отдельными лицами, так и государствами.

Для формирования правовых универсальных основ противодействия таким угрозам под эгидой Организации Объединенных Наций (далее – ООН) на протяжении длительного времени формировались два направления переговорного процесса по вопросам укрепления международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных систем, а также по вопросам проблематики МИБ и обеспечения ответственного поведения государств в информационном пространстве. Первый вектор многолетнего сотрудничества (инициированный Российской Федерацией в 1998 г.) завершился принятием в 2024 г. под эгидой *Специального межправительственного комитета ООН открытого состава по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях*² универсального международно-

правового акта по борьбе с информационной преступностью, проект которого был представлен Генеральной Ассамблее ООН для обсуждения в ходе ее 78-й сессии в 2024 г.³ В свою очередь проблематика МИБ на современном этапе успешно обсуждается на полях (также созданной по инициативе Российской Федерации) *Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ*⁴, в рамках которой разрабатываются институциональные механизмы сотрудничества государств в данной области, концепция будущей конвенции ООН об обеспечении МИБ⁵ ввиду угроз использования новой информационной сферы построения отношений в военно-политических целях. Так, в концепции Конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности⁶ одной из существенных угроз МИБ обозначено использование государствами ИКТ в военно-политической и иных сферах в целях подрыва (ущемления) суверенитета, нарушения территориальной целостности, общественной и экономической стабильности суверенных

² Идея разработать конвенцию о борьбе с использованием информационных технологий в преступных целях получила одобрение в ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Инициатором соответствующей резолюции выступила Россия. В принятой тогда резолюции «Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях» было предложено учредить специальный межправительственный комитет для разработки международной конвенции. См. подробнее: ООН. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 74/29 «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности». Дос. ООН A/RES/74/29. – *Официальный сайт ООН*. URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/410/10/PDF/N1941010.pdf?OpenElement> (дата обращения: 12.09.2024).

³ Проект конвенции ООН против киберпреступности. Укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных систем, и в обмене доказательствами в электронной форме, относящимися к серьезным преступлениям. Специальный комитет по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Возобновленная заключительная сессия. Нью-Йорк, 29 июля – 9 августа 2024 г. – *Официальный сайт ООН*. URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/v24/055/08/pdf/v2405508.pdf> (дата обращения: 12.09.2024).

⁴ В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №75/240 от 31 декабря 2020 г., а также с учетом итогов Рабочей группы ООН открытого состава (далее – РГОС) по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности в 2021 г. была создана новая РГОС по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021–2025 гг. Запущенная по инициативе России РГОС является единственным открытым и всеохватным переговорным механизмом по проблематике МИБ под эгидой ООН, который позволит в долгосрочной перспективе вести системные и тематические специализированные переговоры по всему спектру вопросов обеспечения МИБ. См. подробнее: [Пузырева, Нефедов, Эриашвили 2024].

⁵ В 2023 г. Россия представила обновленную версию концепции Конвенции ООН по международной информационной безопасности, которая призвана заложить прочную правовую основу мирного развития глобальной ИКТ-среды. См. подробнее: Об итогах шестой сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросу международной информационной безопасности. – *Национальная ассоциация международной информационной безопасности (НАМИБ)*. URL: <https://namib.online/2023/12/ob-itogah-shestoj-sessii-rabochej-gruppy-otkrytogo-sostava-oon-po-mezhdunarodnoj-informacionnoj-bezopasnosti/> (дата обращения: 12.09.2024).

⁶ Обновленная концепция Конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности, предложенная Российской Федерацией (соавторы: Республика Беларусь, Боливарианская Республика Венесуэла, Корейская Народно-Демократическая Республика, Республика Никарагуа, Сирийская Арабская Республика). – *Национальная ассоциация международной информационной безопасности (НАМИБ)*. URL: <https://namib.online/wp-content/uploads/2023/07/Обновленная-Концепция-Конвенции-ООН-о-МИБ-русс.pdf> (дата обращения: 12.09.2024).

государств, вмешательства в их внутренние дела, а также осуществления в глобальном информационном пространстве иных действий, препятствующих поддержанию международного мира и безопасности, проведение компьютерных атак на информационные ресурсы государств, в том числе на критическую информационную инфраструктуру.

Такие угрозы вполне обоснованны, поскольку не все государства стремятся к выработке унифицированных подходов по регулированию мирного использования ИКТ и информационного пространства в целом. Так, информационное пространство многими государствами⁷ рассматривается как потенциальный *театр военных действий*, под которым необходимо понимать пространственные пределы, в которых воюющие государства могут вести военные действия в ходе вооруженного конфликта.

Современное информационное военное противоборство будет осуществляться посредством использования нового вида оружия – информационного, которое не вписывается в устоявшуюся парадигму подходов к традиционному или конвенционному оружию, что, безусловно, порождает много вопросов и противоречивых экспертных мнений, однако остро нуждается в разработке и исследовании.

В связи с этим возникает вопрос о применимости термина «средства и методы ведения войны» к столкновениям государств в информационном пространстве в рамках вооруженного конфликта. Кроме того, вызывает научный и практический интерес возможность толкования и применения принципа МГП об ограничении воюющих в выборе методов и средств ведения войны к таким информационным ресурсам и возникающим отношениям.

Прежде чем представить анализ указанных вопросов, необходимо подчеркнуть, что несмотря на повышенное внимание государств, международных правительственных и неправительственных организаций к киберпроблематике, уже более 30 лет ни на международно-правовом уровне, ни на уровне отечественной и зарубежной доктрины не удается выработать универсальные подходы к определению ключевых терминов в кибертехнологической области военных действий, как и в целом в сфере МИБ.

В общей сложности все имеющиеся концепции возможно разделить на две группы: с характеристикой «кибер» и с характеристикой «информационные». Представители «кибер» подхода акцентируют свое внимание на технических компонентах безопасности и существующих угрозах в данной сфере [Verhelst, Filling 2020:141-172; Sharp 1999; Rattray 2001]⁸. Этот подход принято считать западным. Наиболее точно его суть раскрыта в Таллинском руководстве по международному праву, применимому к кибероперациям (далее – Таллинское руководство), в котором ведется речь о киберпространстве, кибернападениях и кибероружии [Tallinn Manual ... 2017].

Параллельная концепция, характеризующая международную безопасность через «информационную призму», подразумевает под собой комплексный учет не только технических, но и политико-идеологических, психологических аспектов⁹. Российская Федерация при поддержке своих партнеров на важных международных площадках отстаивает широкий подход ко всем дефинициям в сфере МИБ¹⁰, закрепляя свои позиции в региональных договорах по МИБ, принятых под эгидой международных региональных организаций, участницей которых

⁷ Согласно Стратегии национальной безопасности США 2022 г., киберпространство рассматривается как новая сфера вооруженной борьбы – область боевых действий наравне с воздухом, сушей, морем и космосом. В соответствии с положениями «Белой книги по вопросам национальной безопасности и обороны» Франции 2013 г., киберпространство также признается сферой вооруженного противоборства наряду с земной поверхностью, воздушной средой, мировым океаном и космосом. Согласно оборонной стратегии Китая 2019 г., киберпространство является ключевой областью национальной безопасности, а также экономического и социального развития. В связи с этим китайские военные разработали методы и средства защиты кибербезопасности страны и создали силы обороны киберпространства, соизмеримые с международным статусом Китая и совместимые со статусом кибердержавы. Начиная с 2002 г. НАТО, активным образом развивает свои возможности по применению ИКТ в военных целях и вырабатывает правовые условия использования таких технологий и информационного пространства в будущих вооруженных конфликтах. См. подробнее: [Конохов 2023:218-222].

⁸ ISO/IEC 27032:2023/ Cybersecurity – Guidelines for Internet security. – International Organization for Standardization-https://www.iso.org/standard/76070.html (accessed date: 19.10.2024).

⁹ Международная информационная безопасность: подходы России. М.: МГИМО Университет, 2021. 32 с.

¹⁰ Применение норм ответственного поведения государств в ИКТ-среде и международное сотрудничество (реферат по результатам исследования). М.: НАМИБ, 2022. 19 с.

является Российская Федерация¹¹, а также в двусторонних международных договорах Российской Федерации с зарубежными государствами в области обеспечения МИБ¹². Именно в рамках данной концепции будет проведено исследование в статье, включая подход к используемой терминологии.

Средства или методы ведения войны в информационном пространстве?

По справедливому замечанию профессора И.И. Котлярова, в источниках и современной доктрине МГП не дается единого определения понятия «средства ведения войны» и «метода ведения войны», зачастую не проводится различие между методами и средствами уничтожения противника, что затрудняет квалификацию боевых действий воюющих сторон в случае противоправного применения ими сил и средств [Котляров 2011:31]. Вместе с тем анализ доктрины МГП позволяет выявить общие подходы ученых в части трактовки данных понятий. Так по мнению И.И. Котлярова, к средствам ведения войны необходимо относить оружие и боевую технику, применяемые вооруженными силами противоборствующих сторон для уничтожения живой силы, военных объектов и иных материальных средств противника, подавления его сопротивления [Котляров 2011:31]. Г.М. Мелков к средствам ведения войны также традиционно относит оружие, боевую технику и иные средства, применяемые для нанесения вреда и поражения противнику, которые многократно усиливают страдания людей, причиняют излишние повреждения и де лают смерть неизбежной [Мелков 1988:29-31]. Таким образом, *средством ведения войны* является определенный вид вооружения, компоненты его технического обеспечения и иная боевая техника.

Подходы к понятию «методы ведения войны» нашли отражение в трудах профессора М.И. Догеля, который отождествлял их со способами ведения войны и подразумевал «все те

действия, все те средства, при помощи которых комбатанты одной из воюющих сторон стараются уничтожить силы сопротивления другой; такими средствами ослабить сопротивление врага являются физическая сила, насильственные действия, хитрость и обман» [Догель 1894:256].

Несмотря на разнообразие доктринальных подходов, И.И. Котляров отмечает объективную необходимость в понимании под *методами войны* определенных способов использования сил и средств ведения войны [Котляров 2009:46].

Что касается информационного оружия и в целом средств и методов ведения войны в информационном пространстве, то в данном вопросе необходимо отметить сложные и разноплановые взгляды среди отечественных и зарубежных ученых. Так, в настоящее время сформировано мнение, что нападения государств в информационном пространстве будет осуществляться при помощи информационного оружия, за которым необходимо признать статус нового вида оружия, а значит, и возможность квалификации его как средства ведения военных действий [Международное гуманитарное право... 2020:5]. При этом, как отмечают исследователи – сторонники киберконцепции, термин «кибероружие» является узким, поэтому его целесообразно заменить на категорию «киберсредства» [Гаркуша-Божко 2021:64-82]. Ряд ученых отстаивает более широкий и смешанный подход, определяя «информационные операции, проводимые с помощью информационного оружия», как новый метод ведения войны или как новый вид оружия [Шинкарецкая 2013:121]. Отдельные юристы-международники применяют общую трактовку, вводя в научный оборот категорию «методы и средства ведения войны в информационном пространстве» с предложением по дальнейшему включению указанной терминологии в международно-правовые документы [Конохов 2023:218]. Таким образом, в отдельных авторских концепциях отсутствует прямая характеристика информационного оружия как метода или средства ведения войны, хотя в МГП под данными

¹¹ Например, Соглашение между правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности 2009 г., Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения информационной безопасности 2013 г., Соглашение о сотрудничестве государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в области обеспечения информационной безопасности 2017 г.

¹² В настоящее время заключено более тридцати таких соглашений от имени Правительства Российской Федерации с Правительствами иностранных государств. Двусторонние договоры размещены на сайте МИД России.

терминами понимаются разнопорядковые категории, а также прослеживается непреобладающая тенденция использования термина «кибероперации» с выходом на их квалификацию как методов ведения войны.

Как в отечественной [Талимончик 2016]¹³, так и в зарубежной доктрине [Franklin 2018; Pool 2013] наиболее распространенным и устойчивым термином является «информационное оружие» («кибероружие»). Кроме того, данное понятие нашло отражение в некоторых международных договорах и концептуальных решениях государств. Так, в Соглашении между Правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 2009 г. содержится закрепленная дефиниция: «*информационное оружие*» – информационные технологии, средства и методы, применяемые в целях ведения информационной войны. Под эгидой СНГ в 2013 г. также было принято Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности, содержащее практически аналогичные положения по проблематике использования информационных технологий и достижений в военных целях.

Согласно Таллинскому руководству термин «оружие» применим к кибертехнологиям; их можно рассматривать таковыми в рамках концепции нового вида оружия и относить к нему следует «кибернетические средства ведения войны, которые по своей конструкции, использованию или предполагаемому использованию способны привести к травмам или гибели людей; или повреждению или уничтожению объектов, т. е. привести к последствиям, необходимым для

квалификации кибероперации как нападения»¹⁴ [Tallinn Manual ... 2017:218].

В Основах военной политики Союзного государства в области международной информационной безопасности 2021 г. также закреплена дефиниция «информационное оружие» как ИКТ, предназначенных для воздействия на информационные объекты противника, при котором объект полностью или частично (временно) теряет способность к нормальному функционированию (выполнению боевой задачи) (п. 4)¹⁵. Более того, Российская Федерация и Республика Беларусь заложили в рамках Основ военной политики 2021 г. перспективные задачи по регулированию «международного режима нераспространения информационного оружия».

Признавая доктринальный и правовой подход к квалификации информационного оружия как средства ведения войны, необходимо определить практические сложности в его реализации. Как отмечает А.А. Стрельцов, информационные технологии или ИКТ не обладают признаками оружия в его традиционном понимании¹⁶. Он соглашается с перспективной регламентацией статуса информационного оружия как средства ведения военных действий только после полной адаптации МГП к ситуациям военного противоборства в информационном пространстве¹⁷. В качестве практического примера такой адаптации для разрешения вопроса по статусу информационного оружия как средства ведения войны предлагается концепция «*неявного оружия*», согласно которой тот или иной механизм, устройство, средство может приобретать свойства оружия, когда используется для нанесения поражения живой силе и военной техники неприятеля¹⁸. Таким образом, автор допускает

¹³ Стрельцов А.А. О проблемах адаптации международного права к информационным конфликтам. – *Информационно-аналитический портал Digital.Report*. URL: <https://digital.report/problemyi-adaptatsii-mezhdunarodnogo-prava-k-informatsionnyim-konfliktam/> (дата обращения: 14.10.2024).

¹⁴ Цит. по: Карасев П. США наращивают киберсилы. – *Российский совет по международным делам*. URL: <https://rusiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/ssha-narashchivayut-kibersily/> (дата обращения: 14.10.2024).

¹⁵ Основы военной политики Союзного государства в области международной информационной безопасности, утверждены министрами обороны Российской Федерации и Республики Беларусь в октябре 2021 г. – *Министерство обороны Российской Федерации*. URL: https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=12422292@egNPA (дата обращения: 14.10.2024).

¹⁶ Стрельцов А.А. О развитии международного права кибер-конфликтов. – *Информационно-аналитический портал Digital.Report*. URL: <https://digital.report/pravo-cyber-konfliktov/> (дата обращения: 14.10.2024).

¹⁷ Стрельцов А.А. О проблемах адаптации международного права к информационным конфликтам. – *Информационно-аналитический портал Digital.Report*. URL: <https://digital.report/problemyi-adaptatsii-mezhdunarodnogo-prava-k-informatsionnyim-konfliktam/> (дата обращения: 14.10.2024).

¹⁸ Данная концепция базируется на прецеденте, созданном резолюциями Совета Безопасности ООН по результатам обсуждения трагических событий, произошедших в США 11 сентября 2001 г., когда в качестве «неявного оружия» признавался летательный аппарат.

в перспективе квалификацию статуса информационного оружия как средства ведения военных действий с учетом формирования новых позиций государств в части расширения перечня запрещенных видов оружия и способов его использования при неправомерном силовом использовании информационных средств против территориальной целостности или политической независимости какого-либо государства [Стрельцов 2014:75-78].

Квалификация информационного оружия как обычного оружия или оружия массового уничтожения

Необходимо отметить, что появление в современном мире информационного оружия отражает тенденцию, в рамках которой государства десятилетиями и веками находятся в поиске наиболее передовых средств и технологий ведения вооруженной борьбы. Однако при этом такие военные новации всегда подлежали оценке не только с точки зрения эффективности военной стратегии, но и уровня угроз от их применения, наличия чрезмерных разрушительных, непоправимых, губительных или негуманных последствий от его использования. Достаточно вспомнить эволюцию ключевых международных договоров по ограничению воюющих в выборе средств ведения войны, принятие которых следовало за появлением и апробацией разрабатываемых государствами видов вооружений.

Международные договоры, посвященные средствам ведения войны, возможно условно разделить на соглашения, запрещающие использование отдельных видов оружия,

характеризуемых как *оружие массового уничтожения*¹⁹, и соглашения по ограничению применения *обычного вооружения*, которое может наносить чрезмерные повреждения или действие которых носит неизбирательный характер²⁰. В данном контексте следует отметить дискуссионность точки зрения, что все остальные виды вооружения, не подпадающие под нормативное регулирование данных актов, считаются разрешенным к использованию на поле боя²¹. Так, еще в рамках Гаагских конференций мира государства-разработчики международных договоров о правилах ведения войны осознавали, что на нормативном уровне невозможно в полной мере разрешить все вопросы обеспечения защиты как вооруженных сил воюющих сторон, так и гражданского населения. Именно тогда была сформулирована знаменитая оговорка Мартенса, разработанная и предложенная Ф.Ф. Мартенсом в ходе переговоров в качестве спонтанного компромисса, которая и сегодня по-прежнему считается важным положением МГП, позволяющим восполнить пробелы правового регулирования ведения военных действий и отсылающим к признанным народами обычаям, принципу гуманности и требованиям общественного сознания²².

Кроме того, в современном МГП выработаны нормы, учитывающие развитие научно-технического прогресса в части разработки современных методов и средств ведения войны, а также закрепляющие критерии для оценки правомерности их применения. В частности, речь идет о ст. 36 Дополнительного протокола I 1977 г. (далее – ДП I 1977 г.) «Новые виды оружия», согласно которой «при изучении, разработке, приобретении или принятии на вооружение новых

¹⁹ В первую очередь речь идет о таких договорах, как: Конвенция о запрещении запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г., Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 г., Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г., Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г., Договор о запрещении ядерного оружия 2017 г.

²⁰ В частности, речь идет о Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 1980 г. и Протоколах к ней, регламентирующих статус наземных мин, мин-ловушек, зажигательных устройств, ослепляющего лазерного оружия и взрывоопасных пережитков войны.

²¹ Так, профессор Л.Ф.Л. Оппенгейм, отмечал, что за исключением средств, применение которых специально запрещено договорами или обычаями, все другие средства лишения жизни или ранения комбатантов, которые существуют в настоящее время или могут быть изобретены в будущем, являются законными. См.: [Оппенгейм 1949:346].

²² «Оговорка Мартенса» представляет собой следующее положение: «В случаях, не предусмотренных принятыми ими постановлениями, население и воюющие остаются под охраной и действием начал международного права, поскольку они вытекают из установившихся между образованными народами обычаев, из законов человечности и требований общественного сознания» [Ivanenko 2022:1708-1724].

видов оружия, средств или методов ведения войны Высокая Договаривающаяся Сторона должна определить, подпадает ли их применение, при некоторых или при всех обстоятельствах, под запрещения, содержащиеся в настоящем Протоколе или в каких-либо других нормах международного права, применяемых к Высокой Договаривающейся Стороне»²³.

Таким образом, любые создаваемые в современном мире новейшие военные технологии и виды вооружения, априори находятся в рамках международно-правового регулирования. Бесспорно, данный тезис имеет отношение и к разрабатываемому более чем ста двадцатью государствами информационному оружию²⁴.

Рассмотрим доктрину международного права и перспективы развития международно-правовых основ по квалификации информационного оружия как обычного оружия или оружия массового уничтожения.

Информационное оружие как оружие массового уничтожения

К настоящему времени в международном праве не выработано универсального понятия «оружия массового уничтожения» (далее – ОМУ), что связано с рядом военно-политических причин [Синякин 2012:13]. Однако на уровне доктрины международного права удалось сформировать критерии, с помощью которых оружие может быть идентифицировано в качестве ОМУ (целевой критерий, критерий разрушительности, неизбирательности, массовости, поражающие свойства новых видов и систем ОМУ и др.) [Синякин 2012:13; Котляров 2011: 41].

По мнению И.И. Котлярова, ОМУ включает виды оружия, способные при ограниченном привлечении сил и средств вызвать массовые потери и разрушения вплоть до необратимых изменений свойств окружающей среды [Котляров 2011:41]. Традиционно в качестве ОМУ принято рассматривать ядерное, химическое, биологическое оружие, а также средства воздействия на природную среду в военных или иных враждебных целях²⁵. В отношении существующих и признанных видов ОМУ сформированы международно-правовые режимы нераспространения, запрета разработки, производства и накопления, применения²⁶.

Ученые допускают появление и других видов ОМУ, основанных на иных принципах действия, нежели традиционные виды, как, например, оружие, основанное на новых физических принципах, а также оружие на основе нанотехнологии²⁷. Кроме того, к новым видам ОМУ, чей статус пока не нашел международно-правовой регламентации, относят лучевое и радиологическое оружие, обычные бомбы с урановыми сердечниками и др. [Сазонова 2018:62].

В продолжение дискуссии о новых видах ОМУ следует отметить научный подход, сформированный в западной доктрине международного права, о возможности классификации по крайней мере некоторых разновидностей информационного оружия²⁸ как ОМУ, в частности, тех его видов, которые направлены на крупномасштабное (физическое) уничтожение любой инфраструктуры, например, путем воздействия на критическую инфраструктуру государств [Hatch 2018; Kumar 2013; Kudláčková 2020; Lee

²³ Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 г. (Протокол I). – *НПП Гарант*. URL: <https://base.garant.ru/2540377/> (дата обращения: 12.10.2024).

²⁴ Генштаб сообщил, что более 120 стран разрабатывают информационное оружие. – *Сетевое издание РИА новости*. URL: <https://ria.ru/20240207/oruzhie-1925887168.html> (дата обращения: 12.10.2024 г.).

²⁵ В состав ОМУ также входит оборудование, средства доставки, боеприпасы и устройства, специально предназначенные для приведения в действие ОМУ или являющиеся их неотъемлемой частью.

²⁶ См.: Конвенция о запрещении запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г.; Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 г.; Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г.; Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г.; Договор о запрещении ядерного оружия 2017 г.

²⁷ Оружие на новых физических принципах. – *Военная энциклопедия*. С.Б. Иванов. М.: Военное издательство, 2002. Т. 6. С. 158.

²⁸ Вопросу классификаций, видов и типов информационного оружия посвящено значительное количество работ специалистов в области военного дела. См., напр.: [Макаренко 2016; Шеховцов, Кулешов 2012; Kumar 2013].

2024]. Имеются отдельные научные разработки, в которых проводится сравнительно-правовой анализ ядерного оружия и информационного оружия, результаты которого позволили автору признать их схожесть по ряду разрушающих критериев [Krepinevich 2012].

Среди серьезных опасностей, угроз и губительных последствий, связанных с применением информационного оружия, позволяющих ученым рассматривать его как ОМУ, определены следующие: непредсказуемость воздействия на системы и сети, которые не считаются целями; атака систем принимающей страны по принципу «эффекта бумеранга», включая гражданскую инфраструктуру, необходимую для выживания²⁹; непрогнозируемые и незащищенные возможности обратного проектирования исходного кода со стороны злоумышленников, включая террористические организации, что приведет к неконтролируемым процессам разработки и распространения новых киберугроз, которые будет трудно устранить; сложности с установлением источника прямого кибернападения, что позволяет использовать информационное оружие «под прикрытием»; латентность процесса разработки и этапа внедрения информационного оружия [Kumar 2013].

Однако отдельные ученые возражают против категорирования информационного оружия как ОМУ на том основании, что оно не может напрямую ранить или убивать людей, разрушать объекты так же, как традиционные виды оружия, явно не соответствует юридическим и техническим определениям ОМУ, поэтому статус информационного оружия как ОМУ серьезно преувеличен [Carr 2013: 34-37].

Вызывает ряд вопросов мнение экспертов Центра по изучению оружия массового поражения Национального университета обороны США, отмечающих, что в будущем потенциал кибероружия и масштабной кибератаки будет сравним с угрозами от применения ОМУ.

Однако на данный момент для Соединенных Штатов было бы неуместным и, возможно, невыгодным применять к кибероружию квалификацию как ОМУ, поскольку функционируют определенные международно-правовые режимы нераспространения и контроля за такими видами вооружений, а признание за кибероружием статуса ОМУ приведет к применению этих положений. В связи с этим эксперты отмечают, что пока США не пришли к однозначному выводу, хотя бы они инициировать разработку международного режима, ограничивающего военный потенциал киберпространства, или максимально использовать ресурсы своих кибервозможностей, в которых они являются признанным мировым лидером, нет никаких преимуществ в том, чтобы рассматривать кибероружие как ОМУ [The Future of Weapons ... 2014:7]. В случае перспективного признания за информационным оружием статуса ОМУ ученые предлагают выработать концепцию ответного ядерного удара в отношении источника кибератак [The Future of Weapons... 2014:42].

Параллельно с разработкой в зарубежной доктрине вопроса квалификации информационного оружия как ОМУ вырабатывается концепция признания за информационным оружием новой категории – *оружия массового разрушения (поражения)*, что следует считать новаторским [Arquilla 2021; Clarke, Knake 2011; Ядерное оружие 2013:57]³⁰. Общий концепт заключается в том, что в отличие от ОМУ такой тип оружия будет нацелен именно на одномоментные, стихийные и масштабные разрушения инфраструктуры государств.

Информационное оружие как обычное оружие

По справедливому замечанию И.И. Котлярова, в международном общем и гуманитарном праве не содержится определения «обычное оружие» [Котляров 2011:39]. В разных литературных источниках к нему относят традиционные

²⁹ В последнем (шестом) докладе о МГП и проблемах современных вооруженных конфликтов, подготовленном в 2024 г. МККК для Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца, с озабоченностью отмечена губительная тенденция использования во время вооруженных конфликтов государственными и негосударственными субъектами киберопераций для выведения из строя гражданской инфраструктуры и систем, особенно гражданских государственных служб, или для нарушения предоставления основных услуг. См. подробнее: Доклад МККК за 2024 г. о МГП и проблемах современных вооруженных конфликтов. – *Официальный сайт МККК*. URL: <https://www.icrc.org/en/report/2024-icrc-report-ihl-challenges> (дата обращения: 22.10.2024).

³⁰ Arquilla 2021; Clarke, Knake 2011; Ядерное оружие 2013:57.

виды оружия, боевое применение которых не приводит непосредственно к массовым потерям и разрушениям³¹.

Действующие положения международных договоров не запрещают государствам владеть и использовать обычные вооружения. Именно поэтому, когда речь идет об обычных вооружениях, термины «контроль над вооружениями» и «ограничение вооружений» чаще используются, чем «разоружение»³². Однако применение некоторых видов обычного оружия могут вызывать озабоченность либо из-за способа их использования, либо из-за их конструкции, что идет вразрез с принципами МГП.

В отечественной доктрине международного права первым комплексным исследованием проблем запрещения или ограничения применения обычного оружия явилась монография профессора И.П. Блищенко «Обычное оружие и международное право», в которой автор не только выявил, что применение обычного оружия большой разрушительной силы в широких масштабах может привести к массовым жертвам среди населения и огромным разрушениям, сравнимым с применением средств массового уничтожения, но и разработал международно-правовые критерии запрещения или ограничения применения отдельных видов обычного оружия [Блищенко 1984].

Современное МГП запрещает или ограничивает применение определенных видов обычных вооружений, чтобы защитить гражданское население от неизбежного действия и избавить комбатантов от излишних страданий. Одним из основных правовых актов в этой области является Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или

имеющими неизбежное действие 1980 г. (известная как Конвенция о «негуманном» оружии, далее – КНО), дополненная протоколами, регламентирующими запрет или ограничения на применение наземных мин, мин-ловушек, зажигательных устройств, ослепляющего лазерного оружия и взрывоопасных пережитков войны³³.

Учитывая, что информационное оружие не обладает юридически-признанным статусом ОМУ, допустимо рассмотрение подходов к его квалификации как к обычному оружию, положение которого вполне урегулировано выработанными международными обычными и договорными нормами.

Как справедливо отмечено в одном из рабочих документов МККК по итогам шестой обзорной конференции по КНО 2021 г., новое оружие, средства и методы ведения военных действий, основанные на военном применении новых научных и технических разработок, вполне подпадают под широкую сферу применения КНО 1980 г.³⁴ Так, в частности, элементы информационного оружия, его технические компоненты, характеристики и особенности, а также использование таких средств в ходе военных действий должны соответствовать закрепленным (в частности, в преамбуле КНО) принципам защиты гражданского населения от военных действий, нанесения чрезмерных повреждений (в том числе долговременного и серьезного ущерба природной среде), а также непричинения излишних страданий.

Кроме того, не теряют своей актуальности и значимости выработанные в МГП положения по оценке законности новых видов оружия, закрепленные в ст. 36 ДП I 1977 г. А в случаях, если то или иное государство не связано такими обязательствами, то, по мнению экспертов МККК, требование проводить правовую

³¹ Данное оружие широко используется в условиях конфликтов и охватывают широкий спектр боевой техники, включая боевые танки, боевые бронированные машины, крупнокалиберные артиллерийские системы, боевые самолеты и беспилотные боевые летательные аппараты, боевые вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетные пусковые установки, наземные мины, кассетные боеприпасы, стрелковое оружие, осветительное оружие и боеприпасы.

³² Разоружение. Глобальные вопросы повестки дня. – *Официальный сайт ООН*. URL: <https://www.un.org/ru/global-issues/disarmament> (дата обращения: 22.10.2024).

³³ Конвенция о «негуманном» оружии – *Официальный сайт МИД России*. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_safety/disarmament/obychnye_vooruzheniya/1413307/ (дата обращения: 27.10.2024).

³⁴ Мнения и рекомендации для шестой обзорной конференции по Конвенции о негуманном оружии Рабочий документ, представленный Международным Комитетом Красного Креста 8 ноября 2021 г. – *Официальный сайт МККК*. URL: https://www.icrc.org/sites/default/files/document_new/file_list/recommendations_ccw_revconf_rus.pdf (дата обращения: 27.10.2024).

экспертизу новых видов оружия также вытекает из обязательства соблюдать нормы МГП³⁵. В любом случае государства заинтересованы в оценке законности новых видов оружия, чтобы убедиться, что их вооруженные силы могут вести военные действия в соответствии с принятыми международными обязательствами [Дауст 2002:845-847].

Для повышения эффективности оценки, с точки зрения МГП, гуманитарных последствий разработки новых технологий с целями военного использования и дальнейшего применения на практике в настоящее время МККК занимается пересмотром и обновлением Руководства по проверке соответствия нормам права новых видов оружия, средств и методов ведения войны (Меры по имплементации ст. 36 Дополнительно-го протокола I 1977 г.) 2006 г.

Несмотря на то что информационные технологии, информационное оружие и иные связанные с ним средства не подпадают под традиционную категорию «оружия», под эгидой SIPRI были проведены комплексные и новаторские исследования о применении в адаптационной форме положений ст. 36 ДП I 1977 г. к новым видам оружия, появление которых связано с развитием технологий, а именно: кибероружия, вооружения с искусственным интеллектом и робототехники [Boulanin 2013]. В исследованиях отмечено, что несмотря на то, что эти три области технологий находятся на разных стадиях развития (от зрелых до все еще формирующихся и экспериментальных), бесспорно, они окажут значительное влияние на будущее военных действий, поскольку способны коренным образом изменить способы применения силы и принятия важных решений на поле боя. Кроме того, несмотря на технические и эксплуатационные различия, военное применение этих областей технологий

сопряжено с аналогичными трудностями в том, что касается оценки согласно ст. 36 ДП I 1977 г. Вместе с тем, как отмечают эксперты, провести такую оценку все же возможно.

Своеобразной поддержкой данного тезиса выступает правило 110 Таллиннского руководства 2.0, закрепляющего, что государствам следует проводить юридическую экспертизу «киберсредств ведения войны», и многие государства уже последовали этому примеру (Австралия, Бразилия, Германия, Канада, Швеция и др.)³⁶.

Таким образом, в теории и практике международного права сформировалось единое понимание, что несмотря на отсутствие точного определения «информационного оружия» (в зарубежных источниках «кибероружия»), все киберинструменты, способные «совершать атаки» в понимании МГП (т. е. реализовывать акты насилия в отношении противника, будь то в процессе нападения или обороны), следует рассматривать как оружие, подпадающее под действие правового предписания, в соответствии с которым МГП применяется ко «всем формам ведения войны и ко всем видам оружия, как прошлого, так и настоящего и будущего»³⁷, а также под действия ст. 36 ДП I 1977 г. Как отмечают эксперты, это важные формируемые концепции наглядно отражают, как под воздействием технологического прогресса расширяется значение отдельных положений МГП в части применения к вооруженным столкновениям в информационном пространстве³⁸. Такая эволюция должна продолжаться с учётом развития и появления новых технологий, которые существенным образом меняют способы ведения боевых действий.

Как представляется, перспективы самостоятельного оформления международно-правового статуса информационного оружия на данный момент неоднозначны. Предложения ученых

³⁵ International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts. Recommitting to protection in armed conflict on the 70th anniversary of the Geneva Conventions. Report. 33rd International conference of the Red Cross and Red Crescent Geneva, Switzerland 9–12 December 2019. – *International Committee of the Red Cross*. URL: https://rcrc-conference.org/app/uploads/2019/10/33IC-IHL-Challenges-report_EN.pdf (accessed date: 27.10.2024).

³⁶ Legal review of cyber weapons, means and methods of warfare. – *Cyber Law Toolkit*. URL: https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Legal_review_of_cyber_weapons,_means_and_methods_of_warfare#National_positions (accessed date: 27.10.2024).

³⁷ Advisory Opinion of 8 July 1996. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. – *International Court of Justice*. URL: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/93/093-19960708-ADV-01-00-EN.pdf> (accessed date: 24.10.2024).

³⁸ Klonowska K. Shifting the narrative: not weapons, but technologies of warfare. – *Humanitarian Law & Policy*. URL: <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2022/01/20/weapons-technologies-warfare/> (accessed date: 27.10.2024); Международное гуманитарное право и кибероперации во время вооруженных конфликтов. Изложение позиции МККК. МККК, 2020. 32 с.

о разработке нового протокола к КНО 1980 г., который установит ограничения на применение информационного оружия, ИКТ-средств для ведения военных действий, а также урегулирует вопросы разработки и использования кибернаступательных потенциалов, не представляются объективно необходимыми и реально реализуемыми. По мнению российских представителей при ООН, к рассмотрению новых тем в рамках КНО следует подходить взвешенно, сбалансированно, учитывая гуманитарные озабоченности и законные оборонные интересы государств. Такой подход приобретает особую актуальность в свете активных попыток ряда стран и представителей гражданского общества апеллировать к гуманитарной составляющей в качестве абсолютного и единственно условия для введения ограничительно-запретительных режимов в отношении конкретных видов обычных вооружений³⁹. Имеющиеся международно-правовые основы для ведения военных действий (в части «права Гааги» и «права Женевы») являются достаточным для того, чтобы нивелировать гуманитарные риски в контексте использования новых видов вооружений.

В рамках развития вопроса по регулированию военного использования ИКТ и информационного пространства, включая методы и средства ведения войны, ряд ученых предлагает заключить соглашения о контроле над информационными вооружениями [Себекин 2021; Дылевский, Запихахин, Комов, Коротков, Петрунин 2014; Reinhold, Pleil, Reuter 2023; Ruhmann 2015], что на данном этапе также вызывает дискуссию ввиду ряда сложностей практического и политического характера.

Как представляется, ставить на повестку дня вопрос о необходимости разработки обязательных самостоятельных международных положений по изучаемой проблематике несколько несвоевременно, учитывая, что в сфере ИКТ и информационного пространства все еще идут исследования, и данная тема перспективно развивается. Вновь вернуться к данному вопросу возможно после достижения максимального универсального консенсуса экспертным сообществом, включающим ученых, юристов, инженеров, техников, военных специалистов, в отношении ключевых категорий

и определений в сфере МИБ и имеющихся в ней военно-политических угроз. В связи с этим государствам следует апеллировать к действующим принципам и нормам МГП, закрепленным в ключевых договорах – Женевских конвенциях о защите жертв войны 1949 г. и Дополнительных протоколах к ним 1977 г., и определяющим базовые правила ведения военных действий в рамках любого театра войны и с учетом применения любого вида современного оружия.

Таким образом, в современном мире государствам, ученым, экспертам необходимо не только принимать во внимание тот факт, что новые достижения науки и техники неизбежно переходят в военный сектор, но и оперативно вырабатывать прогрессивные концепции, расширять толкование существующих норм и стремиться к адаптации положений международного права в части ограничения воюющих в выборе методов и средств ведения, защиты жертв войны и гражданских объектов, и в целом принципов и норм МГП к новейшим сферам отношений, включая информационное пространство и сферу ИКТ.

Проведенное исследование позволило обосновать авторскую гипотезу о возможности квалификации информационного оружия как средства ведения войны и признания за ним в перспективе статуса «обычного оружия». Регламентация вопросов разработки и использования данного вида оружия подпадает под действующие принципы и нормы МГП посредством определенной адаптации. Кроме того, учитывая, что информационная проблематика военных столкновений государств тесно связана со сферой МИБ, выработка договоренностей между государствами о предотвращении инцидентов в информационном пространстве или о ненападении в информационном пространстве будет являться дополнительным и эффективным средством сдерживания и минимизации рисков применения информационного оружия. Данные предложения активно обсуждаются Российской Федерацией на многих международных площадках, являются востребованными и актуальными, ввиду отсутствия на данный момент универсальных договоренностей государств по ответственному поведению в информационном пространстве.

³⁹ Выступление заместителя руководителя делегации Российской Федерации К.В. Воронцова в Первом комитете 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ходе тематической дискуссии по разделу «Обычные вооружения». – *Постоянное представительство России при ООН*. URL: <https://russiaun.ru/ru/news/1comcw13102021> (дата обращения: 29.10.2024).

Список литературы

1. Блищенко И.П. 1984. *Обычное оружие и международное право*. Москва: Международные отношения. 216 с.
2. Гаркуша-Божко С.Ю. 2021. Международное гуманитарное право в киберпространстве: *ratione materiae*, *ratione temporis* и проблема квалификации кибератак. – *Цифровое право*. Т. 2. № 1. С. 64-82. DOI: 10.38044/2686-9136-2021-2-1-64-82.
3. Дауст И., Куплэнд Р., Исхой Р. 2002. Новые войны – новое оружие? Обязанность государств оценивать законность средств и методов ведения войны. – *Международный журнал Красного Креста*. № 845-847. С. 99-120.
4. Догель М. 1894. *Юридическое положение личности во время сухопутной войны*. Комбатанты. Казань: типолит. Имп. ун-та. 368 с.
5. Дылевский И.Н., Запивахин В.О., Комов С.А., Коротков С.В., Петрунин А.Н. 2014. Международный режим распространения информационного оружия: утопия или реальность? – *Военная мысль*. № 10. С. 3-12.
6. Капустин А.Я. 2017. К вопросу о международно-правовой концепции угроз международной информационной безопасности. – *Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения*. № 6. С. 44-51. DOI: 10.12737/article_5a1e71d7026536.36788152.
7. Конохов М.В. 2023. Средства и методы ведения войны в информационном пространстве: международно-правовые аспекты. – *Право и государство: теория и практика*. №11 (227). С. 218-222. DOI: 10.47643/1815-1337_2023_11_21.
8. Котляров И.И. 2009. Международное гуманитарное право об ограничении воюющих в выборе методов ведения войны. – *Московский журнал международного права*. № 2 (74). С. 44-62. DOI: 10.24833/0869-0049-2009-2-44-62.
9. Котляров И.И. 2011. Международное гуманитарное право о запрещенных средствах ведения войны. – *Московский журнал международного права*. № 1 (81). С. 31-48.
10. Макаренко С.И. 2016. Информационное оружие в технической сфере: терминология, классификация, примеры. – *Системы управления, связи и безопасности*. № 3. С. 292.
11. *Международное гуманитарное право и кибероперации во время вооруженных конфликтов*. 2020. Изложение позиции МККК. Перевод с английского с приложением оригинального текста. МККК. 32 с.
12. Мелков Г.М. 1988. *Международное право в период вооруженных конфликтов*. Москва: ВЮЗИ. 94 с.
13. Оппенгейм Л. 1949. *Международное право*. Т. II. п/т I. Москва.
14. Пузырева Ю.В., Нефедов Б.И., Эриашвили Н.Д. 2024. Роль Российской Федерации в формировании правовых основ современной системы международной информационной безопасности. – *Право и управление*. № 4. С. 38-45.
15. Сазонова К.Л. 2018. Современный международно-правовой статус оружия массового уничтожения (ОМУ) и вопросы международной ответственности государств за его применение. – *Национальная безопасность / Nota Bene*. № 6 (59). С. 52-65. DOI: 10.7256/2454-0668.2018.6.28480.
16. Себекин С. 2021. Возможен ли режим контроля за распространением кибервооружений? Подходы России и США. – *Пути к миру и безопасности*. С. 139-152.
17. Синякин И.И. 2012. *Терроризм с использованием оружия массового уничтожения: международно-правовые вопросы противодействия*. Монография. Москва: Норма. 191 с.
18. Стрельцов А.А. 2014. Основные направления развития международного права вооруженных конфликтов применительно к киберпространству. – *Право и государство: теория и практика*. № 3(111). С. 75-78.
19. Талимончик В.П. 2016. Международно-правовые средства борьбы с информационным оружием. – *Российский ежегодник международного права*. № 5. С. 135-151.
20. Шеховцов Н.П., Кулешов Ю.Е. 2012. Информационное оружие: теория и практика применения в информационном противоборстве. – *Вестник Академии военных наук*. № 1 (38). С. 35-40.
21. Шинкарецкая Г.Г. 2013. Международное право и война в киберпространстве. – *Современное право*. № 8. С. 120-126.
22. *Ядерное оружие и международная безопасность в XXI веке*. 2013. Материалы международной конференции. Гл. ред. И.С. Иванов. Москва: Спецкнига. С. 57.
23. Arquilla J. 2021. *Bitskrieg: The New Challenge of Cyberwarfare*. London: Polity Press. 206 p.
24. Boulanin V., Verbruggen M. 2017. *Article 36 Reviews: Dealing with the Challenges posed by Emerging Technologies*. SIPRI. 51 p.
25. Carr J. 2013. The misunderstood acronym: Why cyber weapons aren't WMD. – *Bulletin of the Atomic Scientists*. № 69(5). P. 32-37. DOI: <https://doi.org/10.1177/0096340213501373>.
26. Clarke R., Knake R. 2011. *Cyber War: The Next Threat to National Security and What To Do About It*. Ecco, HarperCollins Publishers. 290 p.
27. Franklin A. 2018. An international cyber warfare treaty: Historical analogies and future prospects. – *Journal of Law & Cyber Warfare*. № 7(1). P. 149-164.
28. Hatch B.B. 2018. Defining a Class of Cyber Weapons as WMD: An Examination of the Merits. – *Journal of Strategic Security*. Vol. 11. No. 1. P. 43-61.
29. Ivanenko V. 2022. The origins, causes and enduring significance of the Martens Clause. – *International Review of the Red Cross*. № 104(920-921). P. 1708-1724. DOI:10.1017/S1816383122000273.
30. Krepinevich A. 2012. *Cyber warfare: a "nuclear option"?* Center for Strategic and Budgetary Assessments. 96 p.
31. Kudláčková I. 2020. *Kybernetická zbraň: Přístupy k její definici*. – *Revue pro právo a technologie*. Vol. 11. No. 21. P. 47-71.
32. Kumar D. 2013. Cyber Weapons – The New Weapons of Mass Destruction? – *Journal of the United Service Institution of India*. Vol. CXLII, No. 591.
33. Lee N. 2024. *Cyber Warfare: Weapon of Mass Disruption. – Counterterrorism and Cybersecurity*. Switzerland: Springer, Cham. P. 243-294.
34. Pool P. 2013. War of the cyber world: The law of cyber warfare. – *The International Lawyer*. № 47(2). P. 299-323.
35. Rattray G.J. 2001. *Strategic Warfare in Cyberspace*. London: MIT Press. 517 p.
36. Reinhold T., Pleil H., Reuter C. 2023. Challenges for Cyber Arms Control: A Qualitative Expert Interview Study. – *Z Außen Sicherheitspolit*. № 16. P. 289-310.

37. Ruhmann I. 2015. Neue Ansätze für die Rüstungskontrolle bei Cyber-Konflikten. Ed. by D. Cunningham, P. Hofstedt, K. Meer, I. Schmitt. – *INFORMATIK 2015 lecture notes in informatics (LNI)*. Bonn, Gesellschaft für Informatik. P. 571-585.
38. Sharp W.G. 1999. *Cyberspace and the Use of Force*. NY. 234 p.
39. *Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations*. 2017. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. 638 p.
40. *The Future of Weapons of Mass Destruction: Their Nature and Role in 2030*. 2014. Center for the Study of Weapons of Mass Destruction. National Defense University. Washington National Defense University Press. 75 p.
41. Verhelst A., Filling W.J. 2020. Global Governance Gaps in Cybersecurity: International and European Legal Perspectives. – *International Organisations Research Journal*. Vol. 15. № 2. P. 141-172.
11. Hatch B.B. Defining a Class of Cyber Weapons as WMD: An Examination of the Merits. – *Journal of Strategic Security*. 2018. Vol. 11. No. 1. P. 43-61.
12. Ivanenko V. The origins, causes and enduring significance of the Martens Clause. – *International Review of the Red Cross*. 2022. № 104 (920-921). P. 1708-1724. DOI:10.1017/S1816383122000273.
13. *Jadernoe oruzhie i mezhdunarodnaja bezopasnost' v XXI veke [Nuclear weapons and international security in the 21st century]*. Materialy mezhdunarodnoj konferencii. Gl. red. I.S. Ivanov. Moskva: Speckniga. 2013. S. 57.
14. Kapustin A.Ya. K voprosu o mezhdunarodno-pravovoy kontseptsii ugroz mezhdunarodnoy informatsionnoy bezopasnosti [On the issue of the international legal concept of threats to international information security]. – *Zhurnal zarubezhnogo zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedeniya [Journal of Foreign Legislation and Comparative Law]*. 2017. No. 6. P. 44-51. DOI: 10.12737/article_5a1e71d7026536.36788152. (In Russ.)
15. Konokhov M.V. Sredstva i metody vedeniya voyny v informatsionnom prostranstve: mezhdunarodno-pravovyye aspekty [Means and methods of warfare in the information space: international legal aspects]. – *Law and state: theory and practice [Law and the State: theory and practice]*. 2023. No. 11 (227). P. 218-222. DOI: 10.47643/1815-1337_2023_11_21. (In Russ.)
16. Kotlyarov I.I. Mezhdunarodnoye gumanitarnoye pravo o zapreshchennykh sredstvakh vedeniya voyny [International humanitarian law on prohibited means of warfare]. – *Moskovskiy zhurnal mezhdunarodnogo prava [Moscow Journal of International Law]*. 2011. No. 1 (81). P. 31-48. (In Russ.)
17. Kotlyarov I.I. Mezhdunarodnoye gumanitarnoye pravo ob ogranichenii voyuyushchikh v vybere metodov vedeniya voyny [International humanitarian law on the limitation of belligerents in the choice of methods of waging war]. – *Moskovskiy zhurnal mezhdunarodnogo prava [Moscow Journal of International Law]*. 2009. No. 2 (74). P. 44-62. (In Russ.). DOI: 10.24833/0869-0049-2009-2-44-62.
18. Krepinevich A. Cyber warfare: a "nuclear option"? Center for Strategic and Budgetary Assessments. 2012. 96 p.
19. Kudláčková I. Kybernetická zbraň: Přístupy k její definici. – *Revue pro právo a technologie*. 2020. Vol. 11. No. 21. P. 47-71.
20. Kumar D. Cyber Weapons – The New Weapons of Mass Destruction? – *Journal of the United Service Institution of India*. 2013. Vol. CXLII, No. 591.
21. Lee N. Cyber Warfare: Weapon of Mass Disruption. – *Counterterrorism and Cybersecurity*. Switzerland: Springer, Cham. 2024. P. 243-294.
22. Makarenko S.I. Informacionnoye oruzhie v tehnicheckoy sfere: terminologiya, klassifikacija, primery [Information weapons in the technical field: terminology, classification, examples]. – *Sistemy upravleniya, svyazi i bezopasnosti [Control, communication and security systems]*. 2016. № 3. S. 292.
23. Melkov G.M. *Mezhdunarodnoye pravo v period vooruzhennykh konfliktov [International law during armed conflicts]*. Moscow: VYUZI. 1988. 94 p. (In Russ.)
24. *Mezhdunarodnoye gumanitarnoye pravo i kiberoperatsii vo vremya vooruzhennykh konfliktov. Izlozheniye pozitsii MKKK. Pervod s angliyskogo s prilozheniyem original'nogo teksta. [International Humanitarian Law and Cyber Operations in Armed Conflict]*. ICRC Position Statement. Translation from English with appendix of the original text. ICRC. 2020. 32 p. (In Russ.)

References

1. Arquilla J. *Bitskrieg: The New Challenge of Cyberwarfare*. London: Polity Press. 2021. 206 p.
2. Blishchenko I.P. *Obychnoye oruzhiye i mezhdunarodnoye pravo [Conventional weapons and international law]*. Moscow: Mezhdunarodnyye otnosheniya. 1984. 216 p. (In Russ.)
3. Boulanin V., Verbruggen M. *Article 36 Reviews: Dealing with the Challenges posed by Emerging Technologies*. SIPRI. 2017. 51 p.
4. Carr J. The misunderstood acronym: Why cyber weapons aren't WMD. – *Bulletin of the Atomic Scientists*. 2013. № 69(5). P. 32-37. DOI: <https://doi.org/10.1177/0096340213501373>.
5. Clarke R., Knake R. *Cyber War: The Next Threat to National Security and What To Do About It*. Ecco, HarperCollins Publishers. 2011. 290 p.
6. Daust I., Kuplend R., Iskhoy R. Novyye voyny – novoye oruzhiye? Obyazannost' gosudarstv otsenivat' zakonnost' sredstv i metodov vedeniya voyny [New Wars – New Weapons? The Duty of States to Assess the Legitimacy of Means and Methods of Warfare]. – *Mezhdunarodnyy zhurnal Krasnogo Kresta [The International Journal of the Red Cross]*. 2002. No. 845-847. P. 99-120. (In Russ.)
7. Dogel' M. *Yuridicheskoye polozheniye lichnosti vo vremya sukhopotnoy voyny. Kombatanty. [Legal status of the individual during a land war. Combatants]*. Kazan': tipo-lit. Imp. un-ta. 1894. 368 p. (In Russ.)
8. Dylevskij I.N., Zapivahin V.O., Komov S.A., Korotkov S.V., Petrunin A.N. Mezhdunarodnyy rezhim nerasprostraneniya informacionnogo oruzhija: utopiya ili real'nost'? [The international regime for the non-proliferation of information weapons: utopia or reality?]. – *Voennaya mysl' [Military thought]*. 2014. № 10. S. 3-12. (In Russ.)
9. Franklin A. An international cyber warfare treaty: Historical analogies and future prospects. – *Journal of Law & Cyber Warfare*. 2018. № 7 (1). P. 149-164.
10. Garkusha-Bozhko S. Yu. Mezhdunarodnoye gumanitarnoye pravo v kiberprostranstve: ratione materiae, ratione temporis i problema kvalifikatsii kiberatak [International humanitarian law in cyberspace: ratione materiae, ratione temporis and the problem of qualifying cyberattacks]. – *Tsifrovoye pravo [Digital law]*. 2021. Vol. 2. No. 1. P. 64-82. DOI: 10.38044/2686-9136-2021-2-1-64-82. (In Russ.)

25. Oppengejm L. *Mezhdunarodnoe pravo [International law]*. T. II. p/t I. Moscow. 1949. (In Russ.).
26. Pool P. War of the cyber world: The law of cyber warfare. – *The International Lawyer*. 2013. № 47(2). P. 299-323.
27. Puzyreva Ju.V., Nefedov B.I., Jeriashvili N.D. 2024. Rol' Rossijskoj Federacii v formirovanii pravovyh osnov sovremennoj sistemy mezhdunarodnoj informacionnoj bezopasnosti [The role of the Russian Federation in the formation of the legal foundations of the modern system of international information security]. – *Pravo i upravlenie [Law and management]*. № 4. S. 38-45. (In Russ.).
28. Rattray G.J. *Strategic Warfare in Cyberspace*. London: MIT Press. 2001. 517 p.
29. Reinhold T., Pleil H., Reuter C. Challenges for Cyber Arms Control: A Qualitative Expert Interview Study. – *Z Außen Sicherheitspolit.* 2023. № 16. P. 289–310.
30. Ruhmann I. Neue Ansätze für die Rüstungskontrolle bei Cyber-Konflikten. Ed. by D. Cunningham, P. Hofstedt, K. Meer, I. Schmitt. – *INFORMATIK 2015 lecture notes in informatics (LNI)*. Bonn, Gesellschaft für Informatik. 2015. P. 571-585.
31. Sazonova K.L. Sovremennyy mezhdunarodno-pravovoy status oruzhiya massovogo unichtozheniya (OMU) i voprosy mezhdunarodnoy otvetstvennosti gosudarstv za yego primeneniye [Current international legal status of weapons of mass destruction (WMD) and issues of international responsibility of states for their use]. – *Natsional'naya bezopasnost' / Nota Bene [National Security / Nota Bene]*. 2018. No. 6 (59). P. 52-65. DOI: 10.7256/2454-0668.2018.6.28480. (In Russ.).
32. Sebekin S. Vozmozhen li rezhim kontrolja za rasprostraneniem kibervooruzhenij? Podhody Rossii i SShA [Is it possible to control the proliferation of cyber weapons? Approaches of Russia and the USA]. – *Puti k miru i bezopasnosti [Ways to peace and security]*. 2021. S. 139-152. (In Russ.).
33. Sharp W.G. *Cyberspace and the Use of Force*. NY. 1999. 234 p.
34. Shehovcov N.P., Kuleshov Ju.E. Informacionnoe oruzhie: teorija i praktika primeneniya v informacionnom protivoborstve [Information weapons: theory and practice of application in information warfare]. – *Vestnik Akademii voennyh nauk [Bulletin of the Academy of Military Sciences]*. 2012. № 1 (38). S. 35-40. (In Russ.).
35. Shinkaretskaya G.G. Mezhdunarodnoye pravo i vojna v kiberprostranstve [International law and war in cyberspace]. – *Sovremennoye pravo [Modern law]*. 2013. No. 8. P. 120-126. (In Russ.).
36. Sinyakin I.I. *Terrorizm s ispol'zovaniem oruzhiya massovogo unichtozheniya: mezhdunarodno-pravovyye voprosy protivodeystviya [Terrorism with the use of weapons of mass destruction: international legal issues of counteraction]*. Monografiya. Moscow: Norma. 2012. 191 p. (In Russ.).
37. Strel'tsov A.A. Osnovnyye napravleniya razvitiya mezhdunarodnogo prava vooruzhennykh konfliktov primenitel'no k kiberprostranstvu [Main directions of development of international law of armed conflicts as applied to cyberspace]. – *Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika [Law and the State: theory and practice]*. 2014. No. 3 (111). P. 75-78. (In Russ.).
38. Talimonchik V.P. Mezhdunarodno-pravovye sredstva bor'by s informacionnym oruzhiem [International legal means of combating information weapons]. – *Rossijskij ezhegodnik mezhdunarodnogo prava [Russian Yearbook of International Law]*. 2016. № 5. S. 135-151. (In Russ.).
39. *Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. 2017. 638 p.
40. *The Future of Weapons of Mass Destruction: Their Nature and Role in 2030*. Center for the Study of Weapons of Mass Destruction. National Defense University. Washington National Defense University Press. 2014. 75 p.
41. Verhelst A., Filling W.J. Global Governance Gaps in Cybersecurity: International and European Legal Perspectives. – *International Organisations Research Journal*. 2020. Vol. 15. № 2. P. 141-172.

Информация об авторе

Юлия Владимировна ПУЗЫРЕВА,

кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры прав человека и международного права, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

Академика Волгина ул., д. 12, Москва, 117997, Российская Федерация

yuliya_dugina@mail.ru
ORCID: 0000-0003-4448-2200

About the Author

Yuliya V. PUZYREVA,

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Deputy Head of the Department of Human Rights and International Law, Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

12, Akademika Volgina St., Moscow, Russian Federation, 117997

yuliya_dugina@mail.ru
ORCID: 0000-0003-4448-2200



DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-162-183>

Исследовательская статья

УДК: 341

Поступила в редакцию: 07.08.2024

Принята к публикации: 08.11.2024

Анастасия Михайловна КОРЖЕНЯК

Московский государственный институт международных отношений (университет)

Министерства иностранных дел России

Вернадского п-т, д. 76, Москва, 119454, Российская Федерация

mihkor@gmail.com

ORCID: 0000-0002-7162-2785

ВОПРОСЫ ТОЛКОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПОНЯТИЯ «МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЛЕГИТИМАЦИЯ»

ВВЕДЕНИЕ. В процессе адаптации к меняющимся реалиям геополитики и международного права коллективная легитимация стала одной из основных политических функций Организации Объединенных Наций (далее – ООН) в качестве средства политически значимого одобрения (или неодобрения) поведения и позиций государств как соответствующих международному праву и одновременно отвечающих потребностям настоящего времени, средства признания их легитимными (или нелегитимными). Осознание динамичной природы такого феномена современного международного права, как «международно-правовая легитимация», компетентное владение навыками международно-правовой аргументации, их постоянное совершенствование и актуализация, инновационный подход к формулированию международно-правовых позиций, которые действительно могли бы претендовать на роль доминирующих, прогрессивных, разработка оптимального механизма их артикуляции и легитимации позволит обеспечить состоятельность международно-правовой политики России среди таких жестких, своенравных, но, надо признать, расчетливых и проницательных стратегий по легитимации, которые применяют прежде всего США. На фоне в целом успешного

и эффективного осуществления Вашингтоном международно-правовой легитимации своих интервенций, в результате чего не было принято ни одной резолюции ни Советом Безопасности ООН, ни Генеральной Ассамблеей ООН (далее – ГА ООН), которая бы квалифицировала вторжения американцев в Ирак, Ливию или Сирию в качестве «агрессии», международно-правовое сопровождение специальной военной операции РФ на Украине (далее – СВО) нуждается в совершенствовании, поскольку именно такая квалификация была дана ей ГА ООН. Актуальность и значимость проблематики повышаются с учетом необходимости повышения качества международно-правового обоснования СВО, которое должно быть нацелено на признание, одобрение и принятие большинством членов международного сообщества международно-правовой позиции России по этому вопросу, т. е. на ее международно-правовую легитимацию, способную переломить преобладающее на данный момент прозападное международное правосознание. Таким образом, этот феномен заключает в себе колоссальное прикладное значение в условиях увеличения числа гибридных угроз для национальной безопасности нашей страны и появления новых источников подобных угроз.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Теоретическую и эмпирическую базу исследования составляет отечественная и преимущественно зарубежная международно-правовая литература с акцентом на новейших научных разработках, а также с привлечением имеющих отношение к теме правоприменительной практики (практики Международного Суда ООН (далее – Суд или МС ООН)) и материала специализированных словарей. На основе интегративного (многоаспектного) подхода к научному юридическому исследованию с учетом таких принципов научного познания, как теоретическая новизна и научная актуальность, при написании статьи были применены, в частности, следующие методы: герменевтический, формально-юридический, формально-логический, структурно-функциональный, системный, анализа и синтеза, правового моделирования, юридического толкования, стратегического планирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В статье представлен обзор исследований термина «легитимация» в международном праве, излагаются различные подходы к определению и толкованию этого понятия, раскрываются содержание и структурные элементы процесса международно-правовой легитимации, направленного на достижение, признание или подтверждение легитимности какой-либо международно-правовой позиции государства. Формируя собственное видение понятия «международно-правовая легитимация», автор разработала ряд классификаций (структурных схем): типология подходов к определению понятия «легитимация» (нигилистический, идеалистический и компромиссный), структура процесса международно-правовой легитимации, виды международно-правовой легитимации по временному критерию и по критерию наличия воли.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ. На фоне масштабной и мощной «юридической агрессии» Запада против России феномен международно-правовой легитимации государством своих действий зачастую поднимает вопрос

о необходимости проявить смелость, изобретательность и даже креативность в формулировании международно-правовых позиций в той или иной сфере. Наша гипотеза заключается в том, что в реальном мире, в котором международное право является «продуктом игры сил и интересов», повышению эффективности защиты российских интересов способствовала бы непосредственная и активная вовлеченность РФ в процесс конструирования общей модели международно-правового механизма легитимации позиций государств. Первым шагом на этом пути могла бы стать разработка и апробация международно-правового механизма легитимации международно-правовой позиции России относительно СВО. Кроме того, важно анализировать практику международно-правовой легитимации своих действий конкретными государствами не только в целях изучения и потенциального перенятия их опыта, но и для обучения прогнозированию, предвидению дальнейших международно-правовых маневров той или иной страны, чтобы иметь возможность своевременно отреагировать на них надлежащим образом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: международно-правовая легитимация, международно-правовой механизм легитимации, международно-правовая легитимность, международно-правовая позиция государства, международно-правовая политика государства, международно-правовая аргументация, принцип состязательности в международном праве

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Корженяк А. М. 2024. Вопросы толкования и применения понятия «международно-правовая легитимация». – Московский журнал международного права. № 4. С. 162–183. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-162-183>

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-162-183>Research article
UDC: 341
Received 7 August 2024
Approved 8 November 2024**Anastasia M. KORZHENYAK**

Moscow State Institute of International Relations (University)
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
76, Vernadskogo Ave., Moscow, Russian Federation, 119454
mihkor@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7162-2785

ISSUES OF INTERPRETATION AND APPLICATION OF THE NOTION OF “INTERNATIONAL LEGAL LEGITIMATION”

INTRODUCTION. *In the process of adapting to the changing realities of geopolitics and international law, collective legitimation has become one of the main political functions of the UN as a means of politically significant approval (or disapproval) of the behaviour and positions of states as consistent with international law and at the same time meeting the needs of the present, a means of recognising them as legitimate (or illegitimate). Awareness of the dynamic nature of such a phenomenon of contemporary international law as “international legal legitimation”, competent mastery of international legal argumentation skills, their constant improvement and updating, innovative approach to the formulation of international legal positions that could really claim to be dominant and progressive, development of an optimal mechanism for their articulation and legitimation will allow to ensure the competitiveness of Russia’s international legal policy among such rigid, wilful, but, it should be admitted, calculating and shrewd strategies of legitimation, which are applied primarily by the United States of America. Against the background of Washington’s generally successful and effective international legal legitimation of its interventions, as a result of which not a single resolution was adopted either by the UN Security Council or the UN General Assembly (UNGA) that would have qualified the American invasions of Iraq, Libya or Syria as “aggression”, the international legal support for the Russian Federation’s special military operation in the Ukraine (SVO) needs*

to be improved, since precisely this qualification was given to it by the UNGA. The relevance and significance of the issue increases in view of the need to enhance the quality of the international legal justification of the SVO, which should be aimed at the recognition, approval and acceptance by the majority of members of the international community of Russia’s international legal position on this issue, i. e. at its international legal legitimation, capable of reversing the currently prevailing pro-Western international legal consciousness. Therefore, this phenomenon encapsulates a tremendous applied value in the context of the increasing number of hybrid threats to the national security of our country and the emergence of new sources of such threats.

MATERIALS AND METHODS. *The theoretical and empirical basis of the research is constituted by domestic and mainly foreign international legal literature with an emphasis on the latest scientific developments and also with reference to the relevant to the topic law enforcement practice (practice of the International Court of Justice) and material of specialised dictionaries. On the basis of integrative (multidimensional) approach to scientific legal research, taking into account such principles of scientific cognition as theoretical novelty and scientific relevance, the study was guided, in particular, by hermeneutic, formal-legal, formal-logical, structural-functional and systematic methods, as well as methods of analysis and synthesis, legal modelling, legal construction and strategic planning.*

RESEARCH RESULTS. *The article reviews relevant studies on the term “legitimation” in international law, outlines various approaches to the definition and interpretation of this notion, reveals the content and structural elements of the process of international legal legitimation aimed at achieving, recognising or confirming the legitimacy of an international legal position of a state. Forming her own vision of the notion of “international legal legitimation”, the author has devised a number of classifications (structural schemes): a typology of approaches to the definition of the term “legitimation” (nihilistic, idealistic and compromise), the structure of the process of international legal legitimation, the types of international legal legitimation according to the time and will criteria.*

DISCUSSION AND CONCLUSIONS. *Amid the large-scale and powerful “legal aggression” of the West against Russia, the phenomenon of international legal legitimation of the state’s actions often raises the question of the need to be bold, inventive and even creative in formulating international legal positions in a particular area. Our hypothesis is that in the real world, in which international law is a “product of a game of powers and interests”, the direct and active involvement of the Russian Federation in the process of constructing a common model of international legal legitimation of states’ positions would help to increase*

the effectiveness of the protection of Russian interests. The first step on this path could be the development and approbation of an international legal mechanism of legitimation of Russia’s international legal position on the SVO. Besides, it is important to analyse the international legal legitimation practices of particular states not only in order to study and potentially absorb their experience, but also to learn how to predict and anticipate further international legal manoeuvres of a certain country so as to be able to respond to them in a timely and appropriate manner.

KEYWORDS: *international legal legitimation, international legal mechanism of legitimation, international legal legitimacy, international legal position of a state, international legal policy of a state, international legal argumentation, adversarial principle in international law*

FOR CITATION: Korzhenyak A. M. Issues of Interpretation and Application of the Notion of “International Legal Legitimation”. – *Moscow Journal of International Law*. 2024. No. 4. P. 162–183. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-162-183>

The author declares the absence of conflict of interests.

1. Введение

«Международно-правовая легитимация», являясь феноменом современного международного права, включает в себе колоссальное прикладное значение в условиях роста гибридных угроз для национальной безопасности нашей страны и появления новых источников таких угроз. Осознание динамичной природы международно-правовой легитимации крайне важно для того, чтобы сохранить возможность осуществлять контроль, определять и влиять на направление современного развития общего международного правосознания. Компетентное владение навыками международно-правовой аргументации, их постоянное совершенствование и актуализация, инновационный подход к формулированию международно-правовых позиций, выбор оптимальной модели (стратегии) их артикуляции и легитимации позволит

обеспечить состоятельность международно-правовой политики России среди таких жестких, напористых, своенравных, но, надо признать, изворотливых, расчетливых и проницательных стратегий по легитимации, которые применяют прежде всего США.

Один из наиболее показательных примеров в XXI в. – продуманный международно-правовой механизм легитимации вторжения США в Ирак в 2003 г., ключевыми элементами которого являются две сильные концепции: «упреждающей/превентивной самообороны» и «односторонних военных действий против государств, угрожающих международной безопасности (“rogue states”») [Вылегжанин, Корженяк 2025а; Вылегжанин, Корженяк 2025б].

Еще более изобретательными выглядят международно-правовые механизмы легитимации интервенций в Ливию в 2011 г. (концепция «обязанности защищать» – „responsibility to protect“, R2P) и в Сирию в 2014 г. (доктрина

«гуманитарной интервенции» / терминология R2P, (коллективная) самооборона, «предвосхищающая (упреждающая) гуманитарная интервенция»). Совокупное рассмотрение всех принятых Вашингтоном мер в целом говорит об успешном осуществлении США международно-правовой легитимации своих интервенций и эффективности выработанного аргументационно-легитимационного механизма для каждой конкретной ситуации: в результате не было принято ни одной резолюции ни Советом Безопасности ООН, ни Генеральной Ассамблеей ООН, которая бы квалифицировала вторжения американцев в Ирак, Ливию или Сирию в качестве «агрессии».

На этом фоне квалификация ГА ООН действий Российской Федерации в отношении Украины в качестве «агрессии»¹ свидетельствует о необходимости повышения качества и эффективности международно-правового сопровождения специальной военной операции России

на Украине, об осознании важности обеспечения международно-правовой основы для ведения военных действий, которая послужит столь востребованным фундаментом, опорой и средством защиты для побед на поле боя. Хотя, бесспорно, эту работу следует осуществлять с безусловным учетом текущих геополитических реалий, которые вместе с тем не должны вызывать ложное представление о низведении ценности и важности проведения непрерывной, скрупулезной и грамотной юридической работы.

Ситуация обостряется и фактом выдачи прокурором Международного уголовного суда (далее – МУС) ордера на арест главы суверенного государства – президента РФ В. Путина², непрекращающейся интенсивной юридической проработкой различными странами оснований для конфискации замороженных золотовалютных резервов России³, для создания «компенсационного механизма» по изъятию имущества «государства-агрессора» в пользу «государства,

¹ Прямо выраженная квалификация или ее последующее подтверждение: 1) резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта 2022 г. ES-11/1 «Агрессия против Украины». URL: <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2FES-11%2F1&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False> (дата обращения: 03.03.2022); 2) резолюция ГА ООН от 24 марта 2022 г. ES-11/2 «Гуманитарные последствия агрессии против Украины». URL: <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2FES-11%2F2&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False> (дата обращения: 26.03.2022); 3) резолюция ГА ООН от 7 апреля 2022 г. ES-11/3 «Приостановление прав членства Российской Федерации в Совете по правам человека». URL: <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2FES-11%2F3&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False> (дата обращения: 08.04.2022); 4) резолюция ГА ООН от 12 октября 2022 г. ES-11/4 «Территориальная целостность Украины: защита принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций». URL: <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2FES-11%2F4&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False> (дата обращения: 12.10.2022); 5) резолюция ГА ООН от 14 ноября 2022 г. ES-11/5 «Содействие осуществлению правовой защиты и обеспечению возмещения ущерба в связи с агрессией против Украины». URL: <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2FES-11%2F5&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False> (дата обращения: 14.11.2022); 6) резолюция ГА ООН от 23 февраля 2023 г. ES-11/6 «Принципы Устава ООН, лежащие в основе достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине». URL: <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2FES-11%2F6&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False> (дата обращения: 24.02.2023).

² Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova. URL: <https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and> (дата обращения: 17.03.2023). Кафедра международного права МГИМО участвовала в подготовке Заключения Международно-правового совета при МИД России. См.: [Проблемы ... 2024; Opinion ... 2024:92-104]. Также обстоятельный обзор о политизированности, непоследовательности, зависимости и пристрастности МУС, названного «беспольным органом международного правосудия и в то же время эффективным инструментом продвижения политических интересов на международной арене», представлен в статье [Данельян, Оганесян 2024].

³ См., напр.: [Kamminga 2023:1-17]; Tribe L.H., Tolentino R.P., Harris K.M., Erpenbach J., Lewin J. The Legal, Practical, and Moral Case for Transferring Russian Sovereign Assets to Ukraine. – RDI (Renew Democracy Initiative). September 17, 2023. 194 p. URL: <https://rdi.org/wp-content/uploads/2023/09/2023.09.17-MPP-Report.pdf> (accessed date: 18.09.2023); Paddeu F. Transferring Russian Assets to Compensate Ukraine: Some Reflections on Countermeasures. March 1, 2024. URL: <https://www.justsecurity.org/92816/transferring-russian-assets-to-compensate-ukraine-some-reflections-on-countermeasures/> (accessed date: 01.03.2024); Koh H.H. Past Time to Liquidate Russian Assets. March 5, 2024. URL: <https://www.justsecurity.org/93004/past-time-to-liquidate-russian-assets/> (accessed date: 05.03.2024); The G7 Should Act with Urgency to Support an International Claims Mechanism to Seize and Transfer Frozen Russian Sovereign Assets to Ukraine. June 5, 2024. – Center for Strategic & International Studies. URL: <https://www.csis.org/analysis/g7-should-act-urgency-support-international-claims-mechanism-seize-and-transfer-frozen> (accessed date: 05.06.2024) и др.

подвергшегося нападению»⁴, введением налога на прибыль от инвестирования российских суверенных активов в пользу Украины⁵ и т. д.

На этом фоне особенно показательным представляется посвящение немецким юристом М. Хердегеном предисловия к 22-му изданию своего учебника по международному праву 2023 г. исключительно украинскому кризису, где он заявляет о том, что «наступательная (агрессивная) война России против Украины», хоть и вызвавшая «почти единодушное осуждение» международного сообщества, «пошатнула территориальный порядок Европы», равно как и «веру в способность международного права регулировать и контролировать имперские амбиции и гегемонистские устремления» [Herdegen 2023:V, 37]⁶.

Необходимость совершенствования международно-правового сопровождения СВО означает превращение его в полноценную, стратегически выверенную, юридически грамотно выстроенную международно-правовую политику. Выбор ее модели должен быть продиктован *международно-правовой позицией* России по ряду возникших в связи с этим вопросов, которые следует четко сформулировать с прицелом на их признание, одобрение и принятие большинством членов международного сообщества. Этот процесс представляет собой *международно-правовую легитимацию* поведения государства, в результате которой достигаются изменения в международном правосознании.

2. Термин «*легитимация*» в международном праве: подходы к определению и толкованию понятия

Следует подчеркнуть, что понятие «*легитимация*» отнюдь не является результатом внедрения в международно-правовую терминологию неких нововведений, отражающих современные веяния под возможным влиянием политических наук: по крайней мере, еще в середине 1960-х гг. этот юридический термин совершенно четко употреблялся именно в том значении, в котором он и рассматривается в настоящей статье [Claude 1966:367-379]. Но, действительно, сущность этого сложного, многоаспектного процесса становилась предметом изучения не в столь внушительном числе публикаций: большинство авторов предпочитают сосредотачиваться скорее на проблемных вопросах, возникающих в связи с базовым для процесса легитимации понятием «*легитимности*».

2.1. Обзор исследований термина «*легитимация*»

Можно выделить особую узкоспециализированную категорию зарубежных работ, посвященных изучению критериев легитимности международного права («*legitimacy of international law*»), международного управления, правопорядка («*legitimacy of international governance*»), а также способов ее укрепления [Bodansky 1999:596-624;

⁴ См.: резолюцию ГА ООН от 14 ноября 2022 г. ES-11/5 «Содействие осуществлению правовой защиты и обеспечению возмещения ущерба в связи с агрессией против Украины»; Corrarino M. Introducing Just Security's Series on Reparations in Russia's War Against Ukraine. February 20, 2024. URL: <https://www.justsecurity.org/92429/introducing-just-securitys-series-on-reparations-in-russias-war-against-ukraine/> (accessed date: 28.02.2024); Mills M., Poston T., Hathaway O.A. How to Make Russia Pay to Rebuild Ukraine. February 20, 2024. URL: <https://www.justsecurity.org/92460/how-to-make-russia-pay-to-rebuild-ukraine/> (accessed date: 28.02.2024); Keitner C. Sovereign Immunity and Reparations in Ukraine. February 21, 2024. URL: <https://www.justsecurity.org/92531/sovereign-immunity-and-reparations-in-ukraine/> (accessed date: 28.02.2024); Webb P. Reparations for Ukraine: Three Proposals from Europe. February 26, 2024. URL: <https://www.justsecurity.org/92708/reparations-for-ukraine-three-proposals-from-europe/> (accessed date: 28.02.2024); Lim P. Canada's Special Economic Measures Act Under International Law. February 27, 2024. URL: <https://www.justsecurity.org/91736/canadas-special-economic-measures-act-under-international-law/> (accessed date: 28.02.2024) и т. д.

⁵ Extraordinary revenues generated by immobilised Russian assets: Council greenlights the use of net windfall profits to support Ukraine's self-defence and reconstruction. Council of the EU. Press release. May 21, 2024. URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/05/21/extraordinary-revenues-generated-by-immobilised-russian-assets-council-greenlights-the-use-of-windfall-net-profits-to-support-ukraine-s-self-defence-and-reconstruction/> (accessed date: 21.05.2024).

⁶ См. также, напр.: [Hakimi 2022:87].

Kumm 2004:907-931; Wolfrum 2008:1-24; Wheatley 2010; Buchanan 2010:79-96; Tasioulas 2011:16-39; Lefkowitz 2020:98-128]. Однако, надо признать, они имеют немного общего с предметом нашего исследования, поскольку сосредоточены на выявлении того, что делает международное право легитимным, на постановке под сомнение доверия к международному праву в целом как регулятору межгосударственных отношений из-за якобы его отхода от демократических принципов в процессе нормотворчества при участии различных международных акторов. Более того, примечательна их явно преимущественно философско-правовая направленность. Существует внушительное количество работ, в которых анализируется легитимность (законность, правомерность) деятельности какой-либо международной организации, органа или учреждения (например, ООН, Всемирной торговой организации, МУС, Всемирного банка и т. д.) [Caron 1993:552-588; The Legitimacy...2001; Howse 2001:355-407; Buchanan, Keohane 2006:405-437; Luban 2010:569-588; Legitimizing...2016:213-319 и др.], того или иного правового института (например, государственно-частного партнерства [Apffelstaedt, Schrage, Gilbert 2023:1-34; Jongen, Scholte 2024:1018-1039] и пр.), причем список подобных объектов для изучения является практически безграничным⁷. Акцентируется в том числе внимание на проведении различия между терминами *“legality”* («легальность», «законность», т. е. соответствие правовым нормам) и *“legitimacy”* («легитимность», «правомерность», т. е. допустимость, наличие правомочия управлять – *“the right to govern”*, *“the right to rule”*), а также на соотношении этих понятий со способностью рационально убеждать и оказывать влияние – *“rational persuasion and power”*) [Buchanan, Keohane 2006:405; Bodansky 2008:309-317; Brunnée, Toope 2010:20-55; Bodansky 2012:321-342; Hardy 2014:10-14; Lefkowitz 2020:99-101]. Хотя есть авторы, которые традиционно использовали понятия *“legitimate”* и *“illegal”* в качестве антонимов, например, английский ученый-международник Дж. Брайерли [Brierly 1963:426]. Интересным, на наш взгляд, представляется предложение разграничивать *«легитимность происхождения правомочия»* (*“the legitimacy of origin”*)

и *«легитимность способа осуществления правомочия»* (*“the legitimacy of exercise”*) [d’Aspremont, De Brabandere 2011:190-235].

Ряд исследователей, как зарубежных, так и отечественных, в частности, австралийский правовед, бывший судья МС ООН Дж. Кроуфорд, американские юристы-международники Р. Фальк, М.Э. О’Коннелл, Э.-М. Слотер, немецкий правовед-международник М. Хердеген, российский ученый профессор В.А. Томсинов и некоторые другие поднимают проблему намеренного размывания смыслового содержания понятия *«легитимности»* за счет противопоставления его понятиям *«легальности»* («законности») и *«правомерности»* и одновременно соотнесения с понятиями *«оправданности»* («обоснованности»). В результате стали допустимыми такие квалификации, как *«нелегальный (незаконный), но легитимный»* (*“illegal but legitimate”*), *«нелегальный (неправомерный) по международному праву, но потенциально легитимный в глазах международного сообщества»* (*“illegal under international law but potentially legitimate in the eyes of the international community”*), *«легитимный, даже если и неправомерный»* (*“legitimate even if unlawful”*), *«нелегальный (неправомерный, незаконный), но оправданный (обоснованный)»* (*“illegal but justified”*), *«морально оправданный и, соответственно, легитимный»* (*“moralisch gerechtfertigt und insoweit legitim”*) [Crawford 2004:271-273; Slaughter 2004:262-263; Falk 2004:263-266; O’Connell 2004:269-270; Popovski, Turner 2008:1-8; Roberts 2008:179-214; Falk, Juergensmeyer, Popovski 2012:54; Томсинов 2016:68; Herdegen 2023:16-17]. В зарождении подобной тенденции они обвиняют *«косовский прецедент»* («Доклад по Косово»), когда интервенция НАТО была признана *«незаконной, но легитимной»* ввиду своих главным образом гуманитарных целей⁸, что извратило понимание термина *«легитимный»* (значение которого всегда имело положительный формально-юридический оттенок), во всяком случае создало для этого опасные предпосылки. В научном обороте этому, на наш взгляд, возможно, и неосознанно, но потворствует советский и эстонский правовед Р.А. Мюллерсон, который, по сути, низводит термин *«легитимный»*

⁷ Например, анализируется эффективность стратегий легитимации деятельности американских частных военных компаний: [Krahmann 2017:541-559] и пр.

⁸ См.: [The Kosovo ... 2000:163-200, 283-298].

в какую-то аморфную неправовую категорию: «правомерный в соответствии с международным правом и легитимный в глазах большинства людей» (“*lawful under international law and legitimate in the eyes of most people*”), «не только легитимный, но еще и правомерный» (“*not only legitimate but also lawful*”), «правомерный, но не обязательно легитимный» (“*lawful, though not necessarily legitimate*”), «нелегальный (неправомерный), но для некоторых легитимный» (“*illegal, but for some legitimate*”) [Müllerson 2013:184-185, 220-221; Müllerson 2017:7, 48, 158, 201].

В продолжение темы о затушевывании проблем, стоящих перед международным правом, заметим, что, например, финский юрист-международник М. Коскенниemi, наоборот, критически оценивает трансформацию современного юридического языка, в котором понятие «правомерности» (“*lawfulness*”) заменяется «легитимностью» (“*legitimacy*”), занимающей неопределенное положение между «правовой формальностью» (“*legal formality*”) и «политической справедливостью» (“*political justice*”), но не сводящейся ни к тому ни к другому, а существующей главным образом лишь как некое «чувство легитимности, теплое чувство удовлетворения, не требующее никаких дополнительных оправданий». Легитимность, утверждает Коскенниemi, «не имеет нормативного содержания», ее смысл заключается в том, чтобы его избежать, но при этом поддерживать видимость наличия такого содержания» [Koskenniemi 2009:406-410]. Этот осознанно запущенный процесс создания параллельной терминологии ведет к постепенному превращению эмпирической политологии и международного права в сугубо инструментальные дисциплины, обслуживающие интересы власть предержащих [Koskenniemi 2007:34].

Все же нельзя не признать заблуждением довольно распространенное мнение о якобы тождественности понятий «справедливости» и «легитимности», хотя интуитивно и приходится

согласиться с нереалистичностью их равнозначности [Buchanan, Keohane 2006:436-437]. Но это вовсе не означает, что легитимность в частном порядке не может основываться на справедливости: например, японский профессор международного права С. Мурасэ разработал концепцию «противопоставимости» (“*opposability*”), согласно которой некоторые государства, чтобы заполнить пробелы (лакуны), существующие в международном праве, прибегают к «односторонним насильственным действиям» либо в форме «осуществления права на самооборону», либо в форме «экстерриториального применения национального права». Поскольку такие меры предпринимаются в «серой зоне нормативности», при их легитимации, как утверждает правовед, важную роль играет концепция «справедливости» [Murase 2009:429-453].

В доказательство изначально присущего термину «легитимный» значения правомерности и в общем контексте изучения правового содержания понятия «легитимация» в международном праве представляется значимым обратит внимание на любопытную особенность, закономерную для юридической терминологии на романских языках. Так, понятие «самооборона» буквально означает «легитимная оборона»: “*legittima difesa*” – на итальянском языке⁹, “*legítima defensa*”¹⁰ – на испанском, “*legítima defesa*”¹¹ – на португальском, “*légitime défense*”¹² – на французском и т. д. Как нам видится, отмеченная лексическая специфика оказала влияние на формулирование итальянским правоведом Р. Квадри концепции «удачной революции» и «легитимации нового правопорядка», согласно которой ученый считает применение силы *оправданным и легитимным*, поскольку война, по его убеждению, не что иное, как «реакция на нарушение международного права», а факт ее успешного завершения легитимизирует новый правопорядок [Quadri 1960:237-241, 246-249].

⁹ Enciclopedia online. “*Legittima difesa. Diritto internazionale*”. Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani. URL: <https://www.treccani.it/enciclopedia/legittima-difesa-diritto-internazionale/> (data di accesso: 03.05.2024).

¹⁰ Diccionario panhispánico del español jurídico. “*Legítima defensa*” (Int. púb.). Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española, Cumbre Judicial Iberoamericana. URL: <https://dpej.rae.es/lema/legitima-defensa#:~:text=1.,de%20un%20modo%20racionalmente%20necesario> (fecha de acceso: 03.05.2024).

¹¹ Diário da República. Lexionário. “*Legítima defesa internacional*”. URL: <https://diariodarepublica.pt/dr/lexionario/termo/legitima-defesa-internacional> (data de acesso: 03.05.2024).

¹² Dictionnaire pratique du droit humanitaire. “*Légitime défense*”. URL: <https://dictionnaire-droit-humanitaire.org/content/article/2/legitime-defense/> (date d'accès: 03.05.2024); [Salmon 2001:642].

Не так много авторов предпринимали попытку создать *теорию международно-правовой легитимности* (в отличие от легитимности международного права). Так, американский юрист-международник Т.М. Франк исходил из того, что согласованность воле государств является необходимым, но не единственным условием, достаточным для международно-правовой легитимности: он как раз так считал, что в основе легитимности должны быть справедливость и соответствие определенному набору формальных требований относительно нормотворчества, правоприменения и толкования норм права: 1) четкость, определенность, конкретность (*“determinacy”*) – лингвистический компонент; 2) символическое подтверждение (*“symbolic validation”*) – культурный и антропологический компонент; 3) согласованность, сопряженность с иными нормами международного права (*“coherence”*); 4) соподчиненность, наличие вертикальной связи с иными нормами международного права, их соблюдение (*“adherence”*) [Franck 1988:712; Franck 1990:24; Franck 1995:7-8]. Канадские ученые Ю. Брунне и С. Туп, отходя от этого чисто позитивистского подхода и склоняясь скорее к социологическому, выдвинули гипотезу о том, что международно-правовая легитимность подразумевает способность порождать приверженность верховенству международного права как такового, а не отдельно взятых норм (*“the capacity to generate fidelity to the rule of law itself”*) [Brunnée, Тооре 2010:53]. В свою очередь, средством поощрения приверженности международному праву (*“a means to encourage fidelity towards international law”*) является *убеждение* – ключевой метод в аргументативной практике [Hughes 2019:842-843].

Британский практикующий юрист-международник К. А. Томас двинулся несколько дальше, его идею о разделении легитимности на три взаимодополняющих вида можно изложить следующим образом: 1) легитимность в правовом понимании (*“legal legitimacy”*) подразумевает наличие нормативных рамок, обуславливающих обязанность подчинения определенным правилам; 2) легитимность в моральном измерении (*“moral legitimacy”*) означает, что осуществление политической власти одним актором над другим может

быть легитимно в силу оправданности с моральной точки зрения; 3) легитимность как социальный факт (*“social legitimacy”*) – это свойство, проецируемое на действие, норму или систему в результате убеждения субъекта в том, что они являются морально и юридически легитимными [Thomas 2013:7-16; Thomas 2014:734-742].

Выдвигаются весьма спорные, даже, наверное, оторванные от реальности теории, обосновывающие стратегии легитимации в международном праве: 1) довольно шаткая концепция о космополитическом понимании международного права как права всего человечества (*“the law of humankind”*), разделяющего некие общие фундаментальные ценности и интересы, а потому не нуждающегося в дополнительном обосновании своей легитимности; 2) идея о международном праве как «глобальном праве» (*“global law”*), на основе которого некие независимые представители национальных правительств осуществляют «глобальное управление» (*“global governance”*); 3) классическая нормативно-догматическая интерпретация «легитимности» в качестве «легальности» (*“legitimacy as legality”*), когда решения принимаются субъектами международного права на основе и в соответствии с его положениями; 4) толкование легитимности как ответственности и разумности, обоснованности, рациональности (*“accountability and reasonableness”*) в рамках концепции глобального конституционализма [Dellavalle 2022:14-21].

Многие публикации по вопросу легитимации подготовлены экспертами в сфере политических наук (международных отношений), поэтому в основании их лежат прежде всего политологические и социологические концепции. Так, в статье под названием «Легитимация международного управления: дискурсивный подход» немецкий политолог Й. Штеффек рассуждает о том, «как международные организации легитимируют свою деятельность», опираясь на теорию «рационального правового господства» немецкого социолога М. Вебера [Weber 1960¹³] и на идею немецкого философа и социолога Ю. Хабермаса о легитимации через оправдание (*“Rechtfertigung”*) [Steffek 2003:249-275; Habermas 2019; Lefkowitz 2020:109-111]. На легитимации своей деятельности международными универсальными и

¹³ Согласно М. Веберу, легитимность политического порядка детерминирована верой его субъектов в обязательность подчинения нормам права.

региональными организациями сфокусированы и некоторые работы иных авторов, например, «Международные организации, легитимность и легитимация» [Zaum 2013:3-25] или «Легитимация и Совет Безопасности ООН» [Welsh, Zaum 2013:65-87], в которых также заметно уделение приоритетного внимания этическому и социальному компонентам проблематики.

2.2. Подходы к определению и толкованию понятия «легитимация» в международном праве

Перечисленные выше изыскания, в том числе междисциплинарные, хотя они и посвящены смежной тематике, не раскрывают достаточно ясно и полно сущность, промежуточные этапы, подходы к интерпретации самого процесса, который хотелось бы обозначить как «международно-правовая легитимация», в конечном счете направленного на достижение, признание или подтверждение *легитимности* какой-либо международно-правовой позиции государства, включая его действие (или бездействие). Иначе говоря, предмет исследования в данной статье

весьма конкретно ограничен вышеуказанным специфичным, на первый взгляд, значением – значением цели международно-правовой политики государства, заключающейся в «*легитимации* его позиции» (“à légitimer leur position” [de Lacharrière 1983:13-22; Virally 1990:123-131; Pellet, Miron, Forteau, Nguyen, Daillier 2022:119-144]).

Обратившись к анализу *практики МС ООН*, обнаружено, что на данный момент термин «*легитимация*» (“*legitimation/legitimization/legitimation*”) не является общеприменимым в документах, принимаемых Судом¹⁴. Однако употребляется термин “*justification*”¹⁵ (“*legitimate justification*”¹⁶ – «легитимное обоснование», “*sufficient justification*”¹⁷ – «достаточное обоснование», “*convincing justification*”¹⁸ – «убедительное обоснование», “*legal justification*”¹⁹ – «правовое обоснование», “*historical justification*”²⁰ – «историческое обоснование») в значении обоснованности, или оправданности, которая оценивается по трем критериям: 1) разумность; 2) объективность; 3) направленность на достижение легитимной (например, общественно полезной) цели²¹. В свою очередь, под понятием «*разумность*» МС

¹⁴ Хотя, например, в вышеуказанном значении встречается употребление терминов “*legitimation*” и “*legitimize*” в «Комментарии к Уставу ООН», подготовленном под редакцией судьи МС ООН Б. Зиммы. См.: [The Charter ... 1994:66, 118].
¹⁵ См., напр.: Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation). Judgment of 2 February 2024. I.C.J. Para 75. P. 40: “*Justification for its actions under other rules of international law*”. URL: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/182/182-20240202-jud-01-00-en.pdf> (accessed date: 21.02.2024).

¹⁶ См., напр.: Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Qatar v. United Arab Emirates). Preliminary Objections. Judgment of 4 February 2021. I.C.J. Reports 2021. P. 105. Para 103. URL: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/172/172-20210204-JUD-01-00-EN.pdf> (accessed date: 21.02.2024).

¹⁷ См.: Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar). Order of 18 May 2020. I.C.J. Reports 2020. P. 76. URL: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/178/178-20200518-ORD-01-00-EN.pdf> (accessed date: 21.02.2024); Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya). Application to Intervene, Judgment of 14 April 1981. I.C.J. Reports 1981. P. 11. Para 15: “*A proper or sufficient justification*” («надлежащее или достаточное обоснование»). URL: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/63/063-19810414-JUD-01-00-EN.pdf> (accessed date: 21.02.2024).

¹⁸ См., напр.: Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia). Judgment of 3 February 2015. I.C.J. Reports 2015. P. 136. Para 468. URL: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/118/118-20150203-JUD-01-00-EN.pdf> (accessed date: 21.02.2024).

¹⁹ См., напр.: Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua). Judgment of 13 July 2009. I.C.J. Reports 2009. P. 254. Para 104. URL: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/133/133-20090713-JUD-01-00-EN.pdf> (accessed date: 21.02.2024); Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America). Judgment 6 November 2003. I.C.J. Reports 2003. P. 186. Para 51. URL: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/90/090-20031106-JUD-01-00-EN.pdf> (accessed date: 21.02.2024); Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia). Judgment 25 September 1997. I.C.J. Reports 1997. P. 62. Para 97. URL: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf> (accessed date: 21.02.2024).

²⁰ См.: Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya). Judgment of 24 February 1982. I.C.J. Reports 1982. P. 71. Para 95. URL: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/63/063-19820224-JUD-01-00-EN.pdf> (accessed date: 21.02.2024).

²¹ Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem. Advisory Opinion of 19 July 2024. I.C.J. P. 56. Para 191: “*Justified, in that it is reasonable and objective and serves a legitimate public aim*”. URL: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20240719-adv-01-00-en.pdf> (accessed date: 25.07.2024); Judgment No. 2867 of the Administrative Tribunal of the International Labour Organization upon a Complaint Filed against the International Fund for Agricultural Development, Advisory Opinion of 1 February 2012. I.C.J. Reports 2012. P. 27. Para 39: “*Justified on objective and reasonable grounds*”. URL: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/146/146-20120201-ADV-01-00-EN.pdf> (accessed date: 21.02.2024).

ООН понимает «наличие обоснования на рациональных началах»²².

Таким образом, хотя термин «легитимация» для международного права и не является новым, в научной литературе, равно как и в правоприменительной практике, пока не закрепилось его четкого, однозначного определения. Дискуссии по этому поводу привели даже к, по сути, параллельному сосуществованию, на первый взгляд, взаимоисключающих коннотаций. В связи с этим считаем целесообразным рассмотреть и сравнить словарные дефиниции исследуемого понятия.

1. Так, в авторитетном и наиболее распространенном в англоязычной литературе Юридическом словаре Блэка (*Black's Law Dictionary, 1968*) приводятся следующие определения: «*легитимация* – это придание легитимного или правомерного характера тому, что изначально таковым не являлось»; «*легитимировать* – делать правомерным; придавать легитимность (правомерность)»; «*легитимный* – правомерный, разрешенный, признанный нормами права, соответствующий нормам права» [Black's ... 1968:1046].

2. В издании того же словаря 2009 г. (*Black's Law Dictionary, 2009*) *легитимация* названа «актом придания чему-либо правомерного характера; санкционированием, получением разрешения» [Black's ... 2009:984].

3. Согласно Энциклопедии Макса Планка по международному публичному праву (*Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2011*), понятие «*легитимация*» определяется

как «признание правомерным/обоснование/оправдание», т. е. оно синонимично понятию «*justification*»²³.

4. По дефиниции Кембриджского международного словаря английского языка (*Cambridge Dictionary, 2024*) термин «*легитимация*» (“*legitimation*”, также “*legitimatization*”) означает «действие или результат придания чему-либо правомерного (легитимного) характера, а именно считающегося обоснованным, целесообразным, допустимым, приемлемым»²⁴, т. е. это процесс приведения какого-либо действия, акта, решения и т. п. в соответствие с действующими нормами права.

5. В Оксфордском словаре английского языка (*Oxford English Dictionary, 2024*): исследуемый термин определен как «обоснование и/или признание политического полномочия»; «соответствие нормам права»; «процесс придания справедливого или приемлемого характера (обоснованность)»²⁵.

6. Наиболее лаконичная формулировка содержится в Большом юридическом словаре (2003 г.) – «*придание легитимности*»²⁶.

7. Вместе с тем следует обратить внимание на то, что в Большом юридическом словаре 2010 г., в Юридическом словаре справочно-правовой системы «ЗаконПрост», в Большом энциклопедическом словаре, а также в Современном экономическом словаре под термином «*легитимация*» («от лат. *legitimus* – законный, правомерный») понимается не придание, а «*признание или подтверждение законности (легитимности) какого-либо права или полномочия*»²⁷. Анало-

²² Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America). Judgment of 30 March 2023. ICJ. P. 45. Para 146: “The term “unreasonable” means lacking in justification based on rational grounds”. URL: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/164/164-20230330-JUD-01-00-EN.pdf> (accessed date: 25.07.2024).

²³ Wolfrum R. Legitimacy in International Law. – *Max Planck Encyclopedia of Public International Law [MPEPIL]*, March 2011. URL: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1960> (accessed date: 20.08.2023).

²⁴ Cambridge Dictionary. Cambridge University Press & Assessment 2024. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/legitimation> (accessed date: 20.08.2023).

²⁵ Oxford English Dictionary. 2024 Oxford University Press. URL: https://www.oed.com/dictionary/legitimation_n?tab=factsheet#39649646 (accessed date: 20.08.2023).

²⁶ Большой юридический словарь. А.Я. Сухарев, В.Е. Крутских, А.Я. Сухарева. М.: Инфра-М. 2003. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15830> (дата обращения: 19.08.2023).

²⁷ Большой юридический словарь. А.Б. Борисов. М.: Книжный мир, 2010. С. 329. – *Библиотека профессиональных словарей*. Режим доступа: по подписке. URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89863> (дата обращения: 20.08.2023); Юридический словарь – *Справочно-правовая система «ЗаконПрост»*. URL: <http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/l/legitimaciya> (дата обращения: 20.08.2023); Большой энциклопедический словарь. Гл. ред. А.М. Прохоров. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Большая российская энциклопедия; СПб.: Норинт, 2000. 1434 [21] с. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/176954> (дата обращения: 20.08.2023); Современный экономический словарь. Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М, 1999. 479 с. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/8434 (дата обращения: 20.08.2023).

гичная точка зрения отражена в Историческом словаре галлицизмов русского языка (2010 г.): «Подтверждение или признание за кем-либо какого-либо права»²⁸.

Это означает, что в отечественном научном обороте за понятием «легитимация» не закрепились значение оправдания чего-либо изначально неправомерного, а, скорее, имеется в виду обоснование правомерности того, что на первый взгляд не является *очевидно правомерным* по ряду зачастую субъективных причин, но некоторым кажется *правдоподобным*. Иными словами, речь идет о необходимости проведения юридической экспертизы для проверки на соответствие действующим нормам права, приведения доказательной аргументации в целях оказания влияния на международное правосознание, убеждения большинства в правильности и корректности используемых, в частности, международно-правовых доводов. Ведь если бы международное право, равно как и национальное право, не обладало свойствами нормативности и конкретности, оно бы превратилось, по выражению М. Коскенниemi, в «фасадную легитимацию» (“*a façade legitimation*” [Koskenniemi 2012:12]) достижений политической власти, обеспечивая лишь «видимость обоснованности и легитимации того, что государства выбирают делать» (“*a semblance of justification and legitimation for what states choose to do*” [Higgins 1995:15]).

Формируя собственное видение понятия «легитимация» в международном праве, предлагаем к рассмотрению разработанную нами типологию подходов к определению данного понятия: **нигилистический** (оправдание изначально неправомерного, «подгонка» юридической аргументации), **идеалистический** (признание или подтверждение законности (легитимности) какого-либо права или полномочия) и **компромиссный** (санкционирование, получение разрешения, приведение в соответствие с действующими нормами права). Для целей исследования автором были восприняты и адаптированы концепции правового нигилизма (означающего, проще говоря, недооценку права) и правового идеализма (закрывающегося, напротив, в его переоценке), а затем сконструировано некое среднее, промежуточное, компромиссное звено. На наш взгляд, *нигилистический подход* к определению

термина «легитимация», по сути, низводит международное право, подрывает его авторитет как регулятора межгосударственных отношений, поскольку исходит из изначальной неправомерности, несоответствия нормам международного права уже свершенных действий. Можно сказать, предпринимается попытка их замаскировать, затушевать под легитимные. Так, даже в западной международно-правовой литературе, особенно в новейших исследованиях, обращается внимание на возможность рассмотрения легитимации с двух разных ракурсов: как «основанную на не жестких и вольных правилах» (“*open and loosely rule-based*”) или как «верховенство права». Причем утверждается, что после Второй мировой войны США удалось создать такой правовой порядок, который одновременно основан как на выполнении команд Вашингтона (гегемона), так и на согласии государств (“*command-based and consent-based*”) [Orakhelashvili 2020:231].

Вместе с тем данный подход становится мощным внешнеполитическим инструментом ряда (прежде всего западных) стран для запуска процесса выработки по методу «мозгового штурма» изобретательных, креативных, тщательно продуманных подходов к обоснованию того или иного политического решения в целях защиты как актуальных, так и рассчитанных на перспективу национальных интересов. Такой инструмент служит существенным, практически неотъемлемым элементом международно-правового механизма легитимации, в частности, военных действий США на территориях иностранных государств. При этом следует отметить, что со временем указанный подход эволюционировал и начал носить *предупредительный характер*, т. е. проводятся *заблаговременная* юридическая оценка рисков и синтез или разработка новых надлежащих международно-правовых доводов для обоснования и убеждения большинства государств мира в правомерности пока еще только планируемого политического шага.

Идеалистический подход к определению термина «легитимация» исходит из искренней убежденности в том, что при помощи принятия соответствующего, грамотно подготовленного, правового документа можно разрешить любое противоречие, заполнить любой обнаруженный пробел, обосновать любое политическое решение

²⁸ Исторический словарь галлицизмов русского языка. Н.И. Епишкин. М.: ЭТС. 2010. 5140 с. URL: <https://gallicismes.academic.ru/22063/легитимация> (дата обращения: 19.08.2023).

или действие. При этом следует иметь в виду, что такое понимание все же подразумевает толкование термина «легитимация» в исключительно положительном ключе как процесс, в результате которого достигается или подтверждается некое фундаментальное, неопровержимое, надежное качество (статус).

Компромиссный подход имеет оттенок *уступительности*, т. е. наличия какого-либо несоответствия, недостаточности оснований, вследствие чего делается некое исключение, пусть и имеющее весомое оправдание для отхода от действующих норм права по общему правилу в данном конкретном случае. При таком подходе наиболее комплексным определением понятия «легитимация» можно считать «*признание, подтверждение, принятие или оправдание существующего или желаемого и, по сути, фактического положения дел*» [Schwarzenberger, Brown 1976:560].

Таким образом, напрашивается вывод о многогранности и неоднозначности понимания термина «легитимация» в международном праве в настоящее время. Этим обусловлено предпочтение в зарубежном англоязычном правовом дискурсе компромиссного подхода к толкованию сущности процесса легитимации. Предложенная типология подходов к интерпретации анализируемого понятия отражает авторский взгляд на проблему, не является абсолютной и носит отчасти условный характер, поскольку на практике высока вероятность смешения нигилистического, идеалистического и компромиссного подходов в различных вариациях их сочетания, в том числе в результате адаптации к конкретной международно-правовой ситуации. Вместе с тем следует признать отсутствие долгосрочной заинтересованности государств в доминировании нигилистического подхода, в целом подрывающего основы, на которых зиждется международное право, и возникновение закономерной тенденции к его трансформации в компромиссный подход, хотя зачастую и носящей чисто формальный характер.

2.3. Содержание и структурные элементы понятия «международно-правовая легитимация»

На наш взгляд, структуру процесса международно-правовой легитимации в его системном, комплексном понимании можно изложить

следующим образом. По аналогии с любым иным видом деятельности *субъектом легитимации* будет тот, кто предпринимает определенные действия для достижения цели в виде подтверждения или признания легитимности объекта легитимации (обычно это классический и главный субъект международного права – государство). *Объект легитимации* – это то, на что направлены действия субъекта, – т. е. международно-правовая позиция государства, говоря обобщенно. *Методом и средством легитимации* служит международно-правовая политика государства. *Основанием легитимности* объекта легитимации в строгой интерпретации являются нормы и принципы права, однако им могут выступать и чаще всего выступают различные вырабатываемые теории, концепции, которые могут быть не только правовыми, но и политическими, политико-правовыми, политико-социологическими, обусловленными с точки зрения морали и т. д. и которые восприняты и приняты в результате согласования волей государств. Соответственно, преследуемая *цель* и достигнутый *результат* в идеале должны совпадать в виде оказания нужного воздействия на общее международное правосознание и подтверждения или признания легитимности позиции государства (его поведения, действия, бездействия), убеждения в правильности и правомерности причины предпринятого действия, избранной позиции.

Предельно обобщая, легитимация – это состоящий из определенных действий процесс, нацеленный на то, чтобы субъекты международного права поверили в нормативную легитимность объекта легитимации. Вопреки распространенному мнению, легитимация необязательно носит характер *сознательных, намеренных* усилий по влиянию на убеждения и взгляды о том, что является нормативно оправданным: *бессознательное*, можно сказать, *инертное*, воспроизведение широко распространенных нарративов легитимности тоже будет представлять собой процесс легитимации²⁹ (это два вида международно-правовой легитимации по критерию *наличия воли*).

Предлагаем также классифицировать международно-правовую легитимацию на три вида по *временному* критерию: *ante factum* (заблаговременная), *eodem tempore* (параллельная) и *post factum* (ретроспективная).

²⁹ См. также: [Thomas 2013:16; Thomas 2014:742].

Акты легитимации объясняют, как государства принимают и адаптируют определенное мировоззрение, способствующее формированию внешней политики в соответствии с доминирующим набором идей и убеждений о том, что является оправданным, рациональным, а значит – легитимным – поведением [Becker 2010:134]. Факт легитимации международно-правовой позиции означает, что международное сообщество принимает и признает международно-правовые идеи этого государства как соответствующие международному праву и одновременно отвечающие потребностям настоящего времени. Причем *убеждение* считается стержневым методом для тех международных акторов, которые как раз «стремятся содействовать уважению международного права» [Ratner 2012:568].

Современный американский исследователь Д. Бодански считает, что *признание* процесса принятия решения *легитимным* служит третьим основанием, объясняющим соблюдение нормы права, наряду со *страхом санкции* и наличием *рационального убеждения* в правильности этого решения. При этом легитимность включает в себя идею *уважения* (“*deference*”), в отличие от рационального убеждения, и имеет *нормативный характер*, в отличие от принуждения. Поэтому *легитимация* способна не просто называть причину для совершения действия, а *оправдывать, обосновывать* его. Возвращаясь к спорному вопросу о содержательном объеме понятий «легитимность» и «легальность» (или «законность»), правовед предлагает рассматривать понятие «легитимность» как более широкое, поскольку вопросы легитимности затрагиваются даже тогда, когда речь идет о правилах поведения, не имеющих обязательной силы, законность же является лишь одним из возможных оснований для осуществления власти, но осуществление властного полномочия возможно и вне правовой системы в принципе. Еще одним отличительным свойством легитимности называется ее функционирование в связке с личными, корыстными

интересами международных акторов (“*self-interest and legitimacy work in tandem*”)³⁰ [Bodansky 2008:310-312].

Известный британский ученый-правовед М. Шоу в считающемся в западной литературе классическим учебнике по международному праву указывает на необходимость гибкого подхода к толкованию *opinio juris* (убеждение государств в юридической обязательности правил поведения³¹) (“*need for flexible view of opinio juris*”) как на предпосылку для развития международного права, чтобы оно не становилось «застывшим» (“*stultified*”). Таким образом, формирование *opinio juris* можно рассматривать как фактор, обуславливающий *легитимацию* международно-правовой позиции государства, поскольку от того, как отреагируют другие субъекты международного права на поведение этого государства, будет зависеть, примут или отвергнут его в качестве правомерного. Из этого правовед выводит, что жесткие определения *легальности* должны быть изменены, чтобы понять, можно ли обеспечить *легитимность* деятельности государства или нет (“*the legitimating stamp of state activity*”). Действие государства будет оправдано (“*vindicated*”), если другие государства последуют его примеру и, соответственно, будет установлена новая норма обычного права. Если же другие государства отвергнут это предложение, то «проектируемое правило исчезает, а первоначальное правило остается в силе, подкрепленное практикой государств и общим признанием». Важным условием является, однако, мотивация государства: ведя себя определенным образом, оно должно полагать, что это соответствует положениям международного права [Shaw 2021:73-74].

Среди работ отечественных правоведов примечательным представляется использование профессором И.И. Лукашук термина «*морально-политическая легитимация*» поведения государств в документах международных организаций [Лукашук 2005:211-212], а также

³⁰ Например, одним из факторов, определяющих легитимность деятельности международной организации, является ее способность гарантировать, что она будет осуществлять свои полномочия таким образом, чтобы это отвечало интересам ее создателей, т.е. государств как основных субъектов международного права. Важно осознавать и то, что обретение легитимности каким-либо правовым институтом – это постепенный процесс, состоящий в накоплении опыта, оценке эффективности и результативности деятельности, поэтому для формирования этого качества требуется время [Bodansky 2008:315].

³¹ См.: Международное право. Учебник для вузов. А.Н. Вылегжанин [и др.]. Отв. ред. А.Н. Вылегжанин. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт. 2024. С. 64-65.

с отчетливым оттенком негативной коннотации термина «моральная легитимация» поведения государств общественностью [Лукашук 2005:116-118], не обладающей для этого достаточными международно-правовыми знаниями.

Как отмечают А.Н. Вылегжанин и О.С. Магомедова, с лингвистической точки зрения международно-правовая легитимация означает «подтверждение соответствующего статуса, полномочий на основе международного права». «Внешняя легитимация» действий и позиций государства, являясь «основной целью его международно-правовой политики», предполагает «убеждение других государств» в соответствии данной конкретной позиции применимому международному праву, «допускает правомерность» такого поведения, а также юридической аргументации, обуславливающей такое допущение. Продуманная международно-правовая политика направлена на «легитимацию правового обоснования» поведения государства, результатом которой должен стать «рост убеждения в необходимости» такого поведения [Вылегжанин, Магомедова 2022:116-117].

Необходимо также иметь в виду, что в российской международно-правовой науке есть точка зрения, отвергающая определение термина «легитимация» в изложенном выше ключе. В частности, профессор С.В. Черниченко считает *легитимацию* (наряду с инкорпорацией и отсылкой) исключительно одним из способов осуществления *трансформации* – механизма взаимодействия международного и внутригосударственного права. Таким образом, легитимация понимается как «принятие особого внутригосударственного акта с целью обеспечения выполнения государством норм международного права или индивидуальных международно-правовых установок». Вместе с тем признается, что в этом значении термин «легитимация» не является общепризнанным, «прижившимся», а используется лишь «для краткости» [Черниченко 2014:199-201].

В современных исследованиях осуществляются также попытки адаптировать теорию коммуникативного действия Ю. Хабермаса [Habermas 1981] к процессу легитимации международно-правовой позиции государства относительно применения силы в виде так называемой теории «*совещательной легитимности*» (“*deliberative legitimacy*”). Ее суть сводится к восприятию процесса международно-правовой легитимации в качестве «*коммуникативного взаимодействия*» между субъектами международного права, основанного на логике *аргументации*, т. е. убеждения друг друга с целью достижения консенсуса относительно соответствия выдвигаемых утверждений фактическим обстоятельствам, моральной правильности норм, лежащих в основе аргументов [Bjola 2005:276-281; Hardy 2014:1-17].

В рамках более масштабного, практико-ориентированного исследования опыта зарубежных (прежде всего западных) стран во главе с США по международно-правовому сопровождению применения вооруженных сил за рубежом, выявления и формулирования международно-правового механизма легитимации военных действий на территориях иностранных государств³² обнаружено такое мнение, что «коллективная легитимация» (“*collective legitimization*”) влияет на принятие государством решения касательно участия в коалициях под руководством США. Практика показывает, что успех легитимации может зависеть от количества партнеров по коалиции³³, причем государства с большей готовностью присоединяются к коалициям, «легитимизированным Советом Безопасности ООН» (“*legitimized by the UN Security Council*”) [Eichenberg 2005:146; Tago 2007:186, 195-196]. Еще раз акцентируем внимание на том, что в процессе адаптации к меняющимся реалиям геополитики и международного права коллективная легитимация стала одной из основных политических функций ООН как средство «политически значимого одобрения или неодобрения» поведения и позиций государств,

³² Его теоретическая основа представлена, в частности, в настоящей научной статье. См. подробнее, напр.: [Вылегжанин, Корженяк 2025а; Вылегжанин, Корженяк 2025б] и др.

³³ Даже в Стратегии национальной безопасности США от 12 октября 2022 г. (самой свежей на данный момент, принятой администрацией Дж. Байдена) принципиально важной задачей указана «мобилизация максимально широкой коалиции государств для усиления коллективного влияния» (“*mobilize the broadest coalition of nations to enhance our collective influence*”). См.: National Security Strategy, October 12, 2022. The White House, Washington. URL: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/11/8-November-Combined-PDF-for-Upload.pdf> (accessed date: 03.03.2023).

признания их легитимными или нелегитимными (*“the legitimating role of the United Nations”*) [Claude 1966:367-379; Schwarzenberger 1976:164; Chesterman, Johnstone, Malone 2016:465].

3. Заключение

В результате проведения настоящего исследования автор пришла к следующему теоретико-практическому выводу. Государство по различным вопросам формулирует свою *международно-правовую позицию* относительно приемлемых для него подходов к своему участию в международных правоотношениях, выбору средства или метода регулирования того или иного международного правоотношения или практики обеспечения исполнения какой-либо международно-правовой нормы (например, к оценке правомерности применения вооруженной силы за рубежом). В соответствии с этой позицией государство выстраивает свою *международно-правовую политику* в данной области. Следующим необходимым этапом становится легитимация конкретной *международно-правовой позиции* государства в международном сообществе при помощи специально для этого разработанного *международно-правового механизма*, который предполагает некую последовательность шагов (зачастую моделирование нескольких альтернативных или параллельных сценариев), нацеленных на распространение, признание, одобрение и принятие отстаиваемых этим государством идей и убеждений большинством членов международного сообщества. Процесс *международно-правовой легитимации* может интерпретироваться широко как часть общего социально-политического дискурса по обоснованию правомерности институционального порядка, так и узко – как действия, направленные на достижение легитимного результата в рамках отстаивания конкретных стратегических интересов.

На фоне масштабной и мощной «юридической агрессии» Запада против России, используемой в качестве рычага политического влияния, феномен международно-правовой легитимации государством своих действий зачастую ставит ребром вопрос о необходимости проявить смелость, изобретательность и даже креативность в формулировании международно-правовых

позиций в той или иной сфере, которые могут идти вразрез с устоявшимися или доминирующими представлениями о толковании норм и принципов международного права или о правоприменительной практике. Это свидетельствует о насущной потребности в интеллектуальном импульсе, качественном рывке, который способна и должна сделать отечественная международно-правовая наука в целях укрепления своей центральной роли в процессе создания основополагающего каркаса для принятия политических решений.

Как нам представляется, нет никакой содержательной новизны в констатации в очередной раз того, что в идеальном мире (или, как однажды выразился Дж. Кроуфорд, мире, несуществующем по определению, – *“a world by definition nonexistent”* [Crawford 2004:273]³⁴) все проблемы решило бы неукоснительное соблюдение всеми субъектами международного права его принципов и норм. Международное право, в свою очередь, тоже не является идеальной конструкцией, это «продукт игры сил и интересов, обусловленной материальными фактами и восприятием потребностей и ценностей», причем наличие «трений между требованиями и возможностями, а также соотношение сил придают форму и направление правовым принципам и нормам», поэтому международное право «отражает и поддерживает существующее распределение власти и политический порядок» [Schachter 1999:205]. Как заметила британский юрист-международник, в свое время председатель Международного Суда ООН, Р. Хиггинс, сущность международного права кроется в принятии решений теми, кто управомочен их принимать, при совпадении наличия правомочия, авторитета, силы и власти (*“decision-making by authorized decision-makers”* [Higgins 1995:15]).

Поэтому, на наш взгляд, непосредственная и активная вовлеченность России в процесс конструирования общей модели международно-правового механизма легитимации позиций государств с опорой на генерацию идей отечественными юристами-международниками позволит обеспечить состязательность, конкурентоспособность международно-правовой политики России, чтобы ее международно-правовые позиции могли действительно претендовать на роль доминирующих,

³⁴ См. также: [Alter, Li 2024:94-112].

прогрессивных, чтобы этот общий механизм обладал средствами разумного сдерживания расшатывающих и подрывающих международно-правовую систему проявлений инструментального использования государствами международного права, позволяющими сохранять ее жизнеспособность в целом. Иначе говоря, саму систему поможет укрепить придание ей сбалансированно гибкого характера, чтобы она не потеряла свой смысл, полезность и ценность, не могла быть разболтана после первого же случая практической реализации инструментального подхода к международному праву. Но, наверное, ведущую роль в этом процессе стоит отдать именно юристам-международникам, а не политикам и дипломатам, чтобы *“good international lawyering”* («компетентная юридическая деятельность в области международного права») стала неотъемлемой частью *“good legitimizing”* («качественного процесса легитимации») [Crawford 2004:272].

Первым шагом на этом пути могла бы стать разработка и апробация международно-правового механизма легитимации международно-правовой позиции России относительно СВО России на Украине. Принимаемые до сих пор дипломатические меры по дезавуированию шести (на текущий момент) резолюций ГА ООН, квалифицирующих Россию в качестве *«агрессора»*, не отличаются особой действенностью: простого выражения несогласия явно недостаточно. Требуется качественно новый, комплексный механизм, способный привести к отмене решения о такой квалификации, переломить преобладающее на данный момент прозападное международное правосознание.

Как показано в настоящем исследовании, подчеркнем, что нет никаких оснований бояться термина «легитимация», запуск этого механизма вовсе не тождественен оправданию изначально неправомерного, по определению не подразумевает «подгонку» юридической аргументации. Напротив, это подтверждение легитимности, обоснование правомерности предпринятых действий, их соответствия положениям международного права. Причем сейчас это как никогда необходимо сделать в формате, доступном для общественного правосознания. И именно в наших интересах разобраться, в чем заключается эта доступность, от чего она зависит и как суметь на нее повлиять. В идеале легитимация должна носить *предупредительный характер*, т. е. следует *заблаговременно* проводить юридическую оценку рисков, разрабатывать новые надлежащие международно-правовые доводы для обоснования и убеждения большинства государств мира в правомерности пока еще только планируемого политического шага.

Важным также представляется анализ практики международно-правовой легитимации своих действий конкретными государствами, их «индивидуальных международно-правовых установок» [Черниченко 2014:17], не только в целях изучения и потенциального перенятия их опыта, но и для обучения прогнозированию, предвидению дальнейших международно-правовых маневров той или иной страны, чтобы иметь возможность своевременно отреагировать на них надлежащим образом.

Список литературы

1. Вылегжанин А.Н., Корженяк А.М. 2025а. Механизм международно-правовой легитимации вооруженного вторжения США в Ирак в 2003 г.: уроки на будущее (часть 1). – *Вестник Санкт-Петербургского университета. Право*. № 1 (в печати).
2. Вылегжанин А.Н., Корженяк А.М. 2025б. Механизм международно-правовой легитимации вооруженного вторжения США в Ирак в 2003 г.: уроки на будущее (часть 2). – *Вестник Санкт-Петербургского университета. Право*. № 2 (в печати).
3. Вылегжанин А.Н., Магомедова О.С. 2022. Международно-правовая политика государства. Современные концепции. – *Международные процессы*. № 3. С. 112-126. DOI: <https://doi.org/10.17994/IT.2022.20.3.70.7>.
4. Данельян А.А., Оганесян Т.Д. 2024. Международный уголовный суд и иммунитет. – *Электронное сетевое издание «Международный правовой курьер»*. URL: https://inter-legal.ru/mezhdunarodnyj-ugolovnyj-sud-i-immunitet/#_ftnref1 (дата обращения: 06.03.2024).
5. Лукашук И.И. 2005. *Международное право. Общая часть*. Учеб. для студентов юрид. фак. и вузов. Изд. 3-е, перераб. и доп. Москва: Волтерс Клувер. 432 с.
6. *Проблемы правомерности деятельности Международного уголовного суда: Заключение Международно-правового совета при МИД России*. Перевод А.М. Корженяк, В.В. Пчелинцевой (МГИМО МИД России). 2024. Москва: Дипломатическая академия МИД России. 64 с.
7. Томсинов В.А. 2016. *«Крымское право», или Юридические основания воссоединения Крыма с Россией*. Москва: ИКД Зерцало-М. 132 с.
8. Черниченко С.В. 2014. *Контуры международного права. Общие вопросы*. Москва: «Научная книга». 592 с.
9. Alter K.J., Li J. 2024. Chinese and Western Perspectives on the Rule of Law and their International

- Implications. – *The Cambridge Handbook of China and International Law*. Ed. by I. de la Rasilla and C. Cai. Cambridge University Press. P. 94-112. DOI: <https://doi.org/10.1017/9781009041133.007>.
10. Apffelstaedt K., Schrage S., Gilbert D. U. 2023. Multi-Stakeholder Initiatives and Legitimacy: A Deliberative Systems Perspective. – *Business Ethics Quarterly*. Published online by Cambridge University Press. P. 1-34. DOI: <https://doi.org/10.1017/beq.2023.12>.
 11. d'Aspremont J., De Brabandere E. 2011. The Complementary Faces of Legitimacy in International Law: The Legitimacy of Origin and the Legitimacy of Exercise. – *Fordham International Law Journal*. Vol. 34. Issue 2. Article 3. P. 190-235.
 12. Becker B. 2010. The New Legitimacy and International Legitimation: Civilization and South African Foreign Policy. – *Foreign Policy Analysis*. Vol. 6. Issue 2. P. 133-146. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1743-8594.2010.00105.x>.
 13. Bjola C. 2005. Legitimizing the Use of Force in International Politics: A Communicative Action Perspective. – *European Journal of International Relations*. Vol. 11. Issue 2. P. 266-303. DOI: <https://doi.org/10.1177/1354066105052968>.
 14. *Black's Law Dictionary. Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. Revised fourth edition by the publisher's editorial staff. 1968. St. Paul, Minn. West Publishing Co. 1882 p.
 15. *Black's Law Dictionary*. 9th ed. Bryan A. Garner (Editor in Chief). 2009. West, a Thomson Reuters. 1920 p.
 16. Bodansky D. 1999. The Legitimacy of International Governance: A Coming Challenge for International Environmental Law? – *American Journal of International Law*. Vol. 93. Issue 3. P. 596-624. DOI: <https://doi.org/10.2307/2555262>.
 17. Bodansky D. 2008. The Concept of Legitimacy in International Law. – *Legitimacy in International Law. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht*. Band 194. Ed. by R. Wolfrum and V. Röben. Springer, Berlin, Heidelberg. P. 309-317. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-77764-9_14.
 18. Bodansky D. 2012. Legitimacy in International Law and International Relations. – *Interdisciplinary Perspectives on International Law and International Relations: The State of the Art*. Ed. by J.L. Dunoff and M.A. Pollack. Cambridge University Press. P. 321-342. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9781139107310.016>.
 19. Briery J.L. 1963. *The Law of Nations. An Introduction to the International Law of Peace*. Sixth Edition. Revised by Waldock C.H.M. Oxford: Oxford University Press. 442 p.
 20. Brunnée J., Toope S. J. 2010. *Legitimacy and Legality in International Law: An Interactional Account*. Cambridge University Press. 411 p. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511781261>.
 21. Buchanan A. 2010. The Legitimacy of International Law. – *The Philosophy of International Law*. Ed. by S. Besson and J. Tasioulas. New York: Oxford University Press. P. 79-96.
 22. Buchanan A., Keohane R.O. 2006. The Legitimacy of Global Governance Institutions. – *Ethics & International Affairs*. Vol. 20. Issue 4. P. 405-437. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1747-7093.2006.00043.x>.
 23. Caron D.D. 1993. The Legitimacy of the Collective Authority of the Security Council. – *The American Journal of International Law*. Vol. 87. No. 4. P. 552-588. DOI: <https://doi.org/10.2307/2203616>.
 24. Chesterman S., Johnstone I., Malone D.M. 2016. *Law and Practice of the United Nations: Documents and Commentary*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press. 741 p.
 25. Claude I.L. 1966. Collective Legitimization as a Political Function of the United Nations. – *International Organization*. Vol. 20. Issue 3. P. 367-379. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0020818300012832>.
 26. Crawford J. 2004. The Problems of Legitimacy-Speak. – *Proceedings of the ASIL Annual Meeting*. Vol. 98. P. 271-273. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0272503700061425>.
 27. Dellavalle S. 2022. Legitimacy and Rationality in National and International Law-Making. – *European Society of International Law (ESIL) Paper Series*. P. 1-24. URL: <https://hdl.handle.net/1814/74559>.
 28. Eichenberg R.C. 2005. Victory Has Many Friends: U.S. Public Opinion and the Use of Military Force, 1981-2005. – *International Security*. Vol. 30. No. 1. 146. P. 140-177.
 29. Falk R. 2004. The Iraq War and the Future of International Law. – *Proceedings of the ASIL Annual Meeting*. Vol. 98. P. 263-266. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0272503700061395>.
 30. Falk R., Juergensmeyer M., Popovski V. 2012. *Legality and Legitimacy in Global Affairs*. Oxford University Press. 459 p.
 31. Franck T.M. 1988. Legitimacy in the International System. – *The American Journal of International Law*. Vol. 82. No. 4. P. 705-759. DOI: <https://doi.org/doi:10.2307/2203510>.
 32. Franck T.M. 1990. *The Power of Legitimacy among Nations*. Oxford University Press. 320 p.
 33. Franck T.M. 1995. *Fairness in International Law and Institutions*. Oxford University Press UK. 536 p.
 34. Habermas J. 1981. *Theorie des kommunikativen Handelns. Band I. Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung*. Frankfurt am Main, Suhrkamp. 534 p.
 35. Habermas J. 2019. *Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus (1973)*. Suhrkamp Verlag. 14. Auflage. 208 S.
 36. Hakimi M. 2022. Fractures in the Foundation: Is Waging Aggressive War Still Prohibited by International Law? – *Proceedings of the ASIL Annual Meeting*. Vol. 116. P. 87. DOI: <https://doi.org/10.1017/amp.2022.19>.
 37. Hardy J. 2014. Legitimacy in the Use of Force: Opinio or Juris? – *Proceedings of the Sixth Oceanic Conference on International Studies*. University of Melbourne. P. 1-17.
 38. Herdegen M. 2023. *Völkerrecht*. 22., überarbeitete und erweiterte Auflage. Grundrisse des Rechts. München: Verlag C.H.Beck. 553 s.
 39. Higgins R. 1995. *Problems and Process: International Law and How We Use It*. Oxford Scholarly Authorities on International Law, Clarendon Press. 304 p.
 40. Howse R. 2001. The Legitimacy of the World Trade Organization. – *The Legitimacy of International Organizations*. Ed. by J.-M. Coicaud and V. Heiskanen. Tokyo: UN University Press. P. 355-407.
 41. Hughes D. 2019. How States Persuade: An Account of International Legal Argument Upon the Use of Force. – *Georgetown Journal of International Law*. Vol. 50. No. 4. P. 839-946.
 42. Jongen H., Scholte J.A. 2024. Institutional Sources of Legitimacy in Multistakeholder Global Governance at ICANN. – *Regulation & Governance*. Vol. 18. Issue 3. P. 1018-1039. DOI: <https://doi.org/10.1111/rego.12565>.
 43. Kamminga M.T. 2023. Confiscating Russia's Frozen Central Bank Assets: A Permissible Third-Party Countermeasure? – *Netherlands International Law Review*. Vol. 70. P. 1-17. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40802-023-00231-7>.
 44. Koskenniemi M. 2007. "Not Excepting the Iroquois Themselves...": Machiavelli, Pufendorf and the Prehistory of International Law. European University Institute, Max Weber Programme, Max Weber Lecture Series. 41 p.

45. Koskenniemi M. 2009. Miserable Comforters: International Relations as New Natural Law. – *European Journal of International Relations*. Vol. 15. Issue 3. P. 395-422. DOI: <https://doi.org/10.1177/1354066109338229>.
46. Koskenniemi M. 2012. Law, Teleology and International Relations: An Essay in Counterdisciplinarity. – *International Relations*. Vol. 26. Issue 1. P. 3-34. DOI: <https://doi.org/10.1177/0047117811433080>.
47. Krahmann E. 2017. From Performance to Performativity: The Legitimization of US Security Contracting and its Consequences. – *Security Dialogue*. Vol. 48. Issue 6. P. 541-559. DOI: <https://doi.org/10.1177/0967010617722650>.
48. Kumm M. 2004. The Legitimacy of International Law: A Constitutionalist Framework of Analysis. – *European Journal of International Law*. Vol. 15. Issue 5. P. 907-931. DOI: <https://doi.org/10.1093/ejil/15.5.907>.
49. de Lacharrière G. 1983. *La Politique Juridique Extérieure*. Economica, Collection Enjeux Internationaux, Paris. 236 p.
50. Lefkowitz D. 2020. The Legitimacy of International Law. – *Philosophy and International Law: A Critical Introduction*. Cambridge Introductions to Philosophy and Law. Cambridge University Press. P. 98-128. DOI: <https://doi.org/10.1017/9781316481653.006>.
51. Legitimizing Decisions in International Economic Law. – *Establishing Judicial Authority in International Economic Law*. Ed. by J. Jemielniak, L. Nielsen, H.P. Olsen. 2016. Cambridge International Trade and Economic Law. Cambridge University Press. P. 213-319. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9781316544860>.
52. Luban D. 2010. Fairness to Rightness: Jurisdiction, Legality, and the Legitimacy of International Criminal Law. – *The Philosophy of International Law*. Ed. by S. Besson and J. Tasioulas. New York: Oxford University Press. P. 569-588.
53. Murase S. 2009. Unilateral Responses to International Terrorism: Self-defense or Law Enforcement? – *Multiculturalism and International Law*. Ed. by S. Yee and J. Morin. Leiden, The Netherlands: Brill | Nijhoff. P. 429-453.
54. Müllerson R.A. 2013. *Regime Change: From Democratic Peace Theories to Forcible Regime Change*. Nijhoff Law Specials. Vol. 84. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden | Boston. 247 p.
55. Müllerson R. A. 2017. *Dawn of a New Order. Geopolitics and the Clash of Ideologies*. I.B.Tauris, London | New York. 277 p.
56. O'Connell M.E. 2004. The End of Legitimacy. – *Proceedings of the ASIL Annual Meeting*. Vol. 98. P. 269-270. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0272503700061413>.
57. Opinion of the International Law Advisory Board, the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. Problems of Legality of the International Criminal Court (translation by graduate students V.V. Pchelintseva and A.M. Korzhenyak). 2024. – *Moscow Journal of International Law*. No. 2. P. 92-104.
58. Orakhelashvili A. 2020. *International Law and International Politics. Foundations of Interdisciplinary Analysis. Principles of International Law*. Edward Elgar Publishing. 304 p.
59. Pellet A., Miron A., Forteau M., Nguyen Q.D., Daillier P. 2022. *Droit International Public*. 9e éd. Paris: LGDJ, Lextenso. 2048 p.
60. Popovski V., Turner N. 2008. Legality and Legitimacy in International Order. – *United Nations University, Policy Brief*. No. 5. P. 1-8.
61. Quadri R. 1960. *Diritto internazionale pubblico*. III edizione. G. Priulla Editore Palermo. 653 p.
62. Ratner S.R. 2012. Persuading to Comply: On the Deployment and Avoidance of Legal Argumentation. – *Interdisciplinary Perspectives on International Law and International Relations: The State of the Art*. Ed. by J.L. Dunoff and M.A. Pollack. Cambridge University Press. P. 568-590. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9781139107310.028>.
63. Roberts A. 2008. Legality vs Legitimacy: Can Uses of Force be Illegal but Justified? – *Human Rights, Intervention, and the Use of Force, Collected Courses of the Academy of European Law*. Ed. by P. Alston and E. Macdonald. Oxford. P. 179-214. DOI: <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199552719.003.0005>.
64. Salmon J. 2001. *Dictionnaire de droit international public*. Bruylant. 1200 p.
65. Schachter O. 1999. The Role of Power in International Law. – *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*. Vol. 93. P. 200-205.
66. Schwarzenberger G., Brown E.D. 1976. *A Manual of International Law*. 6th ed. Professional Books Limited. 612 p.
67. Schwarzenberger G. 1976. *International Law as Applied by International Courts and Tribunals. Volume III. International Constitutional Law. Fundamentals – The United Nations – Related Agencies*. London, Stevens & Sons Limited. 680 p.
68. Shaw M.N. 2021. *International Law*. 9th ed. Cambridge: Cambridge University Press. 1308 p.
69. Slaughter A.-M. 2004. The Use of Force in Iraq: Illegal and Illegitimate. – *Proceedings of the ASIL Annual Meeting*. Vol. 98. P. 262-263. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0272503700061383>.
70. Steffek J. 2003. The Legitimation of International Governance: A Discourse Approach. – *European Journal of International Relations*. Vol. 9. Issue 2. P. 249-275. DOI: <https://doi.org/10.1177/1354066103009002004>.
71. Tago A. 2007. Why Do States Join US-Led Military Coalitions? The Compulsion of the Coalition's Missions and Legitimacy. – *International Relations of the Asia-Pacific*. Vol. 7. No. 2. P. 179-202. DOI: <https://doi.org/10.1093/irap/lcl001>.
72. Tasioulas J. 2011. Parochialism and the Legitimacy of International Law. – *Parochialism, Cosmopolitanism, and the Foundations of International Law*. Ed. by M.N.S. Sellers. Cambridge: Cambridge University Press. P. 16-39.
73. *The Charter to the United Nations: A Commentary*. Ed. by B. Simma. 1994. Oxford: Oxford University Press. 1258 p.
74. *The Kosovo Report: Conflict, International Response, Lessons Learned*. Independent International Commission on Kosovo. 2000. Oxford. 372 p. DOI: <https://doi.org/10.1093/0199243093.001.0001>.
75. *The Legitimacy of International Organizations*. Ed. by J.-M. Coicaud and V. Heiskanen. 2001. Tokyo: UN University Press. 578 p.
76. Thomas C. A. 2013. The Concept of Legitimacy and International Law. – *LSE Law, Society and Economy Working Papers*. P. 1-32.
77. Thomas C. A. 2014. The Uses and Abuses of Legitimacy in International Law. – *Oxford Journal of Legal Studies*. Vol. 34. Issue 4. P. 729-758. DOI: <https://doi.org/10.1093/ojls/gqu008>.
78. Virally M. 1990. Réflexions sur la Politique Juridique des Etats. – *Le Droit International en Devenir, Graduate Institute Publications*. P. 123-131. DOI: <https://doi.org/10.4000/publics.iheid.4388>.
79. Weber M. 1960. *Rechtssoziologie*. Neuwied, Hermann Luchterhand Verlag. 346 S.

80. Welsh J., Zaum D. 2013. Legitimation and the UN Security Council. – *Legitimizing International Organizations*. Ed. by D. Zaum. Oxford (online edn). P. 65-87. DOI: <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199672097.003.0004>.
81. Wheatley S. 2010. *The Democratic Legitimacy of International Law (Studies in International Law)*. Hart Publishing. 424 p.
82. Wolfrum R. 2008. Legitimacy of International Law from a Legal Perspective: Some Introductory Considerations. – *Legitimacy in International Law. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht*. Band 194. Ed. by R. Wolfrum and V. Röben. Springer, Berlin, Heidelberg. P. 1-24. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-77764-9_1.
83. Zaum D. 2013. International Organizations, Legitimacy, and Legitimation. – *Legitimizing International Organizations*. Ed. by D. Zaum. Oxford (online edn). P. 3-25. DOI: <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199672097.003.0001>.

References

1. Alter K.J., Li J. Chinese and Western Perspectives on the Rule of Law and their International Implications. – *The Cambridge Handbook of China and International Law*. Ed. by I. de la Rasilla and C. Cai. Cambridge University Press. 2024. P. 94-112. DOI: <https://doi.org/10.1017/9781009041133.007>.
2. Apffelstaedt K., Schrage S., Gilbert D. U. Multi-Stakeholder Initiatives and Legitimacy: A Deliberative Systems Perspective. – *Business Ethics Quarterly*. Published online by Cambridge University Press. 2023. P. 1-34. DOI: <https://doi.org/10.1017/beq.2023.12>.
3. d'Aspremont J., De Brabandere E. The Complementary Faces of Legitimacy in International Law: The Legitimacy of Origin and the Legitimacy of Exercise. – *Fordham International Law Journal*. 2011. Vol. 34. Issue 2. Article 3. P. 190-235.
4. Becker B. The New Legitimacy and International Legitimation: Civilization and South African Foreign Policy. – *Foreign Policy Analysis*. 2010. Vol. 6. Issue 2. P. 133-146. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1743-8594.2010.00105.x>.
5. Bjola C. Legitimizing the Use of Force in International Politics: A Communicative Action Perspective. – *European Journal of International Relations*. 2005. Vol. 11. Issue 2. P. 266-303. DOI: <https://doi.org/10.1177/1354066105052968>.
6. *Black's Law Dictionary. Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. Revised fourth edition by the publisher's editorial staff. St. Paul, Minn. West Publishing Co. 1968. 1882 p.
7. *Black's Law Dictionary*. 9th ed. Bryan A. Garner (Editor in Chief). West, a Thomson Reuters. 2009. 1920 p.
8. Bodansky D. The Legitimacy of International Governance: A Coming Challenge for International Environmental Law? – *American Journal of International Law*. 1999. Vol. 93. Issue 3. P. 596-624. DOI: <https://doi.org/10.2307/2555262>.
9. Bodansky D. The Concept of Legitimacy in International Law. – *Legitimacy in International Law. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht*. Band 194. Ed. by R. Wolfrum and V. Röben. Springer, Berlin, Heidelberg. 2008. P. 309-317. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-77764-9_14.
10. Bodansky D. Legitimacy in International Law and International Relations. – *Interdisciplinary Perspectives on International Law and International Relations: The State of the Art*. Ed. by J.L. Dunoff and M.A. Pollack. Cambridge University Press. 2012. P. 321-342. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9781139107310.016>.
11. Briery J.L. *The Law of Nations. An Introduction to the International Law of Peace*. Sixth Edition. Revised by Waldock C. H. M. Oxford: Oxford University Press. 1963. 442 p.
12. Brunnée J., Toope S. J. *Legitimacy and Legality in International Law: An Interactional Account*. Cambridge University Press. 2010. 411 p. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511781261>.
13. Buchanan A. The Legitimacy of International Law. – *The Philosophy of International Law*. Ed. by S. Besson and J. Tsadiras. New York: Oxford University Press. 2010. P. 79-96.
14. Buchanan A., Keohane R.O. The Legitimacy of Global Governance Institutions. – *Ethics & International Affairs*. 2006. Vol. 20. Issue 4. P. 405-437. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1747-7093.2006.00043.x>.
15. Caron D.D. The Legitimacy of the Collective Authority of the Security Council. – *The American Journal of International Law*. 1993. Vol. 87. No. 4. P. 552-588. DOI: <https://doi.org/10.2307/2203616>.
16. Chernichenko S.V. *Kontury mezhdunarodnogo prava. Obshchie voprosy [Contours of International Law. General Issues]*. Moscow: Nauchnaja kniga Publ. 2014. 592 p. (In Russ.)
17. Chesterman S., Johnstone I., Malone D. M. *Law and Practice of the United Nations: Documents and Commentary*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press. 2016. 741 p.
18. Claude I.L. Collective Legitimation as a Political Function of the United Nations. – *International Organization*. 1966. Vol. 20. Issue 3. P. 367-379. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0020818300012832>.
19. Crawford J. The Problems of Legitimacy-Speak. – *Proceedings of the ASIL Annual Meeting*. 2004. Vol. 98. P. 271-273. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0272503700061425>.
20. Danelyan A.A., Oganessian T.D. Mezhdunarodnyj ugolovnyj sud i immunitety [International Criminal Court and Immunities]. – *Jelektronnoe setevoe izdanie "Mezhdunarodnyj pravovoj kur'er" [Electronic network edition "International Legal Courier"]*. 2024. (In Russ.). URL: https://inter-legal.ru/mezhdunarodnyj-ugolovnyj-sud-i-immunitety#_ftnref1 (accessed date: 06.03.2024).
21. Dellavalle S. Legitimacy and Rationality in National and International Law-Making. – *European Society of International Law (ESIL) Paper Series*. 2022. P. 1-24. URL: <https://hdl.handle.net/1814/74559> (accessed date: 12.05.2024).
22. Eichenberg R.C. Victory Has Many Friends: U.S. Public Opinion and the Use of Military Force, 1981-2005. – *International Security*. 2005. Vol. 30. No. 1. 146. P. 140-177.
23. Falk R. The Iraq War and the Future of International Law. – *Proceedings of the ASIL Annual Meeting*. 2004. Vol. 98. P. 263-266. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0272503700061395>.
24. Falk R., Juergensmeyer M., Popovski V. *Legality and Legitimacy in Global Affairs*. Oxford University Press. 2012. 459 p.
25. Franck T.M. Legitimacy in the International System. – *The American Journal of International Law*. 1988. Vol. 82. No. 4. P. 705-759. DOI: <https://doi.org/doi:10.2307/2203510>.
26. Franck T.M. *The Power of Legitimacy among Nations*. Oxford University Press. 1990. 320 p.
27. Franck T.M. *Fairness in International Law and Institutions*. Oxford University Press UK. 1995. 536 p.

28. Habermas J. *Theorie des kommunikativen Handelns. Band I. Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung*. Frankfurt am Main, Suhrkamp. 1981. 534 p.
29. Habermas J. *Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus (1973)*. Suhrkamp Verlag, 14. Auflage. 2019. 208 S.
30. Hakimi M. Fractures in the Foundation: Is Waging Aggressive War Still Prohibited by International Law? – *Proceedings of the ASIL Annual Meeting*. 2022. Vol. 116. P. 87. DOI: <https://doi.org/10.1017/amp.2022.19>.
31. Hardy J. Legitimacy in the Use of Force: Opinio or Juris? – *Proceedings of the Sixth Oceanic Conference on International Studies*. University of Melbourne. 2014. P. 1-17.
32. Herdegen M. *Völkerrecht*. 22., überarbeitete und erweiterte Auflage. Grundrisse des Rechts. München: Verlag C.H.Beck. 2023. 553 S.
33. Higgins R. *Problems and Process: International Law and How We Use It*. Oxford Scholarly Authorities on International Law, Clarendon Press. 1995. 304 p.
34. Howse R. The Legitimacy of the World Trade Organization. – *The Legitimacy of International Organizations*. Ed. by J.-M. Coicaud and V. Heiskanen. Tokyo: UN University Press. 2001. P. 355-407.
35. Hughes D. How States Persuade: An Account of International Legal Argument Upon the Use of Force. – *Georgetown Journal of International Law*. 2019. Vol. 50. No. 4. P. 839-946.
36. Jongen H., Scholte J.A. Institutional Sources of Legitimacy in Multistakeholder Global Governance at ICANN. – *Regulation & Governance*. 2024. Vol. 18. Issue 3. P. 1018-1039. DOI: <https://doi.org/10.1111/rego.12565>.
37. Kamminga M.T. Confiscating Russia's Frozen Central Bank Assets: A Permissible Third-Party Countermeasure? – *Netherlands International Law Review*. 2023. Vol. 70. P. 1-17. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40802-023-00231-7>.
38. Koskenniemi M. "Not Excepting the Iroquois Themselves...": *Machiavelli, Pufendorf and the Prehistory of International Law*. European University Institute, Max Weber Programme, Max Weber Lecture Series. 2007. 41 p.
39. Koskenniemi M. Miserable Comforters: International Relations as New Natural Law. – *European Journal of International Relations*. 2009. Vol. 15. Issue 3. P. 395-422. DOI: <https://doi.org/10.1177/1354066109338229>.
40. Koskenniemi M. Law, Teleology and International Relations: An Essay in Counterdisciplinarity. – *International Relations*. 2012. Vol. 26. Issue 1. P. 3-34. DOI: <https://doi.org/10.1177/0047117811433080>.
41. Krahnemann E. From Performance to Performativity: The Legitimization of US Security Contracting and its Consequences. – *Security Dialogue*. 2017. Vol. 48. Issue 6. P. 541-559. DOI: <https://doi.org/10.1177/0967010617722650>.
42. Kumm M. The Legitimacy of International Law: A Constitutionalist Framework of Analysis. *European Journal of International Law*. 2004. Vol. 15. Issue 5. P. 907-931. DOI: <https://doi.org/10.1093/ejil/15.5.907>.
43. de Lacharrière G. *La Politique Juridique Extérieure*. Economica, Collection Enjeux Internationaux, Paris. 1983. 236 p.
44. Lefkowitz D. The Legitimacy of International Law. – *Philosophy and International Law: A Critical Introduction*. Cambridge Introductions to Philosophy and Law. Cambridge University Press. 2020. P. 98-128. DOI: <https://doi.org/10.1017/9781316481653.006>.
45. Legitimizing Decisions in International Economic Law. – *Establishing Judicial Authority in International Economic Law*. Ed. by J. Jemielniak, L. Nielsen, H. P. Olsen. Cambridge International Trade and Economic Law. Cambridge University Press. 2016. P. 213-319. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9781316544860>.
46. Luban D. Fairness to Rightness: Jurisdiction, Legality, and the Legitimacy of International Criminal Law. – *The Philosophy of International Law*. Ed. by S. Besson and J. Tasioulas. New York: Oxford University Press. 2010. P. 569-588.
47. Lukashuk I.I. *Mezhdunarodnoe pravo. Obshchaja chast': ucheb. dlja studentov jurid. fak. i vuzov. [International Law. General Part: Textbook for Students of Law Faculties and Universities]*. Izd. 3-e, pererab. i dop. Moscow: Wolters Kluwer Publ. 2005. 432 p. (In Russ.)
48. Murase S. Unilateral Responses to International Terrorism: Self-defense or Law Enforcement? – *Multiculturalism and International Law*. Ed. by S. Yee and J. Morin. Leiden, The Netherlands: Brill | Nijhoff. 2009. P. 429-453.
49. Müllerson R.A. *Dawn of a New Order. Geopolitics and the Clash of Ideologies*. I.B.Tauris, London | New York. 2017. 277 p.
50. Müllerson R.A. *Regime Change: From Democratic Peace Theories to Forcible Regime Change*. Nijhoff Law Specials, Volume 84. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden | Boston. 2013. 247 p.
51. O'Connell M.E. The End of Legitimacy. – *Proceedings of the ASIL Annual Meeting*. 2004. Vol. 98. P. 269-270. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0272503700061413>.
52. Opinion of the International Law Advisory Board, the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. Problems of Legality of the International Criminal Court (translation by graduate students V.V. Pchelintseva and A.M. Korzhenyak). – *Moscow Journal of International Law*. 2024. No. 2. P. 92-104.
53. Orakhelashvili A. *International Law and International Politics. Foundations of Interdisciplinary Analysis. Principles of International Law*. Edward Elgar Publishing. 2020. 304 p.
54. Pellet A., Miron A., Forteau M., Nguyen Q. D., Daillier P. *Droit International Public*. 9e éd. Paris: LGDJ, Lextenso. 2022. 2048 p.
55. Popovski V., Turner N. Legality and Legitimacy in International Order. – *United Nations University, Policy Brief*. 2008. No. 5. P. 1-8.
56. *Problemy pravomernosti dejatel'nosti Mezhdunarodnogo ugolovnogo suda: Zakljuchenie Mezhdunarodno-pravovogo soveta pri MID Rossii*. Perevod A.M. Korzhenyak, V.V. Pchelintsevoj (MGIMO MID Rossii). [Problems of Legality of the International Criminal Court: Conclusion of the International Law Advisory Board under the Ministry of Foreign Affairs of Russia. Translated by A. M. Korzhenyak, V. V. Pchelintseva]. Moscow: Diplomaticeskaja akademija MID Rossii Publ. 2024. 64 p. (In Russ.)
57. Quadri R. *Diritto internazionale pubblico*. III edizione. G. Priulla Editore Palermo. 1960. 653 p.
58. Ratner S.R. Persuading to Comply: On the Deployment and Avoidance of Legal Argumentation. – *Interdisciplinary Perspectives on International Law and International Relations: The State of the Art*. Ed. by J.L. Dunoff and M.A. Pollack. Cambridge University Press. 2012. P. 568-590. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9781139107310.028>.
59. Roberts A. Legality vs Legitimacy: Can Uses of Force be Illegal but Justified? – *Human Rights, Intervention, and the Use of Force, Collected Courses of the Academy of European Law*. Ed. by P. Alston and E. Macdonald. Oxford. 2008. P. 179-214. DOI: <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199552719.003.0005>.

60. Salmon J. *Dictionnaire de droit international public*. Bruylant. 2001. 1200 p.
61. Schachter O. The Role of Power in International Law. – *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*. 1999. Vol. 93. P. 200-205.
62. Schwarzenberger G., Brown E.D. *A Manual of International Law*. 6th ed. Professional Books Limited. 1976. 612 p.
63. Schwarzenberger G. *International Law as Applied by International Courts and Tribunals. Volume III. International Constitutional Law. Fundamentals – The United Nations – Related Agencies*. London, Stevens & Sons Limited. 1976. 680 p.
64. Shaw M.N. *International Law*. 9th ed. Cambridge: Cambridge University Press. 2021. 1308 p.
65. Slaughter A.-M. The Use of Force in Iraq: Illegal and Illegitimate. – *Proceedings of the ASIL Annual Meeting*. 2004. Vol. 98. P. 262-263. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0272503700061383>.
66. Steffek J. The Legitimation of International Governance: A Discourse Approach. – *European Journal of International Relations*. 2003. Vol. 9. Issue 2. P. 249-275. DOI: <https://doi.org/10.1177/1354066103009002004>.
67. Tago A. Why Do States Join US-Led Military Coalitions? The Compulsion of the Coalition's Missions and Legitimacy. – *International Relations of the Asia-Pacific*. 2007. Vol. 7. No. 2. P. 179-202. DOI: <https://doi.org/10.1093/irap/lcl001>.
68. Tasioulas J. Parochialism and the Legitimacy of International Law. – *Parochialism, Cosmopolitanism, and the Foundations of International Law*. Ed. by M.N.S. Sellers. Cambridge: Cambridge University Press. 2011. P. 16-39.
69. *The Charter to the United Nations: A Commentary*. Ed. by B. Simma. Oxford: Oxford University Press. 1994. 1258 p.
70. *The Kosovo Report: Conflict, International Response, Lessons Learned*. Independent International Commission on Kosovo. Oxford. 2000. 372 p. DOI: <https://doi.org/10.1093/0199243093.001.0001>.
71. *The Legitimacy of International Organizations*. Ed. by J.-M. Coicaud and V. Heiskanen. Tokyo: UN University Press. 2001. 578 p.
72. Thomas C.A. The Concept of Legitimacy and International Law. – *LSE Law, Society and Economy Working Papers*. 2013. P. 1-32.
73. Thomas C.A. The Uses and Abuses of Legitimacy in International Law. – *Oxford Journal of Legal Studies*. 2014. Vol. 4. Issue 4. P. 729-758. DOI: <https://doi.org/10.1093/ojls/gqu008>.
74. Tomsinov V. A. «Krymskoe pravo», ili Juridicheskie osnovaniya vossoedineniya Kryma s Rossiej [“Crimean Law”, or Legal Foundations of Crimea's Reunification with Russia]. Moscow: IKD Zertsalo-M Publ. 2016. 132 p. (In Russ.)
75. Virally M. Réflexions sur la Politique Juridique des Etats. – *Le Droit International en Devenir, Graduate Institute Publications*. 1990. P. 123-131. DOI: <https://doi.org/10.4000/books.iheid.4388>.
76. Vylegzhanin A.N., Magomedova O.S. Mezhdunarodno-pravovaja politika gosudarstva. Sovremennye kontseptsii [International legal policy of a state. Modern concepts]. – *Mezhdunarodnye protsessy [International Trends]*. 2022. No. 3. P. 112-126. (In Russ.). DOI: <https://doi.org/10.17994/IT.2022.20.3.70.7>.
77. Vylegzhanin A.N., Korzhenyak A.M. Mekhanizm mezhdunarodno-pravovoj legitimatsii vooruzhennogo vtorzhenija SShA v Irak v 2003 g.: uroki na budushhee (chast' 1) [The Mechanism of International Legal Legitimation of the 2003 U.S. Armed Invasion of Iraq: Lessons for the Future (Part 1)]. – *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta [Vestnik of Saint Petersburg University. Law]*. 2025a. No. 1 (in print). (In Russ.).
78. Vylegzhanin A.N., Korzhenyak A.M. Mekhanizm mezhdunarodno-pravovoj legitimatsii vooruzhennogo vtorzhenija SShA v Irak v 2003 g.: uroki na budushhee (chast' 2) [The Mechanism of International Legal Legitimation of the 2003 U.S. Armed Invasion of Iraq: Lessons for the Future (Part 2)]. – *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta [Vestnik of Saint Petersburg University. Law]*. 2025b. No. 2 (in print). (In Russ.).
79. Weber M. *Rechtssoziologie*. Neuwied, Hermann Luchterhand Verlag. 1960. 346 s.
80. Welsh J., Zaum D. Legitimation and the UN Security Council. – *Legitimizing International Organizations*. Ed. by D. Zaum. Oxford (online edn). 2013. P. 65-87. DOI: <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199672097.003.0004>.
81. Wheatley S. *The Democratic Legitimacy of International Law (Studies in International Law)*. Hart Publishing. 2010. 424 p.
82. Wolfrum R. Legitimacy of International Law from a Legal Perspective: Some Introductory Considerations. – *Legitimacy in International Law. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht*. Band 194. Ed. by R. Wolfrum and V. Röben. Springer, Berlin, Heidelberg. 2008. P. 1-24. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-77764-9_1.
83. Zaum D. International Organizations, Legitimacy, and Legitimation. – *Legitimizing International Organizations*. Ed. by D. Zaum. Oxford (online edn). 2013. P. 3-25. DOI: <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199672097.003.0001>.

Информация об авторе

Анастасия Михайловна КОРЖЕНЯК,

аспирант кафедры международного права, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел России

Вернадского п-т, д. 76, Москва, 119454, Российская Федерация

mihkor@gmail.com

ORCID: 0000-0002-7162-2785

About the Author

Anastasia M. KORZHENYAK,

Postgraduate Student at the Department of International Law, Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

76, Vernadskogo Ave., Moscow, Russian Federation, 119454

mihkor@gmail.com

ORCID: 0000-0002-7162-2785

DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-184-195>

Исследовательская статья

УДК: 341

Поступила в редакцию: 31.08.2024

Принята к публикации: 26.11.2024

Ирина Алексеевна ЧЕРНЫХ

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Миклухо-Маклая ул., д. 6, Москва, 117198, Российская Федерация

chernykh-ia@rudn.ru

ORCID: 0000-0002-5369-1736

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОКОЛОЛУННЫХ ОРБИТ: ХВАТИТ ЛИ МЕСТА ВСЕМ?

ВВЕДЕНИЕ. Вопросы исследования и использования Луны, включая ее природные ресурсы, входят в приоритетные направления научно-исследовательской космической деятельности многих ее участников. Подтверждением этого являются принятие лунных космических программ на национальном уровне, подготовка и запуск космических аппаратов к Луне и ее поверхности, а также обсуждение вопросов будущего международно-правового регулирования в международных межправительственных и неправительственных организациях. Осуществляя такую деятельность, важно обеспечивать связь с космическим аппаратом за счет использования окололунных орбит. Для понимания данного процесса необходимо изучить находящиеся во взаимосвязи научно-технические и нормативно-правовые аспекты, в том числе рассмотреть международно-правовой режим такого вида орбит.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Используемые материалы охватывают фундаментальные труды отечественных ученых в области международного космического права, а также научно-исследовательские работы и аналитические материалы, посвященные окололунному пространству и орбитам вокруг Луны. Оценка существующего международно-правового режима окололунных орбит требует применения не только присущих юридическим наукам формально-юридических и сравнительно-правовых методов исследования, но и общенаучных мето-

дов, таких как анализ и синтез, для понимания особенностей научно-технического характера рассматриваемого вопроса. Важное место в исследовании заняло изучение понятийного аппарата, а именно таких терминов, как «орбита Луны», «окололунная орбита», «окололунное пространство», «замороженная орбита», «гало-орбита», «экранированная зона Луны» и т. д.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Под окололунной орбитой понимаются различные траектории движения естественных или искусственных объектов вокруг Луны. Орбиты вокруг Луны отличаются высотами переселения, апоселения и наклоном. Выделяют «замороженные» орбиты и гало-орбиты, отличающиеся особыми свойствами с точки зрения размещаемых на них космических объектов. Космические аппараты на всех видах окололунных орбит используют различные радиочастотные спектры. Большинство орбит вокруг Луны неустойчивые. Международно-правовой статус и режим окололунных орбит регулируется документами Международного союза электросвязи (далее – МСЭ), среди которых есть ряд актов, посвященных вопросу радиоастрономии в экранированной зоне Луны. К деятельности по использованию и исследованию окололунного пространства и лунных орбит применяются фундаментальные положения международного космического права.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ. По итогам проведенного исследования были получены следующие

щие выводы. К 2027 г. международному сообществу в рамках МСЭ предстоит решить ряд вопросов, связанных с использованием окололунного пространства и орбит вокруг Луны, в том числе вопросы радиоастрономии, использования спутников ретрансляции, радиочастотного спектра. Дополнительно обсуждается система расчета лунного времени. Неупорядоченное использование окололунных орбит может привести к проблеме космического мусора. Увеличение числа посылаемых к Луне объектов может вызвать сложности с проведением астрономических исследований и ограничить для всех заинтересованных участников количество устойчивых орбит. Международное сотрудничество государств и иных заинтересованных участников лунной деятельности в рамках международных организаций будет способствовать решению обозначенных проблем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: окололунные орбиты, международно-правовой режим, Луна, окололунное пространство, естественный спутник, ретрансляция, связь, экранированная зона Луны

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Черных И.А. 2024. Международно-правовой режим окололунных орбит: хватит ли места всем? – Московский журнал международного права. № 4. С. 184–195. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-184-195>

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-01434, <https://rscf.ru/project/23-28-01434/>

OUTER SPACE AND INTERNATIONAL LAW

DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-184-195>

Research article

UDC: 341

Received 31 August 2024

Approved 26 November 2024

Irina A. CHERNYKH

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba
6, Miklukho-Maklaya St., Moscow, Russian Federation, 117198
chernykh-ia@rudn.ru
ORCID: 0000-0002-5369-1736

INTERNATIONAL LEGAL REGIME OF LUNAR ORBITS: WILL THERE BE ENOUGH SPACE FOR EVERYBODY?

INTRODUCTION. *The exploration and use of the Moon, including its natural resources, is a priority in the space research activities of many participants. This is evidenced by the adoption of lunar space programmes at the national level, the preparation and launch of spacecrafts to the Moon and its surface, and discussions of future international legal regulation in international intergovernmental and non-*

governmental organisations. It is important to ensure communication with the spacecraft through the use of lunar orbits in carrying out such lunar activities. In order to understand this process, it is necessary to examine the scientific and technical, as well as regulatory aspects that are interrelated, including the international legal regime for lunar orbits.

MATERIALS AND METHODS. *The materials used in the research and for writing cover fundamental works of Soviet/Russian scientists in the field of international space law, as well as research works and analyses devoted to CIS-lunar space and orbits around the Moon. The assessment of the existing international legal regime on lunar orbits requires the application of not only formal-legal and comparative-legal research methods inherent in legal sciences, but also general scientific methods, such as analysis and synthesis, to understand the specific scientific and technical nature of the issue under consideration. An important place in the article was taken by the study of the conceptual definitions, namely such terms as “a Moon orbit”, “lunar orbit”, “CIS-lunar space”, “frozen orbit”, “halo-orbit”, “shielded zone of the Moon”, etc.*

RESEARCH RESULTS. *The lunar orbit refers to various trajectories of natural or artificial objects around the Moon. Orbits around the Moon are distinguished by the altitudes of migration, aposecretion and inclination. Separately distinguish ‘frozen’ orbits and halo-orbits, which are characterized by special properties in terms of space objects placed on them. Spacecrafts use different radio-frequency spectrum in all types of lunar orbits. Most of the orbits around the Moon are unstable. The international legal status and regime of lunar orbits are regulated by documents of the International Telecommunication Union, among which there are a number of documents dealing with the issue of radio astronomy in the shielded zone of the Moon. The fundamental provisions of international space law also apply to the activity on use and exploitation of CIS-lunar space and its orbits.*

DISCUSSION AND CONCLUSIONS. *The following conclusions were obtained from the study. By 2027, the international community within the ITU will have to solve a number of issues related to the use of CIS-lunar space and orbits around the Moon, including radio astronomy, the use of repeater satellites, and the radio-frequency spectrum. Additionally, a system for coordinated lunar time is discussed. Disorderly use of lunar orbits may lead to the problem of space debris. An increase in the number of objects sent to the Moon may cause difficulties in astronomical research and limit the number of stable orbits for all interested participants. International cooperation of States and other interested participants in lunar activities within the framework of international organizations will contribute to solving the outlined problems.*

KEYWORDS: *lunar orbits, international legal regime, Moon, CIS-lunar space, natural satellite, re-translation, communication, shielded zone of the Moon*

FOR CITATION: Chernykh I.A. International Legal Regime of Lunar Orbits: Will There Be Enough Space for Everybody? – *Moscow Journal of International Law*. 2024. No. 4. P. 184–195. DOI: <https://doi.org/10.24833/0869-0049-2024-4-184-195>

The author declares the absence of conflict of interest.

The research was supported by the Russian Science Foundation № 23-28-01434, <https://rscf.ru/project/23-28-01434/>

Введение

Внимание многих государств, как развитых, так и развивающихся в области космической деятельности, в XXI в. приковано к Луне. Подтверждением данного тезиса является постоянное увеличение участников заседаний Комитета Организации Объединенных Наций (далее – ООН) по исследованию космического пространства в мирных целях и его подкомитетов. Наблюдается рост как государств-

членов¹, так и наблюдателей данного органа в виде международных межправительственных и неправительственных организаций [Черных, Солнцев, Гугунский 2024]. Все они заинтересованы в обсуждении международно-правовой архитектуры космической деятельности на ближайшую перспективу, а также активно участвуют в Рабочей группе по правовым аспектам деятельности, связанной с космическими ресурсами, созданной в 2022 г. в рамках Юридического подкомитета Комитета ООН по космосу [Черных 2022]. Одним из основных вопросов этой груп-

¹ По состоянию на 1 мая 2024 г. 102 государства являются членами Комитета ООН по исследованию космического пространства в мирных целях. URL: <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/members/evolution.html> (дата обращения: 28.08.2024).

пы является международно-правовой режим исследования, добычи и использования лунных ресурсов, который в настоящее время не детализирован в должном объеме [Вылегжанин 2021].

Однако, прежде чем приступить к практической деятельности на поверхности Луны, представляется необходимым технически и технологически иметь возможность не только разместить космические аппараты на видимой (ближней) или темной (обратной) сторонах Луны, но и собрать и передать с этих аппаратов данные, в том числе используя окололунное пространство с различными видами орбит. Ярким примером важности технологической составляющей в этой деятельности является ситуация с японской автоматической межпланетной станцией, разработанной Японским агентством аэрокосмических исследований (англ. Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA) и включающей в себя «умный посадочный модуль для исследования Луны» (англ. Smart Lander for Investigating Moon, SLIM), впервые в мире успешно точно прилунившийся на край кратера Шиоли 19 января 2024 г. Несмотря на то что аппарат был рассчитан на работу в течение одного лунного дня, он не только выполнил все запрограммированные в нем задачи, но проработал более длительный период и смог передать данные на Землю. При этом именно окончательная потеря связи с аппаратом стала основанием для официального подтверждения завершения научно-исследовательской миссии 26 августа 2024 г.²

Обеспечение связи с космическим аппаратом – одна из важных составляющих любой космической миссии на всех ее этапах, а в научно-исследовательских миссиях к поверхности других небесных тел – особенно. Космическая связь устанавливается за счет использования определенного диапазона частот, который в том числе зависит от того, на какой орбите расположен космический аппарат. Выбор орбиты при этом также зависит от многих обстоятельств (цели, задачи, длительность космической миссии и т.п.). Отметим, что за выделение, распределение и присвоение орбитально-частотного

спектра на универсальном уровне отвечает МСЭ [Morozova, Vasyanin 2019; Абашидзе, Солнцев, Черных 2015]. В дальнейшем государство выбирает орбиту и радиочастотный спектр для осуществления той или иной космической миссии с учетом имеющихся международно-правовых обязательств и согласно национальному законодательству в области использования радиочастотного спектра.

Именно поэтому в контексте освоения Луны возникает вопрос: существует ли международно-правовая специфика в отношении использования окололунных орбит? Настоящее исследование даст ответ на поставленный вопрос, а также выявит возможные проблемы с точки зрения современного международно-правового регулирования использования окололунных орбит, которые, как будет показано ниже, задействованы в проведении любой лунной деятельности.

Основная часть

Для понимания процесса обеспечения связи между Землей и Луной на элементарном уровне отметим некоторые научные факты. Луна является естественным спутником Земли, который по одной из версий образовался в результате столкновения с Землей планеты размером примерно с Марс (диаметр Марса составляет 6 779 км), выбросив породу, которая сформировала Луну, что подтверждается результатами последних исследований, полученных в рамках индийской миссии по осуществлению мягкой посадки на поверхность Луны 23 августа 2023 г. Чандраян-3³. Расстояние от Земли до Луны составляет 384 467 км. Ежегодно естественный спутник Земли отдаляется от нее на 4 сантиметра, что в земных условиях незаметно.

В научно-технической литературе также применяется специализированная терминология, которая в некоторых государствах получила нормативно-правовое определение. Так, для обозначения пространства между Землей и Луной используется термин «окололунное пространство». При этом англоязычный вариант этого

² Jones A. Japan declares its SLIM moon lander dead at last. – Space.com. August 28, 2024. URL: https://www.space.com/jaxa-slim-moon-lander-dead?utm_term=6D6AF856-6544-4635-8181-BB010A74AD6B&lrh=8648cf867aa82cb370c7fccaadf74ca41c4ab520b64cbe1dfa51a8c1d6c2f017&utm_campaign=58E4DE65-C57F-4CD3-9A5A-609994E2C5A9&utm_medium=email&utm_content=378F45AA-2E0D-4EA0-967A-649EBFE0EAD5&utm_source=SmartBrief (accessed date: 28.08.2024).

³ Marshall M. India's pioneering mission bolsters idea that Moon's surface was molten. – Nature. August 21, 2024. URL: <https://www.nature.com/articles/d41586-024-02695-w> (accessed date: 22.08.2024).

термина – “CIS-lunar space” – закреплен в американском законодательстве⁴. Помимо этого, в различной специализированной литературе встречаются и другие термины. По итогам их анализа и изучения было выявлено, что траектория движения Луны относительно Земли называется лунная орбита, или орбита Луны (англ.: orbit of the Moon). Понятие «окололунная орбита» (селеноцентрическая орбита), «окололунные орбиты» (англ.: lunar orbit / lunar orbits) или «орбита вокруг Луны», в свою очередь, означает различные траектории движения естественных или искусственных объектов вокруг Луны. Такая орбита движения аналогична орбитам спутников всех планет и в первом приближении представляет собой эллипс с фокусом в центре Луны.

Согласно электронной версии Большой советской энциклопедии, «наиболее близкая к центру Луны точка орбиты называется периселением, а наиболее далекая – апоселением, поэтому в целях получения разносторонней информации о различных областях окололунного пространства и лунной поверхности запуск космических аппаратов производится на различные орбиты, отличающиеся друг от друга высотами периселения и апоселения, а также наклоном»⁵. Также в научно-технических источниках информации выделяют селеноцентрические круговые орбиты с высотой около 110 км, селеноцентрические эллиптические орбиты и т. д. Например, на эллиптической лунной орбите с 12-часовым периодом спутник проработает около 90 дней как пакистанский спутник-кубсат, запущенный на китайском «Чанъэ-6» (кит. 嫦娥六号) в 2024 г.⁶

При этом в различных источниках информации отмечается, что «абсолютное число

окололунных орбит не являются устойчивыми, так как низкие орбиты быстро деградируют из-за воздействия лунных масконов⁷, а высокие – из-за гравитационного возмущения Земли (например, для орбит с высотой от 500 до 20 тыс. км гравитация Земли приводит к возмущениям орбиты) и Солнца. В результате любой спутник Луны рано или поздно либо столкнется с поверхностью Луны при понижении перицентра его орбиты, либо покинет окололунную орбиту. Этим объясняется отсутствие у Луны каких-либо долговременных естественных спутников»⁸. Низкая лунная орбита (до 100 км) также относится к неустойчивым видам орбит. Однако учеными было выявлено, что при нахождении спутника на орбите с наклоном 27°, 50°, 76° или 86° будет происходить ситуация, в которой он будет находиться в более или менее стабильном высотном состоянии (как правило, это орбита, на которой в течение длительного периода времени высота спутника в одной и той же точке остается близкой к постоянной) и тогда такая орбита будет называться «лунной замороженной орбитой». Интересно отметить, если у орбиты наклонение будет составлять 86°, то находящийся на ней спутник будет размещен практически над лунными полюсами, в том числе над Южным полюсом Луны, который так привлекателен с точки зрения исследования и добычи ее природных ресурсов.

К лунным «замороженным» орбитам, устойчивым к гравитационным возмущениям согласно исследованиям 2005 г. [Ely 2005], также будут относиться эллиптические наклонные лунные орбиты. Это орбиты вокруг точек Лагранжа L1 и L2 в системе Земля-Солнце, которые являются вариантами стабильных лунных орбит⁹, где

⁴ Согласно Кодексу законов США данное пространство включает пространство вплоть до поверхности Луны (“The term ‘cis-lunar space’ means the region of space from the Earth out to and including the region around the surface of the Moon”). 42 U.S. Code. § 18302 – Definitions.

⁵ Рябов Ю.А. Искусственные Спутники Луны. – Большая советская энциклопедия. в 30-ти т. 3-е изд. М.: Совет. энцикл., 1969–1986. URL: <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/056/700.htm> (дата обращения: 01.05.2024).

⁶ См.: Пакистанский кубсат прислал на Землю с орбиты Луны первые снимки. – Gismeteo. 14 мая 2024 г. URL: <https://www.gismeteo.ru/news/science/pakistanskij-kubsat-prislal-na-zemlju-s-orbity-luny-pervye-snimki/> (дата обращения: 15.05.2024).

⁷ Маскон – это регион литосферы планеты или спутника, вызывающий положительную гравитационную аномалию, которая является избыточной. Наиболее известны лунные масконы, которые были обнаружены и локализованы по возмущениям в движениях искусственных спутников Луны во второй половине 60-х годов XX века. Burke J.D. Mascon. – *Encyclopedia Britannica*. Oct. 21, 2022. URL: <https://www.britannica.com/science/mascon>. (accessed date: 01.05.2024).

⁸ Окололунная орбита. Интересно о науке. Всероссийский фестиваль науки. Наука 0+. 7 декабря 2014 г. URL: <https://festivalnauki.ru/media/articles/pravila-zhizni/okololunnaya-orbita/> (дата обращения: 01.05.2024).

⁹ Окололунное пространство включает пять точек Лагранжа, которые стабильны в положении относительно Земли и Луны, когда они вращаются друг вокруг друга. Для транспортных целей наиболее важны две точки L, расположенные рядом с Луной и на одной линии с ней – это L1 и L2. L1 всегда находится перед Луной, а L2 всегда позади Луны, каждая примерно на 60 тыс. км.

космический аппарат использует минимальное количество топлива для своего нахождения в одном месте.

В этой же системе располагаются так называемые гало-орбиты. Гало-орбита отличается тем, что проходит близко к меньшему из двух тел и поэтому имеет почти стабильное поведение¹⁰. По сути, гало-орбиты существуют в любой системе из трех тел. В каждой точке Лагранжа существуют непрерывные «семейства» северных и южных гало-орбит. Гало-орбиты могут быть использованы лунными спутниками ретрансляции для получения и передачи радиосигналов как с Земли, так и с обратной стороны Луны (расстояние спутника от Земли будет составлять около 450 тыс. км и 65 тыс. км – от Луны). Именно эта орбита была открыта специалистом по проектированию миссий американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (далее – НАСА) Робертом Фаркуаром более 40 лет назад. Впервые же на практике она была использована для передачи данных с китайского спутника Цюэцяо (англ.: Queqiao) в декабре 2018 г. на высоте примерно 65 тыс. км, размещенного в области вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля – Солнце в рамках миссии «Чанъэ-4» (кит. 嫦娥四號), запущенной ранее в середине 2018 г. Также с 2022 г. почти прямолинейные гало-орбиты тестируются в рамках проекта CAPSTONE (англ.: Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment), который представляет собой космический аппарат, тестирующий стабильность нахождения в этом месте согласно заранее заданным параметрам. Данная миссия является предварительным этапом перед запуском и последующим развертыванием пилотируемой лунной станции-шлюза Lunar Gateway в рамках американской лунной программы «Артемиды» [May, Qu, Merrill 2020]. Для ее развертывания предполагается использовать либо почти прямолинейную гало-орбиту, благодаря чему станция сможет находиться на расстоянии от поверхности Луны в диапазоне от 3 до 70 тыс. км, делать один оборот вокруг Луны в течение примерно семи дней и использоваться как промежуточный

пункт, из которого будут осуществляться полеты как к поверхности Луны, так и в дальний космос; либо низкую окололунную орбиту с высотой от 100 до 200 км для обеспечения регулярных полетов к поверхности Луны [Giannoni-Crystal 2023].

Рассмотренная информация о природе Луны, окололунного пространства и орбит вокруг Луны собирается благодаря многолетним практическим исследованиям, в том числе и неудачно завершившимся. Так, из ранее не отмеченных миссий стоит упомянуть российскую автоматическую станцию «Луна-25», которая с 16 по 19 августа проработала на круговой окололунной орбите (около 100 км), однако, в связи с нештатным функционированием бортового комплекса управления перешла на нерасчетную незамкнутую орбиту и столкнулась с лунной поверхностью 19 августа¹¹. Такого рода лунные миссии позволяют изучать, например, состав окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите, влияющие на находящиеся там космические аппараты, а также важную для проведения астрономических наблюдений электромагнитную среду Луны.

Таким образом, изучение научно-технических аспектов природы окололунных орбит и особенностей их использования помогает нам прийти к выводу о том, что далеко не все виды окололунных орбит подходят для долгосрочных наблюдений за Луной и для размещения пилотируемых и непилотируемых космических станций в окололунном пространстве. В то же время подходящие орбиты должны быть устойчивыми, которых, в свою очередь, не так много. Все это подтверждает «ограниченность» окололунных устойчивых орбит в долгосрочной перспективе, которые по аналогии с геостационарными орбитами (далее – ГСО) должны обладать особым международно-правовым режимом.

Заметим, что ст. 44 Устава МСЭ закрепляет международно-правовой статус и режим не только ГСО, но и других видов орбит. В совокупности в отношении них установлено, что «радиочастоты и связанные с ними орбиты, включая орбиту геостационарных спутников, являются ограниченными естественными ресурсами»,

¹⁰ Гало-орбиты можно рассматривать как результат взаимодействия гравитационного притяжения двух планетарных тел, а также кориолисовой и центробежной сил на космическом аппарате.

¹¹ О предварительных результатах работы по выяснению причин нештатного функционирования станции «Луна-25». – *Роскосмос*. 3 октября 2023 г. URL: <https://www.roskosmos.ru/39790/> (дата обращения: 01.05.2024).

которые надлежит использовать рационально, эффективно и экономно, чтобы обеспечить справедливый доступ к этим орбитам и к этим частотам разным странам или группам стран с учетом особых потребностей развивающихся стран и географического положения некоторых стран»¹². Такое использование необходимо осуществлять в соответствии с положениями Регламента радиосвязи МСЭ, согласно которому существуют нюансы в режиме изучения ближней и обратной сторон Луны.

В Регламенте радиосвязи МСЭ содержится Раздел V «Радиоастрономия в экранированной зоне Луны»¹³. Здесь важно раскрыть понятие «экранированная зона Луны», содержание которого вновь связано с научно-технической стороной вопроса. Согласно Справочнику по радиоастрономии МСЭ, поскольку «Луна имеет период вращения вокруг своей оси, равный ее периоду обращения вокруг Земли», к Земле она «всегда обращена одной стороной. А поскольку орбита вокруг Земли слегка эллиптическая и наклонена, наблюдатели с Земли видят больше половины поверхности Луны»¹⁴. За счет этого образуется скрытая часть или так называемая экранированная зона Луны, которую нельзя наблюдать с Земли, и которая защищена от земных сигналов помех.

В продолжение отметим, что часть 1 ранее упомянутого раздела Регламента радиосвязи МСЭ запрещает «излучения, создающие вредные помехи радиоастрономическим наблюдениям и другим пользователям пассивных служб в экранированной зоне Луны», за исключением:

– «полос частот, распределенных службе космических исследований, использующей активные датчики»¹⁵ и;

– «полос частот, распределенных службе космической эксплуатации, спутниковой службе исследования Земли, использующей активные датчики, и радиолокационной службе, использующей станции на космических платформах, которые необходимы для обеспечения космических исследований, а также для радиосвязи и передач космических исследований в пределах экранированной зоны Луны»¹⁶.

В отношении космических исследований в разрешенных полосах частот также можно дополнительно заключать специальные соглашения между государствами (администрациями) для защиты от вредных помех.

По вопросу использования экранированной зоны Луны была принята отдельная Рекомендация МСЭ-R RA.479, закрепляющая принципы использования электромагнитного спектра экранированной зоны Луны и пересматриваемая регулярно (в 1974, 1978, 1982, 1990, 1995, 2003 и 2017 гг.)¹⁷. Раскрытые в приложении 1 Рекомендации принципы связаны с использованием различных диапазонов частот в экранированной зоне Луны. Также в документе подчеркивается первостепенная важность для государств не причинять вредных помех радиосвязи, так как экранированная зона Луны важна для астрономических исследований и передачи связи¹⁸. В основе обозначенного принципа лежит правило МСЭ, закрепленное в ст. 45 его Устава, согласно которому «все станции, независимо от их назначения,

¹² Устав Международного союза электросвязи 1992 г. (с изменениями на 6 ноября 1998 г.). – *Собрание законодательства Российской Федерации*. 1996. N 48. Ст. 44.

¹³ Экранированная зона Луны (англ.: shielded zone of the Moon) включает в себя часть поверхности Луны и примыкающую к ней часть космического пространства, экранированную от излучений, источники которых находятся на расстоянии 100 тыс. км от центра Земли. Регламент Радиосвязи. Статьи. Том 1. МСЭ. 2024. Глава VI. Раздел V. Радиоастрономия в экранированной зоне Луны.

¹⁴ Справочник по радиоастрономии. 3-е изд. Бюро радиосвязи. 2013. С. 118. URL: https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/hdb/R-HDB-22-2013-PDF-R.pdf (дата обращения: 05.05.2024).

¹⁵ Регламент Радиосвязи. Статьи. Том 1. МСЭ. 2024 г. Глава VI. Раздел V. Радиоастрономия в экранированной зоне Луны. 22.23. § 8. 1) а).

¹⁶ Там же. 22.24. § 8. 1) б).

¹⁷ Recommendation ITU-R RA.479-5. Protection of frequencies for radioastronomical measurements in the shielded zone of the Moon.

¹⁸ Recommendation ITU-R RA.479-5. Protection of frequencies for radioastronomical measurements in the shielded zone of the Moon. Annex 1.

должны устанавливаться и эксплуатироваться таким образом, чтобы не причинять вредных помех радиосвязи или радиослужбам других государств...»¹⁹. В приложении 2 документа также рекомендовано выделение двух альтернативных полос связи для сохранения «доступа пассивных служб ко всему спектру», которые бы находились в диапазоне частот не менее 1 ГГц «для обеспечения возможности будущих операций на основе временной координации между радиоастрономическими и лунными системами связи»²⁰.

Данные положения, являющиеся изначальным результатом действий Всемирной административной радиоконференции по космической телекоммуникации 1971 г., вызывают особый интерес в связи с новыми вызовами XXI в., в том числе с активным увеличением качественного и количественного состава участников, заинтересованных в осуществлении космической деятельности на Луне, в том числе с ее обратной стороны [Claude 2023]. По этой причине в новом столетии МСЭ были приняты документы, фиксирующие важные решения со сроком исполнения в 2027 г. для защиты экранированной зоны Луны.

Во-первых, в 2022 г. МСЭ обсудил тему «Радиоастрономия в защищенной зоне Луны» и решил изучить ряд вопросов, а результаты этого исследования включить «в одну (один) или несколько рекомендаций, отчетов и/или справочников» МСЭ²¹.

«1. Каковы ожидаемые научные характеристики радиоастрономии в экранированной зоне Луны, которые определяют технические и эксплуатационные характеристики радиоастрономических наблюдений в экранированной зоне Луны, и какие полосы частот, как ожидается, обеспечат максимальный научный результат?

2. Каким образом лунная среда влияет на радиоастрономические наблюдения в экранированной зоне Луны?

3. Какие вспомогательные системы, как ожидается, потребуются для проведения радиоастрономических наблюдений в экранированной зоне Луны и каким образом возможно избежать их воздействия, особенно для полос частот, упомянутых в пункте 1 раздела?»²²

Во-вторых, согласно итогам последней Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-23), было решено на следующей конференции, которая как раз состоится в 2027 г., начать обсуждение возможностей развития связи на Луне в целом²³. Хотя еще в 2012 г. в решении МСЭ «Радиолинии между земными станциями и космическими кораблями для полетов на Луну и планеты солнечной системы, создаваемые посредством спутников ретрансляции данных полетов на Луну и/или планеты солнечной системы» были обозначены вопросы, по итогам изучения которых к 2027 г. требовалось «описание концептуальной системы ретрансляции данных полетов на Луну»²⁴. К вопросам, которые необходимо было рассмотреть, относятся следующие.

«1. Каковы предпочтительные полосы частот и ширина полосы?

2. Каковы орбитальные требования к спутникам ретрансляции данных полетов на Луну и планеты солнечной системы?

3. Каковы эксплуатационные требования к линиям радиосвязи между земными станциями и космическими станциями, устанавливаемым с помощью спутников ретрансляции данных полетов на Луну и/или планеты солнечной системы?

4. Каковы технические характеристики линий радиосвязи между земными станциями и космическими станциями, устанавливаемых с помощью спутников ретрансляции данных полетов на Луну и/или планеты солнечной системы?

5. Каковы требования к совместному использованию частот с другими службами?»²⁵.

Обобщая как первую, так и вторую группу вопросов к 2027 г., специалисты МСЭ должны

¹⁹ Устав Международного союза электросвязи 1992 г. (с изменениями на 6 ноября 1998 г.). – *Собрание законодательства Российской Федерации*. 1996. N 48. Ст. 45.

²⁰ Recommendation ITU-R RA.479-5. Protection of frequencies for radioastronomical measurements in the shielded zone of the Moon. Annex 2.

²¹ Вопрос МСЭ-R 260/7. Радиоастрономия в экранированной зоне Луны. 2022 г.

²² Там же.

²³ Space Frequency Coordination Group: Objectives for WRC-23. – ITU News. October 6, 2023. URL: <https://www.itu.int/hub/2023/11/space-frequency-coordination-group-objectives-for-wrc%e2%80%9123/> (accessed date: 05.05.2024).

²⁴ Вопрос МСЭ-R 222-2/7. Радиолинии между земными станциями и космическими кораблями для полетов на Луну и планеты солнечной системы, создаваемые посредством спутников ретрансляции данных полетов на Луну и/или планеты солнечной системы. 2012 г.

²⁵ Там же.

подготовить отчеты, разработать описание системы ретрансляции и обсудить необходимость добавления новых требований в Регламент радиосвязи для обеспечения соблюдения имеющихся правил по осуществлению радиоастрономии в экранированной зоне Луны²⁶. Все это требуется как для сохранения возможности изучения космоса с помощью лунных обсерваторий, размещенных на обратной стороне Луны²⁷, и выделения специального орбитально-частотного спектра для обеспечения связи, в том числе использования спутников ретрансляции, так и во избежание причинения взаимных помех от передаваемых сигналов.

Хотя одновременно с обсуждением этих вопросов на международном уровне, в некоторых государствах уже стали выдавать лицензии на использование радиочастотного спектра на поверхности Луны. Так, Федеральная комиссия по связи США в 2023 г. выдала первую лицензию на использование радиочастотного спектра в районе Луны компании Intuitive Machines для обеспечения связи с первым лунным посадочным модулем Nova-C в рамках миссии IM-1, успешное прилунение которой состоялось 22 февраля 2024 г.²⁸

С точки зрения положений международно-космического права можно констатировать применимость к процессу использования окололунного пространства, включая орбиты вокруг Луны, всех принципов, закрепленных в Договоре о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г. (далее – Договор по космосу), например, принципа запрета национального присвоения космического пространства или международной ответственности государств за национальную деятельность в космическом пространстве и т. д. [Нобе 2023] Данный тезис подтверждается

научно, на основании того, что окололунное пространство является частью космического пространства и включает в себя лунные орбиты, лунную поверхность и точки Лагранжа в системе координат Земля – Солнце, несмотря на отсутствие в Договоре по космосу определения «космическое пространство». Также ст. 1 Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г. (далее – Соглашение о Луне) содержит положение, в котором закреплено, что «ссылки на Луну включают орбиты вокруг Луны или другие траектории полета к Луне или вокруг нее», т. е. окололунное пространство. Обозначенное Соглашение целесообразно принимать во внимание, так как оно было разработано в том же органе, как и Договор по космосу – Комитете ООН по использованию космического пространства в мирных целях (далее – Комитет по космосу) [De Man 2019]. Оба упомянутых международных договора вступили в силу, применяются к государствам-участникам этих договоров²⁹.

Иные международно-правовые аспекты использования окололунных орбит также активно обсуждаются в рамках общих вопросов, связанных с международно-правовым режимом исследования и использования Луны.

На международном неправительственном уровне в рамках рабочей группы 3 «Координация деятельности на Луне различных участников» (англ.: Lunar multi-stakeholder coordination)³⁰ Глобальной группы экспертов по устойчивости деятельности на Луне международной неправительственной организации «Ассоциация Лунная деревня» обсуждается создание Международного комитета по лунным операциям (англ.: International Committee on Lunar Operations) по аналогии с Международным комитетом по глобальным навигационным спутниковым системам, аффилированным с ООН. Итоги этой

²⁶ The Artemis era: A new phase in human lunar exploration. – *ITU News*. July 20, 2023. URL: <https://www.itu.int/hub/2023/07/the-artemis-era-a-new-phase-in-human-lunar-exploration/> (accessed date 05.05.2024).

²⁷ Safeguarding radio astronomy on the Moon // *ITU News*. May 22, 2022. URL: <https://www.itu.int/hub/2022/05/moon-based-radio-astronomy-spectrum/> (accessed date: 05.05.2024).

²⁸ Foust J. ITU to consider lunar communications regulations. – *Spacenews.com*. October 24, 2023. URL: <https://spacenews.com/itu-to-consider-lunar-communications-regulations/> (accessed 05.05.2024).

²⁹ По состоянию на 1 января 2024 г. в Договоре по космосу участвуют 115 государств, в Соглашении о Луне – 17 государств. URL: <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/status/index.html> (дата обращения: 01.09.2024).

³⁰ Доцент кафедры международного права РУДН, канд. юрид. наук И.А. Черных, единственная из России, является участником этой группы. Подробнее см.: GEGSLA Working Groups. – *Moon Village Association*. URL: <https://moonvillageassociation.org/gegsla/gegsla-working-groups/> (accessed date: 05.05.2024).

работы были представлены в Комитет по космосу в 2024 г. в качестве документа зала заседаний от организации как наблюдателя Комитета³¹.

В феврале 2024 г. в рамках заседания Научно-технического подкомитета Комитета по космосу делегация Румынии представила два документа. В неофициальном документе формата поп-рапер было предложено создать в рамках Комитета и его подкомитетов Консультативный механизм по лунной деятельности³². Для этого озвучили идею создать инициативную группу для проработки данного вопроса (Action Team on Lunar Activities Consultation, ATLAC). Детализированное обоснование необходимости создания группы было представлено в документе зала заседаний³³. В апреле 2024 г. на Юридическом подкомитете делегация Румынии вновь провела консультации по этому вопросу, а в июне Комитет по космосу принял решение учредить Инициативную группу по проведению консультаций о деятельности на Луне³⁴.

Еще одним актуальным вопросом в рамках дискуссии относительно режима окололунных орбит, включая все окололунное пространство, является система расчета лунного времени, которая необходима для четкой работы приложений и иной аппаратуры для выполнения космических операций, в том числе навигации, сближений и иных маневров, обеспечения связи.

На сегодняшний день принято считать, что один лунный день длится 14 земных дней. Однако лунная секунда не равна земной. По данным НАСА, на Луне наземные часы будут отставать «в среднем на 58,7 микросекунды за земной день с дополнительными периодическими отклонениями»³⁵. Для решения данной задачи НАСА на национальном уровне должно к 2026 г. разработать «стратегию по

созданию координированного лунного времени (LTC) – нового стандарта времени, основанного на всемирном координированном времени (UTC) на Земле, но адаптированного к работе на Луне»³⁶. По этому вопросу есть соответствующий меморандум³⁷.

Заключение

Независимо от того, что в настоящее время лунная деятельность не столь активна, через какое-то время мы можем столкнуться с проблемой, похожей на случившуюся ситуацию с так называемыми бумажными спутниками на ГСО в недавнем прошлом, по причине ограниченности «удобных» устойчивых орбит вокруг Луны.

Более того, большое количество спутников на нестабильных окололунных орбитах может привести к образованию космического мусора на Луне и вокруг нее в силу возможных столкновений между космическими аппаратами, находящимися порой довольно близко друг к другу [Солнцев, Черных 2024; KangSan, Tanushri 2024; Chhabra, Sinha, Beeson, Weeden 2024]³⁸.

В процессе активного проведения радионастрономических исследований на Луне, в особенности на ее обратной стороне, также возможно возникновение проблемы нарушения тишины и причинения радиопомех одними космическими аппаратами другим. Неспроста в одной из работ 70-х годов профессор Г.П. Жуков отмечал, что «суровые и необычные условия, с которыми неизбежно столкнется человек на Луне, потребуют установления там самых широких контактов и сотрудничества между представителями различных государств. Такие контакты должны содействовать оказанию взаимной помощи друг другу и предотвратить проведение

³¹ Напр.: UN Document A/AC.105/C.1/2024/CRP.11*. Reports of the Moon Village Association.

³² UN Document V.24-01739 (E). Proposal on a Consultative Mechanism on Lunar Activities. Non-Paper submitted by the Delegation of Romania.

³³ UN Document A/AC.105/C.1/2024/CRP.30*. Proposal on a Consultative Mechanism on Lunar Activities. Paper submitted by the Delegation of Romania.

³⁴ Документ ООН. A/79/20. Доклад Комитета по использованию космического пространства в мирных целях Шестидесят седьмая сессия (19–28 июня 2024 года). П. 351.

³⁵ White House directs NASA to develop lunar time standard. – *Spacenews.com*. April 2, 2024. <https://spacenews.com/white-house-directs-nasa-to-develop-lunar-time-standard/> (accessed date: 05.05.2024).

³⁶ Ibid.

³⁷ Memorandum for Departments and Agencies Participating in the White House Cislunar Technology Strategy Interagency Working Group dated April 2, 2024. URL: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2024/04/Celestial-Time-Standardization-Policy.pdf>

³⁸ Lunar spacecraft receive dozens of collision warnings. – *Spacenews.com*. July 11, 2024. URL: <https://spacenews.com/lunar-spacecraft-receive-dozens-of-collision-warnings/> (accessed date: 12.07.2024).

экспериментов, которые могут создать вредные помехи деятельности какой-либо станции на Луне (например, ее радиосвязи с Землей)» [Жуков 1971:44].

Все это обуславливает необходимость проведения активных действий со стороны государств в области международного правотворчества для

установления международно-правового режима использования орбит вокруг Луны, как в рамках МСЭ, так и Комитета ООН по космосу. Также в современных реалиях важна скоординированная работа всех заинтересованных участников «лунной гонки» и космической деятельности в целом, чтобы места хватило всем.

Список литературы

1. Абашидзе А.Х., Солнцев А.М., Черных И.А. 2015. К 150-летию со дня учреждения Международного союза электросвязи – специализированного учреждения ООН – *Евразийский юридический журнал*. № 7 (86). С. 55-61.
2. Вылегжанин А.Н., Юзбашян М.Р., Алексеев М.А. 2021. Международно-правовые перспективы использования природных ресурсов Луны и других небесных тел – *Горный информационно-аналитический бюллетень*. № 3-1. С. 155-172.
3. Жуков Г.П. 1971. Международное космическое право. – *Новое в жизни, науке, технике. Серия «Космонавтика, астрономия»*, 9. Москва: Знание. 64 с.
4. Солнцев А.М., Черных И.А. 2024. Международно-правовые аспекты защиты экологии луны – *Евразийский юридический журнал*. № 8.
5. Черных И.А. 2022. Деятельность Комитета ООН по космосу в рамках пункта повестки дня «Возможные модели правового регулирования деятельности по исследованию, использованию и освоению космических ресурсов» – *Электронное сетевое издание «Международный правовой курьер»*. № 1. С. 68-75.
6. Черных И.А., Гугунский Д.А., Солнцев А.М. 2024. Влияние эпистемических сообществ на разработку будущего международно-правового регулирования деятельности на Луне – *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки*. Т. 28. № 1. С. 215-230.
7. Chhabra A., Sinha A., Beeson R., Weeden B. 2024. Incentivizing adoption of cislunar orbital debris mitigation policies via norms of behaviour. – *Proceedings of IAC*. IAC-24,E9,IP,37,x85923. 11 p.
8. De Man Ph. 2019. Interpreting the UN space treaties as the basis for a sustainable regime of space resource exploration. – *The Space Treaties at Crossroads: Considerations de Lege Ferenda*. Ed. by George D. Kyriakopoulos, Maria Manoli. Cham: Springer. P. 15-33.
9. Ely T.A. 2005. Stable Constellations of Frozen Elliptical Inclined Lunar Orbits. – *Journal of Astronaut Sciences*. Vol. 53. P. 301-316.
10. Giannoni-Crystal F. 2023. Legal Issues for Lunar Orbiting Satellites and Suggested Solutions. – *Journal of Space Law*. Vol. 47. Issue 1. P. 67-118.
11. Glaude V. 2023. Protection of the shielded zone of the Moon for radio astronomy uses. – *IET Conference Proceedings*. Issue 48. P. 29-36.
12. Hobe St. 2023. *Space Law. Second Edition*. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. 279 p.
13. KangSan K., Tanushri J. 2024. Future of Space Traffic and Debris Management in Cislunar Space. – *Proceedings of IAC*. IAC-24,A6,8-E9.1,13,x86445. 5 p.

14. May Z.D., Qu M., Merrill R.G. 2020. Enabling Global Lunar Access for Human Landing Systems Staged at Earth-Moon L2 Southern Near Rectilinear Halo and Butterfly Orbits. – *Proceedings of the AIAA Scitech 2020 Forum*. 6-10 January 2020. 20 p.
15. Morozova E., Vasyanin Ya. 2019. International space law and satellite telecommunications. – *Современные проблемы международного космического и воздушного права. Материалы круглого стола XVII Международного конгресса «Блищенковские чтения*. Москва: РУДН. С. 91-128.

References

1. Abashidze A.Kh., Solntsev A.M., Chernykh I.A. K 150-letiju so dnja uchrezhdenija Mezhdunarodnogo sojuza jelektrosvjazi – specializirovannogo uchrezhdenija OON [150th Anniversary of the International Telecommunication Union – UN Specialized Agency]. – *Evrazijskij juridicheskij zhurnal [Eurasian Law Journal]*. 2015. № 7 (86). P. 55-61. (In Russ.)
2. Chernykh I.A. Dejatel'nost' Komiteta OON po kosmosu v ramkah punkta povestki dnja "Vozmozhnye modeli pravovogo regulirovanija dejatel'nosti po issledovaniju, ispol'zovaniju i osvoeniju kosmicheskikh resursov" [Activities of the COPUOS on the Agenda Item "General Exchange of Views on Potential Legal Models for Activities in Exploration, Exploitation and Utilization of Space Resources"] – *Jelektronnoe setevoe izdanie «Mezhdunarodnyj pravovoj kur'er» [International Legal Courier]*. 2022. № 1. P. 68-75. (In Russ.)
3. Chernykh I.A., Gugunskiy D.A., Solntsev A.M. Vlijanie jepistemicheskikh soobshhestv na razrabotku budushhego mezhdunarodno-pravovogo regulirovanija dejatel'nosti na Lune [The Impact of Epistemic Communities on the Development of Future International Legal Regulation of Lunar Activities] – *Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Serija: Juridicheskie nauki [RUDN Journal of Law]*. 2024. V. 28, № 1. P. 215-230. (In Russ.)
4. Chhabra A., Sinha A., Beeson R., Weeden B. Incentivizing adoption of cislunar orbital debris mitigation policies via norms of behaviour. – *Proceedings of IAC*. 2024. IAC-24,E9,IP,37,x85923. 11 p.
5. De Man Ph. Interpreting the UN space treaties as the basis for a sustainable regime of space resource exploration. – *The Space Treaties at Crossroads: Considerations de Lege Ferenda*. Ed. by George D. Kyriakopoulos, Maria Manoli. Cham: Springer. 2019. P. 15-33.
6. Ely T.A. Stable Constellations of Frozen Elliptical Inclined Lunar Orbits. – *Journal of Astronaut Sciences*. 2005. Vol. 53. P. 301-316.

7. Giannoni-Crystal F. Legal Issues for Lunar Orbiting Satellites and Suggested Solutions. – *Journal of Space Law*. 2023. Vol. 47. Issue 1. P. 67-118.
8. Glaude V. Protection of the shielded zone of the Moon for radio astronomy uses. – *IET Conference Proceedings*. 2023. Issue 48. P. 29–36.
9. Hobe St. *Space Law. Second Edition*. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. 2023. 279 p.
10. KangSan K., Tanushri J. Future of Space Traffic and Debris Management in Cislunar Space. – *Proceedings of IAC*. 2024. IAC-24,A6,8-E9.1,13,x86445. 5 p.
11. May Z.D., Qu M., Merrill R.G. Enabling Global Lunar Access for Human Landing Systems Staged at Earth-Moon L2 Southern Near Rectilinear Halo and Butterfly Orbits. – *Proceedings of the AIAA Scitech 2020 Forum*. 6–10 January 2020. 20 p.
12. Morozova E., Vasyanin Ya. International space law and satellite telecommunications. – *Sovremennye problemy mezhdunarodnogo kosmicheskogo i vozdušnogo prava : materialy kruglogo stola XVII Mezhdunarodnogo kongressa "Blishhenkovskie chtenija" [Modern Issues of International Space and Air Law : Proceedings of the Round Table of the XVII International Congress "Blishchenko Readings"]*. Moscow: RUDN. 2019. P. 91-128.
13. Solntsev A.M., Chernykh I.A. International Legal Aspects of Lunar Environmental Protection – *Evrazijskij juridicheskij zhurnal [Eurasian Law Journal]*. 2024. № 8. (In Russ.)
14. Vylegzhanin A.N., Yuzbashyan M.R., Alekseev M.A. Mezhdunarodno-pravovye perspektivy ispol'zovanija prirodnyh resursov Luny i drugih nebesnyh tel [International Legal Prospects for Using Natural Resources of the Moon and Other Celestial Bodies]. – *Gornyj informacionno-analiticheskij bjulleten' [MIAB. Mining Inf. Anal. Bull]*. 2021. (3-1). P. 155-172. (In Russ.)
15. Zhukov G.P. Mezhdunarodnoe kosmicheskoe pravo [International space law]. – *Novoe v zhizni, nauke, tehnike. Serija «Kosmonavtika, astronomija», 9 [New things in life, science, technology. The series "Cosmonautics, astronomy", 9]*. Moscow: Znanie. 1971. 64 s.

Информация об авторе

Ирина Алексеевна ЧЕРНЫХ,

кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права юридического института, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Миклухо-Маклая ул., д. 6, Москва, 117198, Российская Федерация

chernykh-ia@rudn.ru
ORCID: 0000-0002-5369-1736

About the Author

Irina A. CHERNYKH,

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of International Law at the Law Institute, Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba

6, Miklukho-Maklaya St., Moscow, Russian Federation, 117198

chernykh-ia@rudn.ru
ORCID: 0000-0002-5369-1736